



Пол Остер

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ТРИЛОГИЯ



Все началось  
с ночного  
телефонного  
звонка

# Пол Остер

## Нью-Йоркская трилогия

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=146649](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146649)

### Аннотация

Случайный телефонный звонок вынуждает писателя Дэниела Квина надеть на себя маску частного детектива по имени Пол Остер. Некто Белик нанимает частного детектива Синькина шпионить за человеком по фамилии Черни. Фэншо бесследно исчез, оставив молодую жену с ребенком и рукопись романа «Небыляндия». Безымянный рассказчик не в силах справиться с искушением примерить на себя его роль. Впервые на русском – «Стеклянный город», «Призраки» и «Запертая комната», составляющие «Нью-Йоркскую трилогию» – знаменитый дебют знаменитого Пола Остера, краеугольный камень современного постмодернизма с человеческим лицом, вывернутый наизнанку детектив с философской подоплекой, романтическая трагикомедия масок.

# Содержание

Стеклянный город	5
1	5
2	19
3	35
4	50
5	54
6	62
7	76
8	88
9	109
10	135
11	153
12	166
13	185
Призраки	195
Запертая комната	274
1	274
2	288
3	305
4	322
5	333
6	352
7	368

8	393
9	410
Приложение из книги «красная тетрадь»	429
От переводчика «стеклянного города»	432

# Пол Остер

## Нью-Йоркская трилогия

### Стеклянный город

#### 1

Все началось с ночного телефонного звонка; после трех звонков голос в трубке позвал какого-то неизвестного ему человека. Много позже, задумавшись о том, что с ним произошло, он пришел к выводу, что все происшедшее – чистая случайность. Но это было много позже. Вначале же имелось лишь событие и его последствия, ничего больше. Не столь важно, могло ли все обернуться иначе, или все было предопределено с самого начала, с того момента, когда он услышал голос в трубке. Важен сам рассказ, а значит ли он что-нибудь или нет, судить читателю.

Про самого Куина рассказывать особенно нечего. Кто он, откуда, чем занимался, большого значения не имеет. Мы знаем, например, что ему было тридцать пять лет. Знаем, что когда-то он был женат, был отцом, но и жена и сын погибли. Еще мы знаем, что он писал книги. Детективы. Писал под псевдонимом Уильям Уилсон, получалось примерно в год

по книге, и гонораров ему хватало, чтобы скромно жить в маленькой нью-йоркской квартирке. Поскольку на один роман у него уходило никак не больше пяти-шести месяцев, остальные полгода он бездельничал. Много читал, ходил на выставки, в кино. Летом смотрел по телевизору бейсбол, зимой слушал оперу. Однако больше всего Куин любил ходить пешком. Почти каждый день, в солнце и в дождь, в жару и в холод, он уходил из дому и отправлялся, без всякой определенной цели, бродить по городу.

Нью-Йорк для него был неисчерпаемым пространством, нескончаемым лабиринтом, и, как бы далеко он ни заходил, как бы хорошо ни знал расположение кварталов и улиц, его не покидало ощущение, что он заблудился. Причем не только в городе, но и в самом себе. Отправляясь на прогулку, Куин каждый раз испытывал такое ощущение, будто себя он с собой не берет; целиком доверяясь направлению улиц, уменьшаясь до всевидящего ока, он мог не думать и от этого более, чем от чего-нибудь еще, обретал покой, целительную пустоту в душе. Мир располагался вне его, вокруг него, перед ним, и скорость, с которой этот мир менялся, не позволяла ему сосредоточить внимание на чем-то в отдельности. Главное было движение, процесс, когда одна нога ставится перед другой, когда передвигаешься в фарватере собственного тела. От бесцельного хождения все улицы становились одинаковыми; где он в данный момент находился, значения уже не имело. Когда прогулка особенно удавалась, у него по-

являлось чувство неприкаянности. К этому, собственно, он и стремился – стать неприкайным, погрузиться в вакуум. Нью-Йорк и был тем вакуумом, которым он себя окружил, и покидать этот город у него не было никакого желания.

В прошлом Куин был более честолюбив. В молодости он издал несколько сборников стихов, писал пьесы, критические статьи, много переводил. Но в какой-то момент все это бросил. Какая-то частица его умерла (объяснил он друзьям), и ему не хотелось, чтобы частица эта, возродившись, его преследовала. Тогда-то он и взял себе псевдоним Уильям Уилсон, в результате чего перестал быть автором своих книг, и, хотя во многих отношениях продолжал существовать, существовал он только для себя самого.

Писать, впрочем, Куин не прекратил, ведь ничего другого он не умел. Детективы были выходом из положения. Придумывать сложную, замысловатую интригу ему не составляло труда, и он писал хорошо, часто – вопреки самому себе, так, словно это не требовало от него ровным счетом никаких усилий. Поскольку себя Куин автором своих произведений не считал, никакой ответственности за них, в том числе и перед самим собой, он не нес. Ведь Уильям Уилсон был фигурой вымышленной и, хотя порожден был Куином, вел теперь жизнь совершенно самостоятельную. Куин относился к нему с уважением, иногда даже с восхищением, но и помыслить не мог, что он и Уильям Уилсон – одно и то же лицо. Поэтому-то он и скрывался под маской своего псевдонима. Ли-

тературный агент у него был, однако не встречались они ни разу, предпочитая переписываться, для чего Куин приобрел на почте абонентный ящик. Не имел он личных контактов и с издателем, который выплачивал Куину гонорары исключительно через агента. Ни в одной книге Уильяма Уилсона не было ни фотографии автора, ни биографической справки о нем. Имя Уильяма Уилсона отсутствовало в писательских справочниках, он не давал интервью, а на адресованные ему письма отвечала секретарша его литературного агента. Насколько Куин мог судить, в его тайну не проник никто. Друзья, узнав, что он перестал писать, первое время интересовались, на что он собирается жить, и Куин отвечал всем одно и то же: на оставшееся от жены наследство. На самом же деле у его жены никогда не было ни цента. Да и друзей у него не осталось тоже.

Так Куин жил уже шестой год. О сыне он теперь вспоминал не так часто, как раньше, и совсем недавно снял со стены фотографию жены. Время от времени он вдруг ощущал, что значит держать на руках трехлетнего мальчугана, но это было лишь ощущение, никак не воспоминание. Чисто физическое ощущение, отпечаток, который оставило прошлое, и чувство это было ему неподотчетно.

Такое, впрочем, происходило с ним все реже, и ему начинало казаться, что наметились перемены к лучшему. Он больше не хотел умереть. В то же время нельзя сказать, чтобы он радовался жизни. Но, по крайней мере, она не была

ему ненавистна. Он жил, и этот упрямый факт понемногу стал увлекать его – как будто ему удалось пережить самого себя, как будто у него началась загробная жизнь. Он больше не засыпал при электрическом свете и уже много месяцев забывал все, что ему снилось.

Была ночь. Куин лежал в постели, курил сигарету и слушал, как по оконному стеклу стучит дождь. «Интересно, когда он кончится? – раздумывал он. – Не гулять же утром под дождем». На подушке рядом с ним лежала обложкой вверх раскрытая «Книга о разнообразии мира» Марко Поло. Две недели назад он закончил очередной роман Уильяма Уилсона и теперь бездельничал. Его частный сыщик Макс Уорк, от лица которого велось повествование, раскрыл целую серию тяжких преступлений, прошел через нечеловеческие испытания, был неоднократно бит, несколько раз едва избежал смерти, и Куина его подвиги несколько утомили. За эти годы Уорк и Куин сблизились. В отличие от Уильяма Уилсона, который оставался для Куина абстракцией, Уорк с каждой следующей книгой обретал плоть и кровь. В этой триаде Уилсон был своего рода чревовещателем, сам Куин – объектом, а Уорк – исходящим из «чрева» голосом, ради которого все и затевалось. Если Уилсон и был иллюзией, он тем не менее оправдывал существование Куина и Уорка. Если Уилсон и не существовал, он тем не менее был мостом, который соединял Куина с Уорком. И мало-помалу Уорк вошел в жизнь

Куина, стал для него кем-то вроде брата, товарища по одиночеству.

Куин взял Марко Поло и снова перечитал первую страницу. «А чтобы книга наша была правдива, истинна, без всякой лжи, о виденном станет говориться в ней как о виденном, а слышанное расскажется как слышанное; всякий, кто эту книгу прочтет или выслушает, поверит ей, потому что все тут правда». И вот, стоило Куину задуматься над смыслом этих фраз, попытаться по достоинству оценить отточенные аргументы автора, как зазвонил телефон. Много позже, восстанавливая события той ночи, он вспомнит, что посмотрел на часы, увидел, что было начало первого, и удивился: кому это взбрело в голову звонить в столь поздний час? «Что-то случилось, не иначе», – подумал он, встал с постели, подошел, как был голый, к телефону и поднял трубку после второго звонка.

– Да?

На другом конце провода молчали, и Куин решил, что звонивший повесил трубку. Затем, словно откуда-то издалека, донесся голос, странный голос – такой ему еще ни разу в жизни слышать не приходилось. Металлический – и вместе с тем наполненный чувством. Едва слышный – и в то же время совершенно отчетливый. В результате он не смог даже определить, кто звонит: мужчина или женщина.

– Алло? – послышалось в трубке.

– Кто это? – спросил Куин.

– Алло? – переспросили в трубке.

– Слушаю, – сказал Куин. – С кем я говорю?

– Это Пол Остер? – спросил голос. – Мне бы хотелось поговорить с мистером Полом Остером.

– Здесь таких нет.

– Мне нужен Пол Остер. Из детективного бюро Остера.

– Простите, – сказал Куин. – Вы, должно быть, ошиблись номером.

– Я звоню по очень срочному делу, – сказал голос.

– Ничем не могу вам помочь, – сказал Куин. – Здесь никакого Пола Остера нет.

– Поймите, – сказал голос, – на счету сейчас каждая минута.

– Наберите еще раз. Это не детективное бюро.

Куин положил трубку. Он стоял на холодном полу и разглядывал свои ноги, колени, свой дряблый член. На какую-то долю секунды он пожалел, что был так резок. Можно было бы немного поговорить со звонившим, разузнать, что случилось, быть может, даже чем-то помочь. «Надо научиться лучше соображать стоя», – сказал он себе.

Как и большинство людей, Куин в преступлениях почти ничего не смыслил. Он никогда никого не убивал, ни у кого ничего не украл и не был знаком ни с одним убийцей или вором. Ни разу не был в полицейском участке, никогда не встречался с частным сыщиком, никогда не разговаривал с

преступником. Если что-нибудь Куин про все это и знал, то только из книг, фильмов и газет. И тем не менее он вовсе не считал это помехой. В книгах, которые он писал, его интересовало не то, как они соотносятся с реальностью, а то, как они соотносятся с другими книгами. Куин полюбил детективы еще до того, как стал Уильямом Уилсоном. Да, он отдавал себе отчет в том, что абсолютное большинство детективных романов плохо написаны и не выдерживают никакой критики, и все же ему этот жанр нравился, и не было ни одного, даже самого беспомощного детективного романа, который бы он не прочел до конца. При том, что к другим жанрам Куин был придирчив, иногда до мелочности, детективы он глотал почти без разбора. Когда он бывал в настроении, ему ничего не стоило прочесть по десять-двенадцать детективов подряд. Его охватывал своего рода голод, тяга к особой литературной пище, и он не останавливался, пока не съедал всю порцию до конца.

Эти книги он любил за их насыщенность и четкость. В хорошем детективном романе всему ведется строгий учет, нет ни одного лишнего предложения, непродуманного слова. А если какое-то слово и лишено смысла, оно в любой момент может этот смысл обрести. Мир такой книги оживает, он таит в себе безграничные возможности, загадки, противоречия. А поскольку все увиденное или сказанное, даже вскользь, даже на ветер, может повлиять на развязку, пренебрегать нельзя ничем, ни единым словом. В таких книгах

значимо все, центр смещается в результате каждого события, находится в постоянном движении, он – всюду, и окружность вокруг него можно провести не раньше, чем книга подошла к концу.

Сыщик – это тот, кто вглядывается, вслушивается, продирается сквозь непролазную трясику улик и событий в поисках мысли, идеи, которая сведет воедино все эти улики и события, придаст им смысл. По сути, автор и сыщик неразделимы. Ведь читатель видит мир глазами сыщика, ощущает, словно впервые в жизни, как перед ним открываются новые горизонты. Он вдруг начинает замечать находящиеся вокруг предметы, как если бы они заговорили с ним, как если бы, вглядевшись в них повнимательнее, он обнаружил в них некий высший смысл. Детектив. Сыщик. Соглядатай. Для Куина в этом слове заложен был тройной смысл. В нем не только имелась буква «я», но и «Я»: крошечный росток жизни, запрятанный в теле живого организма. Не случайно слово это «глядело» – оно олицетворяло собой взгляд писателя, взгляд человека, который смотрит на мир и требует, чтобы мир перед ним раскрылся. Уже пять лет Куин жил под впечатлением этого каламбура.

Он, разумеется, уже давно перестал относиться к себе как к реально существующему человеку. Если он и существовал, то лишь опосредованно, в образе своего вымышленного персонажа Макса Уорка. Его сыщик не мог не быть реальным лицом – таково было требование жанра. Если Куин мог поз-

волить себе исчезнуть, раствориться в своем причудливом и замкнутом мире, то Уорк продолжал жить в мире других, и чем глубже Куин погружался в небытие, тем отчетливее ощущалось присутствие Уорка. В то время как Куин все чаще ощущал свою недееспособность, Уорк, напротив, демонстрировал агрессивность, находчивость, чувствовал себя как дома, где бы он ни находился. Ко всему, что доставляло Куину столько хлопот, Уорк относился спустя рукава, по жизни он шел с беспечностью и равнодушием, которым его создатель мог только позавидовать. Нельзя сказать, чтобы Куину так уж хотелось быть Уорком или хотя бы на него походить, но, когда он писал свои книги, ему было приятно притворяться Уорком, сознавать, что, стоит ему только захотеть, и он может, пусть лишь в своем воображении, стать Уорком.

В ту ночь, засыпая, Куин попытался представить себе, как бы на его месте повел себя Уорк. Ему приснился сон (который он потом забыл): он стоит в пустой комнате и стреляет из пистолета в голую белую стену.

На следующий вечер звонок застал Куина врасплох. Он решил, что инцидент исчерпан, и не рассчитывал, что незнакомец позвонит снова. Когда раздался телефонный звонок, Куин сидел в уборной и испражнялся. На этот раз позвонили немного позже, чем накануне, где-то без десяти – без двенадцати час. Куин как раз дошел до главы, в которой рассказывалось о путешествии Марко Поло из Пекина в Амой,

и, когда он сидел в своей крохотной уборной, книга лежала раскрытой у него на коленях. Телефонный звонок пришелся как нельзя более некстати. Чтобы успеть снять трубку, надо было бежать к телефону не подтеревшись, а разгуливать по квартире в таком виде Куину было неприятно. С другой стороны, если бы он закончил процедуру без спешки, то к телефону бы не успел. И тем не менее прерывать «процесс» ему не хотелось. Телефон не относился к его любимым вещам, и он несколько раз собирался от него избавиться. Куин считал телефон тираном и за это особенно его не любил. Телефон не только имел над ним власть, но и беззастенчиво этой властью пользовался, отрывал от дел, поэтому на этот раз Куин решил оказать ему сопротивление. После третьего звонка кишечник очистился. После четвертого Куин подтерся. Когда же раздался пятый звонок, он натянул брюки, вышел из уборной и не торопясь пересек комнату. Трубку он снял после шестого звонка, однако услышал короткие гудки – терпение у абонента иссякло.

На следующий вечер Куин был наготове. Он лежал на кровати, листал «Спортивные новости» и ждал, когда незнакомец позвонит в третий раз. Время от времени, когда нервы не выдерживали, он вставал и начинал мерить шагами комнату. Поставил пластинку – оперу Гайдна «Il Mondo della Luna» – и прослушал ее от начала до конца. Он ждал и ждал. Только в половине третьего он решил наконец, что ждать больше

смысла не имеет, и лег спать.

Куин ждал звонка и на следующий день, и через день тоже. И вот, когда он счел, что ждать больше нечего, телефон зазвонил снова. Было это девятнадцатого мая. Дату он запомнил, потому что в этот день была годовщина свадьбы его родителей (верней, была бы, если б его родители были живы); мать когда-то призналась, что зачат он был в первую брачную ночь, и это обстоятельство всегда представлялось ему очень трогательным, ведь теперь он знал день, с которого можно отсчитывать свое существование. Уже многие годы свой день рождения он тайком праздновал именно в этот день. На этот раз телефон зазвонил раньше, чем в предыдущие вечера – не было еще одиннадцати, и Куин решил, что звонит кто-то другой.

– Алло? – сказал он.

И вновь на другом конце провода промолчали. Куин сразу понял, что это тот же самый человек.

– Алло? Чем я могу вам помочь?

– Да, – раздалось наконец в трубке. Тот же тихий металлический голос, то же отчаянье в голосе. – Да. Теперь это необходимо. И как можно скорее.

– Что необходимо?

– Поговорить. Прямо сейчас. Поговорить немедленно. Да.

– А с кем вы хотите поговорить?

– С вами. С Остером. С человеком по имени Пол Остер.

На этот раз Куин не колебался ни секунды. Он знал, что

надо делать, и теперь, когда время настало, сделал это не раздумывая:

– Я у телефона, – сказал он. – Остер слушает.

– Наконец-то. Наконец-то вы нашлись. – В голосе прозвучало облегчение, собеседник успокоился.

– Совершенно верно, – сказал Куин. – Наконец-то. – Он выдержал паузу, чтобы его собеседник, да и он сам, могли вдуматься в смысл этого слова. – Что я могу для вас сделать?

– Мне нужна помощь. Мне грозит опасность. Говорят, в таких делах вам нет равных.

– Смотря в каких. Что вы имеете в виду?

– Я имею в виду смерть. Смерть и убийство.

– Это не совсем по моей части, – сказал Куин. – Я людей не убиваю.

– Ясное дело. – В голосе прозвучало раздражение. – Тут все наоборот.

– Кто-то хочет убить вас?

– Да, убить меня. Совершенно верно. Меня собираются убить.

– И вы хотите, чтобы я защитил вас?

– Да, чтобы вы защитили меня. И нашли человека, который собирается меня убить.

– Вы не знаете, кто это?

– Нет, знаю. Конечно знаю. Но я не знаю, где он.

– Поподробнее рассказать можете?

– Не сейчас. Не по телефону. Это очень опасно. Вы долж-

ны приехать.

– Давайте завтра?

– Хорошо. Завтра. Пораньше. Завтра утром.

– В десять утра?

– Хорошо. В десять. – Голос в трубке продиктовал адрес:

Ист, 69-я стрит. – Не забудьте, мистер Остер. Вы должны прийти.

– Не беспокойтесь, – сказал Куин. – Приду.

На следующее утро Куин проснулся раньше обычного; так рано он не вставал уже несколько недель. Пока он пил кофе, мазал тост маслом и просматривал отчет о бейсбольных матчах в газете («Метрополитенс» опять проиграл: два – один, из-за досадной ошибки в последнем иннинге), он никак не мог свыкнуться с мыслью, что сегодня утром у него деловая встреча. Само по себе словосочетание «деловая встреча» казалось ему странным. Собственно, деловая встреча была не у него, деловая встреча была у Пола Остера, а кто такой Пол Остер, Куин понятия не имел.

И тем не менее он поймал себя на том, что вполне достоверно подражает человеку, который готовится выйти на улицу. Убрал со стола посуду, бросил газету на диван, пошел в ванную, принял душ, побрился, вернулся в спальню завернутый в два полотенца, открыл платяной шкаф и начал одеваться. С удивлением обнаружил, что потянулся к пиджаку и галстуку. Последний раз Куин надевал галстук, собираясь на похороны жены и сына, и даже не помнил, есть ли у него галстук. Нет, вот он, висит среди останков его гардероба. Белую рубашку он забраковал как слишком официальную и выбрал серую в красную клетку, с серым галстуком. Одевался он в состоянии, близком к трансу.

Только взявшись за ручку двери, Куин впервые заподо-

зрил, что у него на уме. «Я, кажется, собираюсь на улицу, – сказал он себе. – Но если я уйду, то, спрашивается, куда?» На этот вопрос у него не нашлось ответа и часом позже, когда он выходил из автобуса номер четыре на перекрестке 70-й стрит и Пятой авеню. По одну сторону от него находился парк, зеленеющий под утренним солнцем, с резко очерченными, подвижными тенями; по другую – «Фрик», белый и суровый, словно отданный во власть мертвым. В этот момент ему почему-то вспомнилась картина Вермеера «Солдат и смеющаяся женщина», и он попытался вспомнить выражение лица девушки, ее руку с чашкой, красную безликую спину солдата. Он мысленно увидел висящую на стене синюю карту и льющийся в окно солнечный свет – сейчас он купался в таком же. Он шел. Пересекал улицу и двигался на восток. На Мэдисон авеню Куин повернул направо и один квартал шел на юг, затем повернул налево и тут только понял, где находится. «Кажется, пришел», – сказал он себе. Он приблизился к дому и остановился. Ему вдруг стало все равно. Он ощутил исключительное спокойствие, как будто все, что должно было с ним случиться, уже случилось. Открывая дверь с улицы, он дал себе последний совет: «Если все это действительно происходит, надо смотреть в оба».

Дверь в квартиру открыла женщина. Для Куина это почему-то явилось полной неожиданностью, выбило его из колеи. Он почувствовал, что не поспевает за ходом событий.

Не успел он свыкнуться с присутствием этой женщины, описать ее самому себе и составить о ней впечатление – а она уже говорила с ним, вынуждала его отвечать. Стало быть, уже в эти первые минуты он потерял над собой контроль. В дальнейшем, раздумывая обо всем происшедшем, ему удалось восстановить в памяти встречу с этой женщиной. Но это была работа памяти, а он знал: вспоминающееся имеет обыкновение исказить вспоминаемое. А потому доверяться воспоминаниям нельзя.

Женщине было лет тридцать, самое большое – тридцать пять; ниже среднего роста; полновата – или пышнотела, можно и так сказать; темные волосы, темные глаза, выражение этих темных глаз одновременно и строгое, и чуть игривое. Черное платье и густо-красная помада.

– Мистер Остер? – Вежливая улыбочка. Вопросительный наклон головы.

– Совершенно верно, – ответил Куин. – Пол Остер.

– А я – Вирджиния Стилмен. Жена Питера. Он ждет вас с восьми часов.

– Мы договаривались на десять, – сказал Куин и посмотрел на часы. Было ровно десять.

– Он себе места не находил, – пояснила женщина. – Я никогда не видела его таким. Никак не мог вас дождаться.

Она открыла дверь и пропустила Куина внутрь. Стоило ему переступить порог квартиры, как у него потемнело в глазах, точно его хватили по голове. Он-то собирался взять

на заметку все, что увидит, каждую мелочь, но такая работа оказалась ему в эти минуты не по силам. Квартира приобрела какие-то расплывчатые, неясные очертания. Да, он признавал: она большая, комнат пять-шесть, не меньше; богато обставлена, много антиквариата, серебряные пепельницы, по стенам картины в старинных рамах. Но и только. Впечатление самое общее – а ведь находился он от этих вещей в самой непосредственной близости, разглядывал их собственными глазами.

Куин обнаружил, что в полном одиночестве сидит на диване в гостиной. Только сейчас он вспомнил, что миссис Стилмен велела ему подождать здесь, пока она приведет своего мужа. Сколько времени он так просидел, неизвестно. Минуту-две, не больше. С другой стороны, судя по солнечному свету, дело уже шло к полудню. Взглянуть на часы он не догадался. Над ним витал аромат духов Вирджинии Стилмен, и он мысленно раздел ее. Потом он стал думать о том, что бы пришло в голову Максу Уорку, будь он здесь. Куин решил закурить. Выпустил дым в потолок. Ему доставляло удовольствие смотреть, как дым колечками подымается в воздух, рассеивается и, попав в свет солнечного луча, сгущается вновь.

Кто-то вошел в комнату у него за спиной. Куин встал с дивана и повернулся, ожидая увидеть миссис Стилмен, однако перед ним стоял одетый во все белое молодой человек с белокурыми, шелковистыми, как у ребенка, волосами. В этот

момент Куин вспомнил почему-то своего погибшего сына. Впрочем, эта ассоциация исчезла так же быстро, как и возникла.

Питер Стилмен вошел в комнату и сел напротив Куина в красное бархатное кресло. Направляясь к креслу, он не сказал ни слова, вообще никак на присутствие Куина не отреагировал. Сам по себе процесс перемещения с одного места на другое поглощал, как видно, все его внимание; казалось, перестань молодой человек хоть на долю секунды думать о том, чем он занимается, и он не сможет сделать ни шагу. Куин никогда не видел, чтобы человек двигался таким образом, и сразу сообразил, что по телефону говорил именно с ним. Тело Питера Стилмена чем-то напоминало его голос: скованное, безжизненное, оно передвигалось то медленно, то быстро, было неповоротливым и в то же время выразительным, как будто движения молодого человека были бесконтрольны, как будто действовало его тело по собственному разумению, а не по воле того, кому принадлежит. Казалось, Стилмен долгое время был обездвижен и всеми физическими навыками ему приходилось овладевать заново, отчего ходьба стала процессом сознательным, каждое движение словно бы дробилось на составляющие его «поддвижения», и, как следствие, были начисто утрачены плавность, естественность. Стилмен смахивал на марионетку, которая пытается ходить самостоятельно.

Все на Питере Стилмене было белым: белая рубашка с от-

крытым воротом, белые брюки, белые туфли, белые носки. Мертвенно-бледное лицо и жидкие льняные волосы создавали впечатление прозрачности; казалось, видны даже сосуды под кожей. Пржилки были такого же цвета, как глаза; молочно-голубые, они словно сливались с небом и облаками. О том, чтобы заговорить с этим человеком, нечего было и думать. Ощущение было такое, будто уже одним своим присутствием Стилмен призывал хранить молчание.

Молодой человек медленно опустился в кресло и только тогда обратил на Куина внимание. Когда глаза их встретились, Куин вдруг почувствовал, что Стилмен стал невидимкой. Он вроде и видел, что Стилмен сидит напротив, и в то же время кресло словно бы пустовало. «Уж не слепой ли он?» – подумалось Куину. Нет, непохоже. Молодой человек внимательно, даже испытующе смотрел на него, взгляд этот трудно было назвать осмысленным, однако некоторая живость в глазах ощущалась. Куин не знал, что делать. Он сидел на диване и тупо пялился на Стилмена. Прошло много времени.

– Никаких вопросов, пожалуйста, – подал наконец голос молодой человек. – Да. Нет. Спасибо. – Он помолчал. – Я Питер Стилмен. Говорю это не по принуждению. Да. Это не настоящее мое имя. Нет. Конечно, соображаю я совсем не так, как следует. Но с этим ничего не поделаешь. Нет. Не поделаешь. Нет, нет. Уже ничего не поделаешь.

Вот вы сидите и думаете: кто это со мной говорит? Какие

слова вылетают у него изо рта? Скажу вам. А захочу и не скажу. Да и нет. Соображаю я совсем не так, как следует. Говорю это не по принуждению. Но я попробую. Да и нет. Попробую рассказать вам, даже если мне будет трудно. Спасибо.

Меня зовут Питер Стилмен. Может быть, вы слышали обо мне, но, скорее всего, нет. Не важно. Это не настоящее мое имя. Мое настоящее имя я вспомнить не могу. Извините. Это значения не имеет. Теперь не имеет.

Это то, что называется речью. Это термин такой. Когда слова вылетают изо рта, поживут немного и умирают. Странно, правда? У меня на этот счет мнения нет. Нет, и все тут. И все же есть слова, без которых не обойтись. Много слов. Много миллионов. Может, всего три-четыре. Простите. Но сегодня я молодец. Гораздо лучше, чем обычно. Если я смогу дать вам слова, без которых не обойтись, это будет великая победа. Спасибо. Миллион раз спасибо.

Когда-то давно были мама и папа. Я этого не помню. Говорят, мама умерла. Кто говорит, я сказать не могу. Простите меня. Но так говорят.

Значит, без мамы. Ха-ха. Такой сейчас у меня смех. У меня в животе урчит: р-р-р. Ха-ха-ха. Большой папа сказал: без разницы. Мне. В смысле, ему. Большой папа – большой кулак, и бум-бум-бум. Сейчас вопросов не задавайте, пожалуйста.

Я говорю то, что говорят другие, потому что я ничего не знаю. Я всего лишь бедный Питер Стилмен, мальчик, ко-

торый не умеет вспомнить. Хо-хо. Ду-ду. Дурачок-чок-чок. Простите меня. Говорят, говорят. А что говорит бедный маленький Питер? Ничего, ничего. Больше ничего.

Вот как было. Темно. Очень темно. Темней не бывает. Говорят, была комната. Как будто я могу об этом говорить. О темноте. Спасибо.

Темно-темно. Говорят, девять лет. Даже без окна. Бедный Питер Стилмен. И бум-бум-бум. Кучи какашек. Море пипишек. Не в себе. Простите. Молчу и дрожу. Простите. Уже нет.

Темень, значит. Говорю же. В темноте еда, да. Кашка – темно бедняжке. Ел руками. Простите. Это я про Питера. А если я Питер, тем лучше. То есть тем хуже. Простите. Я Питер Стилмен. Это не настоящее мое имя. Спасибо.

Бедный Питер Стилмен. Он был маленький мальчик. Своих слов – раз-два и обчелся. Были слова – и нет слов. Ни одного, ни одногошеньки. Больше ни одного.

Простите меня, мистер Остер. Я не хочу, чтобы вы грустили. Только, пожалуйста, никаких вопросов. Меня зовут Питер Стилмен. Это не настоящее мое имя. Мое настоящее имя – мистер Грустли. А как вас зовут, мистер Остер? Может, это вы мистер Грустли, а я – никто.

Хо-хо. Простите меня. Как я плакал, как рыдал. Хнык-хнык. Бо-бо. Что делал Питер в этой комнате? Никто не может сказать. Некоторые помалкивают. А я-то думаю, что Питер не умел думать. Он рыдал? Он стонал? Он вонял? Ха-ха-

ха. Простите меня. Иногда я такое сказану.

В-з-з-з Г-у-у-у Ч-х-х-х. Стук-стук-перестук. У-у-у-о-о-о-а-а-а. Йа-йа-йа. Простите. Никто, кроме меня, этих слов не понимает.

Еще не время, не время, не время. Так мне говорят. Слишком долго Питер был поврежден головкой. Больше это не повторится. Нет, нет, нет. Говорят, кто-то нашел меня. Я не помню. Нет, я не помню, что было, когда они открыли дверь и в комнату проник свет. Нет, нет, нет. Обо всем этом мне сказать нечего. Больше нечего.

Я долго носил темные очки. Мне было двенадцать. Так мне сказали. Я лежал в больнице. Понемногу меня научили, как быть Питером Стилменом. Сказали: ты Питер Стилмен. Я сказал спасибо. Йа-йа-йа. Спасибо вам, спасибо, сказал.

Питер был еще ребеночком. Его приходилось всему учить. Ходить и все такое. Кушать. Какать и писать в туалете. Мне даже понравилось. Даже когда я кусал их, они не делали мне бум-бум-бум. Потом я перестал даже рвать на себе одежду.

Питер был хорошим мальчиком. Но научить его говорить слова было трудно. Губы как-то не так шевелились. И потом, с головкой у него было не все в порядке. Он говорил: ба-ба-ба. И – да-да-да. И – ва-ва-ва. Простите меня. Сколько лет на это убили. Теперь Питеру говорят: можешь идти, больше мы тебе ничем помочь не можем. Говорят: ты теперь человек, Питер Стилмен. Хорошо верить докторам. Спасибо. Боль-

шое спасибо.

Я Питер Стилмен. Это не настоящее мое имя. Мое настоящее имя Питер Кролик. Зимой я мистер Беленький, летом мистер Зелененький. Подумай, что тебе нравится больше всего. Я говорю это не по принуждению. В-з-з-з Г-у-у-у Ч-х-х – х. Красиво, правда? Я такие слова все время составляю. Ничего не могу с собой поделатъ. Вылетают изо рта, и все тут. Их не объяснишь.

Все спрашивают и спрашивают. Без толку. Но вам я скажу. Я не хочу, чтобы вы грустили, мистер Остер. У вас такое доброе лицо. Вы мне кого-то напоминаете. Кого-то или что-то, какой-то шум. И ваши глаза смотрят на меня. Да, да. Я вижу их. Это очень хорошо. Спасибо.

Поэтому я и говорю: пожалуйста, никаких вопросов. Вас интересует все остальное. То есть отец. Жестокий отец, который мучил маленького Питера. Ему обеспечен полный покой. Его уперли в темное местечко. И заперли там. Ха-ха – ха. Простите меня. Иногда я такое сказану.

Сказали, тринадцать лет. Должно быть, это долго. Но я ничего не знаю про время. Каждый день я рождаюсь заново. Я появляюсь на свет, когда просыпаюсь утром, за день состариваюсь, а вечером, когда ложусь спать, умираю. Это не моя вина. Сегодня я молодцом. Лучше, чем раньше.

Тринадцать лет отец не показывался. Его тоже зовут Питер Стилмен. Странно, правда? Что у двух разных людей одно и то же имя. Не знаю, это настоящее его имя или нет. Но

не думаю, что он – это я. Мы оба – Питер Стилмен. Но Питер Стилмен – это не настоящее мое имя. Поэтому, может быть, я все-таки не Питер Стилмен.

Тринадцать лет, да. Так мне сказали. А не все ли равно? Я ничего не знаю про время. Но мне они говорят вот что. Завтра кончатся тринадцать лет. Это плохо. Хотя они говорят, ничего страшного, это плохо. Вообще-то я такие вещи помнить не должен. Но иногда все-таки вспоминаю.

Он придет. В смысле, отец придет. И попытается меня убить. Спасибо большое. Но я не хочу. Нет, нет. С меня хватит. Питер сейчас живет. Да. У него не все дома, но он живет. А это уже что-то, так ведь? Зуб даю. Ха-ха-ха.

Я сейчас прямо поэтом стал. Каждый день сижу у себя в комнате и сочиняю стихи. Все слова сам выдумываю, как когда в темноте сидел. Когда притворяюсь, что я опять взаперти, мне вспоминать легче. Что эти слова означают, никто, кроме меня, не знает. Их невозможно перевести. Эти стихи сделают меня знаменитым. Все будут от меня без ума. Йа-йа-йа. Красивые стихи. Такие красивые, что весь мир обрывается.

Потом, возможно, я займусь чем-нибудь другим. Когда надоест быть поэтом. Слова ведь когда-то кончаются. У каждого человека в голове так много слов. И что же я буду делать потом? Мне бы хотелось быть пожарным. А после – врачом. Какая разница. Зато по проволоке ходить буду в последнюю очередь. Только в старости, когда научусь ходить не хуже

других. Тогда я буду плясать на проволоке, да так, что люди рот разинут. Даже дети. Вот чего бы мне хотелось. Танцевать на проволоке до самой смерти.

Не важно. Какая разница. Мне – никакой. Вы же видите, я богатый человек. Мне волноваться нечего. Нет, нет. Не по этому поводу. Зуб даю. Отец был богатым, и маленькому Питеру, когда его заперли в темноте, достались все его деньги. Ха-ха-ха. Простите, что смеюсь. Иногда я такое сказану.

Из Стилменов я – последний. Когда-то, говорят, большая семья была. Из Бостона – может, слышали? Я – последний. Больше никого не осталось. За мной пусто, я замыкающий. Что ж, тем лучше. Будет не обидно, когда все это кончится. Лучше быть мертвым, чем живым.

Отец, может, был не так уж и плох. По крайней мере, мне сейчас так кажется. У него была большая голова. Большущая. Места внутри полно. А значит, и мыслей в этой голове было видимо-невидимо. Бедный Питер! Попал в переделку, а? Ничего не видно, ни сказать, ни сделать, ни подумать. Ничего-то этот Питер не может. Ничегошеньки.

Сам-то я ничего про все это не знаю. И не понимаю. Обо всем этом мне жена рассказывает. Говорит, что мне необходимо это знать, даже если я ничего понять не могу. Но я и этого тоже не понимаю. Чтобы знать, надо понимать. Нет, скажете? А я ничего не знаю. Может, я Питер Стилмен, а может, и нет. Питер Никто – вот мое настоящее имя. Спасибо. А что вы обо всем этом думаете?

Я вам, значит, про отца рассказываю. Хорошая история, даже если я ее и не понимаю. Я могу вам ее рассказать, потому что знаю слова. А это уже кое-что, верно? В смысле, знать слова. Иногда я так горжусь собой. Простите. Вот что говорит моя жена. Она говорит, что отец рассуждал о Боге. Смешное такое слово. Бог-дог. Но ведь дог не похож на Бога, верно? Гав-гав. Вау-вау. Собачьи слова. Красивые. Лучше не придумаешь. Не хуже моих слов.

Так вот, отец рассуждал о Боге. Хотел понять, есть ли у Бога свой язык. Не спрашивайте меня, что это значит. Я рассказываю только потому, что знаю слова. Отец думал, что младенец сможет заговорить, если не будет видеть людей. Но разве ж это младенец? Ага. Вы начинаете понимать. Подкупать его не пришлось. Конечно, кое-какие человеческие слова Питер знал. С этим ничего поделать было нельзя. Но отец думал, что, может, Питер их забудет. Со временем. Вот почему было так много бум-бум-бум. Каждый раз, когда Питер произносил слово, отец делал ему бум-бум. Наконец Питер научился не говорить. Йа-йя-йя. Спасибо.

Питер молчал. Все эти дни, месяцы, годы. Маленький Питер сидел в темноте, одинешенек, и слова шумели у него в голове, отвлекали его. Вот почему у него плохо открывается ротик. Бедный Питер. У-у-у. Вот как он плачет. Маленький мальчик, который никогда не станет большим.

Сейчас Питер говорит, как все люди. Но у него в голове есть и другие слова. Это Божий язык, на нем, кроме него,

никто говорить не умеет. Их не переведешь. Вот почему Питер живет так близко от Бога. Вот почему он известный поэт.

Сейчас у меня все хорошо. Могу делать все, что хочу. В любое время, в любом месте. У меня даже жена есть. Сами видите. Я уже упоминал о ней. Может быть, вы даже с ней познакомились. Красивая, правда? Ее зовут Вирджиния. Это не настоящее ее имя. Но это значения не имеет. Для меня.

По первому моему зову жена приводит мне девочек. Это шлюхи. Я вставляю в них свой червячок, и они стонут. Их было так много. Ха-ха. Они приходят сюда, и я их трахаю. Трахаться хорошо. Вирджиния им платит, и все довольны. Зуб даю. Ха-ха.

Бедная Вирджиния. Она трахаться не любит. В смысле, со мной. Может, она трахается с кем-то другим. Кто знает? Я ничего про это не знаю. Какая разница. Очень может быть, она даст и вам, если вы проявите к ней интерес. Я был бы счастлив. За вас. Спасибо.

Вот так. Столько разного происходит. Всего и не расскажешь. У меня не все дома, я знаю. Это верно, да, я говорю это без всякого принуждения: иногда я криком кричу. Без всякой причины. Как будто для этого нужна причина. Нет, я никакой причины не вижу. И все остальные тоже. Нет. А потом наступает время, когда я замолкаю. Молчу по многу дней подряд. Не говорю ничего. Ничего, ничего. Я забываю, что надо делать, чтобы изо рта вылетали слова. А потом мне становится трудно двигаться. Йа-йа. И даже смотреть. То-

гда-то я и становлюсь мистером Грустли.

Мне по-прежнему хочется быть в темноте. Во всяком случае, иногда. Думаю, это идет мне на пользу. В темноте я говорю на Божьем языке и никто меня не слышит. Не сердитесь, пожалуйста. Я ничего не могу с собой поделать.

Лучше всего, конечно, воздух. Да. И понемногу я выучился жить на воздухе. Воздух и свет, да, свет тоже, он освещает все вокруг, и я могу видеть то, что хочу. Свет и воздух, лучше них нет ничего. Простите меня. Воздух и свет. Да. Когда погода хорошая, я люблю сидеть у открытого окна. Иногда я выглядываю из окна и смотрю на то, что внизу. На улицу, на людей, на собак и машины, на кирпичный дом напротив. А бывает, я закрываю глаза и просто сижу у окна: ветерок обдувает лицо, в воздухе свет, свет всюду, и даже в закрытых глазах, весь мир красного цвета, красивого красного цвета, это солнечные лучи падают на меня, проникают в глаза.

Верно, выхожу я редко. Мне трудно, и я не всегда в себе уверен. Иногда я плачу. Не сердитесь на меня, пожалуйста. Я ничего не могу с собой поделать. Вирджиния говорит, что я не умею себя вести. Но иногда я ничего не могу с собой поделать, и плач сам собой вырывается из груди.

Но вот в парк я очень люблю ходить. Там деревья, воздух, свет. Как все это хорошо, правда ведь? Да. Понемногу мне внутри себя становится лучше. Я сам это чувствую. Даже доктор Вышнеградский так считает. Я-то знаю, что я еще кукла. С этим уж ничего не поделаешь. Нет. Нет. Ничего.

Но иногда я думаю, что когда-нибудь вырасту и стану человеком.

А пока я по-прежнему Питер Стилмен. Это не настоящее мое имя. Я не могу сказать, кем буду завтра. Каждый день – новый, и каждый день я снова появляюсь на свет. Я везде вижу надежду, даже в темноте, и, когда я умру, я, может быть, стану Богом.

Слов очень-очень много. Но я вряд ли буду употреблять их все. Нет. Не сегодня. У меня устал рот, и я думаю, что мне пора идти. Конечно, я ничего не знаю про время. Но это не имеет значения. Для меня. Большое вам спасибо. Я знаю, вы спасете мне жизнь, мистер Остер. Я надеюсь на вас. Жизнь может продолжаться сколько угодно, вы же понимаете. Все остальное находится в комнате, с темнотой, с Божьим языком, с рыданиями. Я сделан из воздуха – красивая вещь, на которую падает свет. Может быть, вы это запомните. Я Питер Стилмен. Это не настоящее мое имя. Большое вам спасибо.

### 3

Монолог закончился. Сколько он продолжался, Куин не знал. Только сейчас, когда его собеседник замолчал, он вдруг обнаружил, что сидят они в темноте. По всей видимости, прошел целый день. В какой-то момент, во время монолога Стилмена, в комнату заглянуло солнце, но Куин этого не заметил. Теперь же он сидел, погруженный во мрак и молчание, такие непроницаемые, что у него кружилась голова. Прошло несколько минут. Куин подумал, что теперь настала очередь и ему что-то сказать, но до конца уверен он в этом не был. Слышно было, как тяжело дышит сидящий напротив Питер Стилмен. В остальном же в комнате стояла мертвая тишина. Куин не знал, как себя вести. Он рассмотрел несколько возможностей, но затем одну за другой их отбросил. Сидел на диване и ждал, что произойдет дальше.

Но вот молчание нарушил шуршащий звук: кто-то в чулках пересек комнату, щелкнул выключатель – и комната озарилась ярким светом. Куин машинально повернул голову к источнику света и увидел, что слева от Питера рядом с настольной лампой стоит Вирджиния Стилмен. Молодой человек тупо глядел в одну точку, словно спал с открытыми глазами. Миссис Стилмен наклонилась к Питеру, положила руку ему на плечо и тихо произнесла на ухо:

– Пора, Питер. Миссис Сааведра ждет тебя.

Питер поднял на нее глаза и улыбнулся.

– Я сгораю от нетерпения, – сказал он.

Вирджиния Стилмен ласково поцеловала мужа в щеку.

– Скажи мистеру Остеру до свидания, – сказала она.

Питер встал. А вернее, приступил к унылой, медленной процедуре высвобождения своего тела из объятий кресла. На каждом этапе этой процедуры происходили торможения, сбои, срывы, молодой человек то и дело застывал, что-то бормотал себе под нос, произносил слова, смысл которых Куин расшифровать не мог.

Наконец Питер принял вертикальное положение. Он стоял перед своим креслом и с победоносным видом смотрел Куину прямо в глаза. А затем улыбнулся – широко, без тени смущения.

– До свидания, – сказал он.

– До свидания, Питер, – сказал Куин.

Питер неловко взмахнул рукой, а затем медленно повернулся и направился к двери. Шел он нетвердой походкой, клонясь то вправо, то влево, ноги у него то сплетались, то, наоборот, разъезжались в разные стороны. В дальнем конце комнаты в освещенном дверном проеме его уже поджидала женщина средних лет в белом халате медсестры. «Миссис Сааведра», – решил про себя Куин. Он провожал Питера глазами до тех пор, пока молодой человек не скрылся за дверью.

Вирджиния Стилмен села напротив Куина в то же самое

кресло, которое еще минуту назад занимал ее супруг.

– Я могла бы избавить вас от всего этого, – начала она, – но подумала, что будет лучше, если вы увидите его собственными глазами.

– Понимаю, – отозвался Куин.

– Едва ли, – с горечью заметила Вирджиния. – Понять такое мудрено.

Куин скривился в улыбке, а затем, набравшись смелости, сказал:

– Что я понимаю, а что нет, по-моему, не столь уж важно. Вы наняли меня, и чем скорее я приступлю к делу, тем лучше. Насколько я могу судить, оно не терпит отлагательств. Я вовсе не претендую на то, чтобы понять Питера, оценить, сколько всего вы перенесли. Моя задача – оказать вам помощь. Как говорится, хотите – берите, хотите – нет.

Куин немного воодушевился. Что-то подсказывало ему, что тон им выбран правильный, и он вдруг испытал какое-то особое удовольствие, словно сумел переступить через себя самого.

– Вы правы, – согласилась Вирджиния Стилмен. – Конечно же, вы правы.

Она помолчала, затем набрала полную грудь воздуха, однако продолжать не спешила, словно репетируя в уме то, что ей предстоит сказать. Куин заметил, как она судорожно стиснула подлокотники.

– Я готова согласиться, – нарушила наконец молчание

она, – что Питера понять нелегко, особенно когда общаешься с ним впервые. Все это время я простояла в соседней комнате, слушая, что он вам рассказывал. Питер далеко не всегда говорит правду, что, впрочем, вовсе не значит, будто все вами услышанное ложь.

– Вы хотите сказать, что чему-то из его рассказа следует верить, а чему-то нет.

– Совершенно верно.

– Ваши интимные отношения или их отсутствие меня несколько не заботят, миссис Стилмен, – заметил Куин. – Даже если Питер сказал правду, значения это не имеет. В моей работе случается всякое, и, если будешь торопиться с выводами, ничего не добьешься. Я привык не только выслушивать чужие тайны, но и держать язык за зубами. Если какой-то факт не имеет прямого отношения к делу, меня он не интересует.

Миссис Стилмен покраснела.

– Я просто хотела, чтобы вы знали: слова Питера не соответствуют действительности.

Куин пожал плечами, достал из пачки сигарету и закурил.

– Как бы то ни было, – сказал он, – это несущественно. Меня больше интересуют другие вещи, о которых говорил Питер. Они-то, насколько я могу понять, действительности соответствуют, и, если это так, мне хотелось бы узнать вашу точку зрения.

– Да, соответствуют. – Вирджиния Стилмен разжала паль-

цы, которыми сжимала подлокотник, и подперла подбородок правой рукой. Задумалась. Олицетворение честности. – Питер ведет себя, как дитя, но то, что он говорит, – правда.

– Расскажите мне про его отца. То, что сочтете нужным.

– Отец Питера родом из Бостона. О бостонских Стилменах вы слышали наверняка. В девятнадцатом веке выходцы из этой семьи были губернаторами штата, епископами англиканской церкви, послами, один представитель этого рода был даже президентом Гарварда. В то же время Стилмены не брезговали и коммерцией: наживались на текстиле, судостроении, бог знает на чем. Подробности несущественны. Важно, чтобы вы имели представление о семье Стилменов в целом.

Отец Питера, как и все Стилмены, поступил в Гарвард, изучал там философию, историю религии и, по отзывам всех, кто его знал, студентом был блестящим. Защитив диссертацию о теологических толкованиях роли Нового Света в шестнадцатом – семнадцатом веках, он устроился на работу в религиозный отдел Колумбийского университета и вскоре после этого женился на матери Питера. О ней мне известно мало. Судя по фотографиям, которые попадались мне на глаза, она была очень хороша собой, при этом хрупка, болезненна, немного похожа на Питера: такие же водянисто-голубые глаза и прозрачная кожа. Когда, через несколько лет после свадьбы, родился Питер, Стилмены жили в огромной квартире на Риверсайд-драйв. Стилмен сделал блестящую акаде-

мическую карьеру, диссертацию переработал в монографию – книга имела огромный успех – и в возрасте тридцати четырех – тридцати пяти лет получил «полного» профессора. Но тут умерла мать Питера. От чего – так и осталось загадкой. Сам Стилмен утверждал, что скончалась жена во сне, однако нельзя было исключить и самоубийство. Как будто бы передозировка – доказать, впрочем, так ничего и не удалось. Поговаривали даже, что Стилмен убил жену, но это были лишь слухи, не более того. Вообще вся история прошла совершенно незаметно.

Питеру тогда было всего два года, и ребенок он был совершенно нормальный. После смерти жены Стилмен, по-видимому, мало им занимался. Была нанята няня, которая полностью взяла Питера на себя. Затем, через несколько месяцев, Стилмен ни с того ни с сего няню выгоняет. Я забыла ее имя – мисс Барбер, кажется; впоследствии она давала показания в суде. Как будто бы Стилмен в один прекрасный день пришел домой и заявил, что впредь займется воспитанием Питера сам. Он послал в Колумбийский университет заявление об отставке, где писал, что уходит с работы, чтобы всецело посвятить себя сыну. В деньгах он не нуждался, поэтому уговорить его остаться не удалось.

После этого Стилмен перестал появляться на людях. Жить он продолжал в той же самой квартире, однако на улицу выходил редко. Собственно говоря, никто толком не знает, что произошло. Возможно, он увлекся какими-то заум-

ными религиозными идеями, о которых писал. Как бы то ни было, Стилмен помешался, начисто лишился рассудка. Подумайте сами: он посадил Питера в одной из комнат, заколотил окна и продержал его взаперти девять лет. Только представьте, мистер Остер. Девять лет. Все свое детство ребенок провел в крошечной тьме, в полном одиночестве; все его контакты с внешним миром сводились к тому, что отец время от времени его избивал. Я живу с результатами этого эксперимента и могу подтвердить, что ущерб Питеру нанесен чудовищный. Сегодня вам повезло – Питер был в форме. Чтобы вывести его из того состояния, в котором он находился, понадобилось тринадцать лет, и будь я проклята, если позволю кому-нибудь вновь причинить ему вред.

Миссис Стилмен замолчала, чтобы перевести дух. Куин вдруг почувствовал, что она на грани срыва – еще одно слово, и с ней начнется истерика. Ему следовало срочно что-то сказать, иначе разговор начинал терять смысл.

– Как Питера нашли? – спросил он.

Вирджиния тяжело вздохнула и посмотрела на Куина в упор.

– Был пожар, – ответила она.

– Поджог?

– Никто не знает.

– А что думаете вы?

– Я думаю, что Стилмен в это время находился у себя в кабинете. Там он вел записи своих экспериментов и, видимо,

пришел к выводу, что замысел не удался. Это вовсе не значит, что он пожалел о том, что сделал, – просто почувствовал, что потерпел неудачу. В ту ночь он, вероятно, окончательно в себе разочаровался и решил сжечь компрометирующие его бумаги. Но пожар распространился на всю квартиру, и большая ее часть сгорела. По счастью, комната Питера находилась в другом конце длинного коридора, и его удалось спасти.

– А потом?

– А потом несколько месяцев тянулось расследование. Прямые улики отсутствовали – бумаги Стилмена погибли в огне. С другой стороны, достаточно было взглянуть на Питера, на комнату, где отец держал его взаперти, на эти страшные доски, которыми были заколочены окна... Так что в конце концов следствию удалось докопаться до истины, и Стилмена судили.

– И к чему присудили?

– Его признали невменяемым и положили на принудительное лечение.

– А Питер?

– Питер тоже попал в больницу. И выписался всего два года назад.

– Там вы с ним и познакомились?

– Да. В больнице.

– Каким образом?

– Я была его логопедом. Работала с Питером каждый день

на протяжении пяти лет.

– Простите за любопытство, но как вышло, что вы поженились?

– Это долгая история.

– Я не тороплюсь.

– Не в этом дело. Боюсь, вы не поймете...

– Вы в этом уверены?

– Если в двух словах, то иного способа забрать Питера из больницы и дать ему возможность вести более или менее нормальную жизнь у меня не было.

– А стать его законным опекуном вы разве не могли?

– Это очень сложная процедура. К тому же тогда Питер был уже совершеннолетним.

– Получается, что вы пожертвовали собой?

– Не совсем так. До этого я уже была один раз замужем – неудачно. Рисковать еще раз мне не хотелось. А тут, по крайней мере, у меня появлялась цель в жизни.

– Правда, что Стилмена должны скоро выпустить?

– Завтра. Завтра вечером его поезд приходит на Центральный вокзал.

– И вы боитесь, как бы старик не стал преследовать Питера? У вас дурное предчувствие или есть какие-то доказательства?

– И то и другое. Два года назад Стилмена уже собирались выписать. Но он прислал Питеру письмо, и я показала его в клинике. Тогда они решили, что с выпиской поторопились.

– Что было в этом письме?

– Совершенно безумное письмо. Стилмен называл сына дьяволенком, угрожал ему.

– Это письмо у вас?

– Нет. Два года назад я отдала его в полицию.

– Оригинал или копию?

– Простите, вы полагаете, что это имеет значение?

– Как знать.

– Если хотите, я могу попробовать это письмо достать.

– Насколько я понимаю, других писем такого рода не было?

– Нет, больше писем Стилмен не писал. И вот теперь врачи считают, что он готов к выписке. Это официальная точка зрения, и поделаться я ничего не могу. По-моему, Стилмен просто сделал надлежащие выводы. Он понял, что, если и впредь будет угрожать сыну, его не выпустят никогда.

– Поэтому вы и волнуетесь.

– Именно поэтому.

– Но каковы планы Стилмена, вам неизвестно?

– Нет.

– Чего вы ждете от меня?

– Я хочу, чтобы вы установили за Стилменом слежку. Чтобы выяснили, что у него на уме. Чтобы помешали ему разыскать Питера.

– Иными словами, вы предлагаете мне сесть ему на хвост.

– Что-то в этом роде.

– Вы должны понять, что помешать Стилмену подойти к вашему дому я не могу. Предупредить вас – другое дело. Или прийти вместе с ним.

– Понимаю. Главное, чтобы мы чувствовали себя защищенными.

– Хорошо. Как часто мне выходить с вами на связь?

– Мне бы хотелось, чтобы вы сообщали о том, как обстоят дела, каждый день. Давайте договоримся, что вы будете звонить вечером, между десятью и одиннадцатью.

– Прекрасно.

– Что-нибудь еще?

– Еще несколько вопросов. Меня интересует, например, как вы узнали, что Стилмен приезжает на Центральный вокзал завтра вечером.

– Узнала, потому что хотела узнать, мистер Остер. На карту поставлено слишком много, и рисковать я просто не имею права. Если за Стилменом не будет установлена слежка с той минуты, как он выйдет из поезда, он без труда растворится в городе. Этого допустить нельзя.

– Каким поездом он приезжает?

– Поездом из Поукипси. В шесть сорок одну.

– Надо полагать, у вас есть фотография Стилмена?

– Да, конечно.

– Мой следующий вопрос касается Питера. Зачем надо было ставить его в известность о приезде отца? Не лучше ли было держать эту информацию при себе?

– Безусловно. Но когда мне сообщили о выписке отца, Питер поднял отводную трубку и разговор слышал. Мне ничего не оставалось, как все ему рассказать. Питер бывает очень упрям, и лучше говорить ему правду.

– И последний вопрос. Кто рекомендовал вам меня?

– Майкл, муж миссис Сааведры. В свое время он служил в полиции, навел справки и выяснил, что для такой работы лучше вас в городе нет никого.

– Вы мне льстите.

– Поговорив с вами, мистер Остер, я убедилась, что Майкл прав: мы нашли нужного человека.

Эти слова Куин воспринял как намек на то, что пора уходить. Он засиделся. Все шло хорошо, гораздо лучше, чем он ожидал, вот только болела голова и ныло все тело – такого не было уже много лет. Еще полчаса, и он расклеится окончательно.

– Я беру сто долларов в день плюс расходы, – сказал он. – Если вы дадите мне аванс, это будет доказательством того, что я на вас работаю; тем самым мы вступим в официальные отношения сыщик – клиент, то есть в отношения строжайшей конфиденциальности.

Вирджиния Стилмен загадочно улыбнулась – словно каким-то своим тайным мыслям. А может, ее позабавила двусмысленность его последних слов. Куин так этого до конца и не понял – как и всего того, что произошло с ним в последующие дни и недели.

– Сколько бы вы хотели получить? – спросила она.

– Мне безразлично. Решайте сами.

– Пятьсот?

– Этого будет более чем достаточно.

– Хорошо. Пойду возьму чековую книжку. – Вирджиния

Стилмен встала и вновь улыбнулась Куину. – Заодно принесу вам фотографию Стилмена-старшего. Мне кажется, я знаю, где она.

Куин поблагодарил и сказал, что подождет. Он проводил ее глазами и вновь поймал себя на том, что представил, как бы она выглядела без одежды. «То ли в ней и в самом деле есть что-то неотразимое, – раздумывал он, – то ли у меня опять крыша поехала...»

Но тут Вирджиния Стилмен вернулась, и он решил отложить свои размышления на потом.

– Вот чек, – сказала она. – Надеюсь, я все написала правильно.

«Да, да, – подумал Куин, разглядывая чек, – все в полном порядке». Он был собой доволен. Чек, разумеется, был выписан на Пола Остера, и Куина, таким образом, нельзя было обвинить в том, что он, не имея лицензии, выдает себя за частного детектива. Теперь все встало на свои места. Его нисколько не смущало, что денег по такому чеку он никогда получить не сможет. Ясно, что такая работа делается не за деньги. Куин спрятал чек во внутренний карман пиджака.

– Простите, более свежей фотографии не нашлось, – го-

ворила между тем Вирджиния Стилмен. – Эта, к сожалению, двадцатилетней давности. Другой, боюсь, мне не отыскать.

Куин посмотрел на фотографию Стилмена в надежде на неожиданное озарение, на то, что какое-то шестое чувство позволит ему проникнуть в душу этого человека. Но лицо на фотографии было непроницаемым. Лицо как лицо. Еще несколько секунд он вглядывался в черты Стилмена – нет, такое лицо может быть у кого угодно.

– Дома рассмотрю повнимательнее, – сказал он, пряча фотографию в тот же карман, что и чек. – Надеюсь, что завтра на вокзале его узнаю. Не изменился же он до неузнаваемости!

– Очень хочется в это верить, – отозвалась Вирджиния Стилмен. – На вас вся надежда.

– Не беспокойтесь, – сказал Куин, – я ни разу еще никого не подвел.

Она проводила его до дверей. Несколько секунд они стояли на пороге молча, не зная, надо ли что-то добавить или пришло время попрощаться. И тут Вирджиния Стилмен ни с того ни с сего обвила руками шею Куина, поймала губами его губы и, запустив язык ему в рот, страстно его поцеловала. Куин был настолько ошарашен, что удовольствия от поцелуя не получил.

Когда наконец он снова смог дышать, миссис Стилмен отступила чуть в сторону и сказала:

– Это чтобы вы не верили Питеру на слово. Мне очень

важно, чтобы вы поверили мне.

– Я вам верю. А если б и не верил, какое это имеет значение?

– Я просто хотела, чтобы вы знали, на что я способна.

– Теперь, похоже, знаю.

Она взяла его правую руку в свои и поднесла к губам.

– Спасибо, мистер Остер. Вы – находка, я в этом нико-  
лько не сомневаюсь.

Куин пообещал, что позвонит вечером следующего дня, и сам не заметил, как переступил через порог, вызвал лифт и спустился на первый этаж. Когда он вышел на улицу, был первый час ночи.

О случаях наподобие того, который произошел с Питером Стилменом, Куин слышал и раньше. Еще в прежней жизни, вскоре после рождения сына, он написал рецензию на книгу о дикаре из Авейрона и тогда довольно много читал на эту тему. Насколько он помнил, древнейшее упоминание о подобном эксперименте встречается в сочинениях Геродота: египетский фараон Псамтик в седьмом веке до нашей эры изолировал от мира двух младенцев и велел находившемуся при них слуге в их присутствии не раскрывать рта. Геродот (хроникер крайне ненадежный) пишет, что младенцы тем не менее говорить научились – первое произнесенное ими слово было фригийское слово «хлеб». В средние века, в надежде обнаружить «естественный человеческий язык» и с использованием тех же методов, эксперимент этот повторил император Священной Римской империи Фридрих II, однако дети умерли, так и не заговорив. Вспомнилась ему история и вовсе неправдоподобная: шотландский король Джеймс IV, живший в начале шестнадцатого века, заявил, что шотландские дети, изолированные таким же образом, начинали говорить «на очень приличном древнееврейском языке».

Однако интерес к подобным опытам проявляли отнюдь не только маньяки и пустые мечтатели. Даже человек такого здравого и скептического ума, как Монтень, уделил это-

му вопросу немало внимания; в одном из своих наиболее значительных эссе «Апология Реймона Себона» он писал: «Нам кажется, что ребенок, коего вырастили в полном одиночестве, вдали от любых связей с себе подобными (что было бы экспериментом весьма сложным), обзаведется в конце концов речью для выражения своих мыслей. Маловероятно, чтобы Природа отказала нам в тех возможностях, каковые даровала она другим живым существам... Предстоит, однако ж, еще выяснить, на каком языке заговорит этот младенец; то же, что говорится предположительно, представляется нам далеким от истины».

Встречались также случаи непреднамеренной изоляции: потерявшиеся в лесу дети, высаженные на необитаемый остров матросы, младенцы, которые росли среди волков, – а также случаи, когда садисты-родители держали своих детей взаперти, приковывали их цепями к кровати, избивали в чуланах, жестоко истязали – и все потому, что не в силах были справиться с собственным безумием. В свое время Куин познакомился с обширной литературой по этому вопросу. Например, шотландский моряк Александр Селькерк (считается, что именно он послужил прообразом Робинзона Крузо) прожил четыре года в полном одиночестве на необитаемом острове неподалеку от берегов Чили и, по словам капитана корабля, спасшего его в 1708 году, «из-за отсутствия речевой практики настолько забыл свой язык, что нам приходилось, дабы его понимать, прикладывать немало труда».

Спустя двадцать лет в лесу, неподалеку от немецкого города Хамельна, был обнаружен Петер из Ганновера, немой голый дикарь лет четырнадцати, которого доставили ко двору английского короля Георга I, оказавшего ему особое покровительство. И Свифт, и Дефо получили возможность увидеть мальчика собственными глазами, в связи с чем Дефо издал в 1726 году памфлет под названием «Очерк чистой природы». Говорить Петер так и не научился и спустя несколько месяцев был отправлен обратно на родину, где дожил до семидесяти лет, совершенно не интересуясь ни женщинами, ни деньгами, ни прочими мирскими делами. Заинтересовала Куина и история Виктора, дикаря из Авейрона, который был найден в 1800 году. Благодаря терпеливому и тщательному уходу доктора Итара Виктор овладел элементарными речевыми навыками, однако говорил, как маленький ребенок. Еще большую огласку получил случай Каспара Хаузера, который объявился в Нюрнберге в 1828 году; Каспар был облачен в экзотические одежды и бормотал что-то совершенно бессвязное. Написать свое имя он сумел, в остальном же вел себя как сущий младенец. Городские власти приняли в нем участие и препоручили его заботам местного учителя; целыми днями Каспар сидел на полу, играл в игрушечные лошадки и ничего, кроме хлеба и воды, в пищу не употреблял. Тем не менее определенного прогресса он все же добился: овладел навыками верховой езды, совершенно помешался на чистоплотности, пристрастился к красному и белому цвету и

отличался исключительной памятью, особенно на имена и лица. И все же Каспар предпочитал не выходить на улицу, избегал яркого света и, подобно Петеру из Ганновера, был абсолютно равнодушен к женщинам и деньгам. Когда со временем память к нему вернулась, он, хоть и не без труда, припомнил, что много лет просидел на полу в темной комнате и что кормил его человек, который ни разу с ним не заговорил и старался не показываться ему на глаза. Вскоре после этих откровений какой-то негодяй набросился на Каспара, когда тот сидел в парке, и зарезал его кинжалом.

Последние годы Куин гнал от себя воспоминания о подобных историях. Думать о детях, особенно детях, которых преследовали, с которыми дурно обращались, которые умерли, так и не успев повзрослеть, ему было тяжело. И если Стилмен был тем самым негодяем с кинжалом, если он вернулся, чтобы отомстить мальчику, чью жизнь загубил, – Куин ему помешает. Он понимал, что вернуть к жизни собственного сына ему не дано, но вот не дать погибнуть другому в его силах. Сейчас такая возможность представилась, но, когда он вышел на улицу, мысль о том, что ему предстоит совершить, показалась сущим кошмаром. Он вспомнил маленький гробик с телом сына, вспомнил день похорон и как гроб опускали в землю. Вот что такое полная изоляция, сказал он себе. Вот что такое непроницаемая тишина. А ведь его сына тоже звали Питер.

На углу 72-й стрит и Мэдисон авеню Куин остановил такси. Пока машина ехала через парк в сторону Уэст-сайда, он смотрел в окно и раздумывал, те ли это деревья, которые видел Питер Стилмен, когда выходил на воздух и на свет. Интересно, видит ли Питер то же самое, что и он, или воспринимает мир совсем иначе? И если дерево – не дерево, то что же оно такое?

Выйдя из такси у своего дома, Куин вдруг почувствовал, что ужасно голоден. С раннего утра он ничего не ел. «Странно, как быстро пролетело время», – подумал он. По его подсчетам, он просидел у Стилменов больше четырнадцати часов, и в то же время ощущение было такое, будто он пробыл там от силы часа три-четыре. В результате ему ничего не оставалось, как в недоумении пожать плечами и сказать себе: «Надо научиться смотреть на часы почаще».

Он вернулся на 107-ю стрит, повернул налево на Бродвей и, двинувшись в сторону от центра, стал искать, где бы перекусить. Сегодня вечером в бар идти не хотелось: полумрак, пьяный гомон, хотя в принципе он ничего против баров не имел. Переходя 112-ю стрит, он увидел, что закусочная «Хайтс» еще открыта, и решил зайти. Это было ярко освещенное и в то же время мрачноватое заведение с большим, забитым порножурналами стеллажом у стены, отсеком,

где продавались писчебумажные товары, еще одним отсеком с газетами и с десятком столиков вокруг длинной стойки из жаростойкого пластика с вращающимися табуретами. За стойкой, в белом картонном поварском колпаке, стоял высокий пуэрториканец, в задачу которого входило приготовление жилистых гамбургеров, подогретых сэндвичей с незрелыми помидорами и вялым зеленым салатом, молочных коктейлей и сдобных булок. Справа от пуэрториканца за кассой пристроился хозяин, маленький лысеющий человечек с курчавыми волосами и выжженным на руке ниже локтя номером заключенного концлагеря; курчавый распоряжался сигаретами, трубками и сигарами. В данный момент он сидел, погружившись в чтение ночного выпуска «Дейли ньюс».

В это время суток закусовая пустовала. В глубине за столиком два плохо одетых старика, один толстый, другой очень худой, изучали программку скачек. Перед ними стояли две пустые кофейные чашки. У входа, перед стеллажом, с открытым журналом в руках застыл, тупо уставившись на фотографию голой девицы, какой-то студент. Куин подсел к стойке и заказал гамбургер и кофе. Занявшись приготовлением гамбургера, пуэрториканец повернулся к Куину спиной и бросил через плечо:

- Смотрел сегодня бейсбол?
- Не получилось. Хорошие новости?
- Лучше не бывает.

Уже несколько лет между Куином и этим человеком, име-

ни которого он не знал, происходил один и тот же диалог. Однажды Куин завтракал в этой закусочной, они разговорились о бейсболе, и теперь, когда бы Куин ни пришел, беседа о бейсболе продолжалась. Зимой они обменивались впечатлениями, говорили о бизнесе и политике, однако во время бейсбольного сезона всегда обсуждался последний матч. Оба болели за «Метрополитенс», и обреченность этой страсти их сблизила.

Пуэрториканец покачал головой:

– Первые два раза, когда Кингмен выходил бить, он сумел заработать два очка. Бах! Пушечный удар! Наконец-то бросил как надо и у нас появился шанс... Два – один, конец девятого иннинга. У «Питсбурга» один на второй базе, один на третьей, при одном выбывшем, и «Метсы» меняют питчера, ставят Аллена. Аллен делает три умышленных промаха, чтоб противник прошел пешком до первой базы. У «Метсов» два варианта: либо пропустить игрока на базу, либо, если удар пройдет по центру, выбить из игры сразу двух. Пення слабо бьет в сторону первой базы – и мяч проскакивает у Кингмена между ног, представляешь? В результате двое зарабатывают два очка, и Нью-Йорку хана.

– Дейв Кингмен – кусок дерьма, – сказал Куин, уплетая свой гамбургер.

– Зато Фостер еще себя покажет, – отозвался пуэрториканец.

– Выдохся твой Фостер. Кончился. Мордоворот. – Куин

жевал медленно, прощупывая языком, нет ли жил. – Надо бы его обратно в Цинциннати отправить. Заказным письмом.

– Ага, – согласился бармен. – Но в этом сезоне они за себя постоят. В любом случае, думаю, выступят лучше, чем в прошлом.

– Даже не знаю. – Куин откусил еще кусок. – На бумаге это выглядит неплохо, а так – кому играть-то? Стернс вечно с травмами, Бруксу не до бейсбола. Набрали молодежь из второй лиги... Муки хорош, но еще сыроват, к тому же до сих пор неизвестно, кого ставить справа. Есть, конечно, Расти, но этот еле ноги переставляет. А о хорошем питчере вообще забудь. Ши и нас бы с тобой взял, если б мы захотели...

– Тебе надо тренером идти – так ты все хорошо знаешь, – усмехнулся бармен. – «Метсы» бы с тобой первое место взяли.

– Зуб даю, – отозвался Куин.

Кончив есть, Куин направился в писчебумажный отдел. Пришла партия нового товара, и пачка из синих, зеленых, красных и желтых тетрадей радовала глаз. Он взял одну из них и проверил, разлинованы ли страницы. Писал Куин от руки, на машинке перепечатывал текст только набело, а потому всегда покупал тетради добротные, с крепким, скрепленным проволокой корешком. Теперь, когда он взялся за дело Стилмена, новая тетрадь была ему совершенно необходима. Сюда он мог бы записывать мысли, наблюдения, да и вопросы тоже и, таким образом, держать происходящее под

постоянным контролем.

Куин оглядел разноцветную пачку, прикидывая, какой тетради отдать предпочтение. По какой-то необъяснимой причине свой выбор он остановил на лежавшей в самом низу красной тетради, вытащил ее и осмотрел, бережно листая страницы большим пальцем. Объяснить самому себе, чем она ему так приглянулась, он не мог. Это была самая обыкновенная, стандартных – восемь с половиной на одиннадцать – размеров стостраничная тетрадь, и все же было в ней что-то особенное, как будто именно ей предназначалось вместить слова, слетавшие с его пера. Словно стесняясь собственных чувств, Куин поспешным движением сунул тетрадь под мышку, подошел к кассе и расплатился.

Вернувшись спустя четверть часа домой, Куин вынул из кармана пиджака фотографию Стилмена и чек и аккуратно выложил их на письменный стол. Сбросил со стола мусор: обгоревшие спички, окурки, щепотку пепла, пустые баллончики для авторучки, медяки, использованные билеты, обрывки бумаги с какими-то закорючками, грязный носовой платок – и положил на середину стола красную тетрадь. Затем задернул шторы, разделся догола и сел к столу. Раньше он никогда нагишом за стол не садился, однако сейчас это почему-то показалось ему уместным. Секунд двадцать-тридцать Куин сидел, стараясь не шевелиться, даже не дышать. Затем раскрыл красную тетрадь, достал ручку и вывел на

первой странице свои инициалы: Д.К. – Дэниэл Куин. Впервые за пять с лишним лет он написал в тетради свое собственное имя. Он было задумался над этим, но отвлекся. Перевернул страницу. Несколько секунд сидел, вперившись в белый лист и размышляя над тем, отчего он такой неисправимый болван. Затем коснулся пером верхней линейки и сделал в красной тетради первую запись.

Лицо Стилмена. Вернее, лицо Стилмена, каким оно было двадцать лет назад. А какое оно теперь? Трудно сказать. Ясно одно: это не лицо сумасшедшего. Или я не прав? Не знаю, по-моему, лицо славное, я бы даже сказал, хорошее. Нежные складки в уголках рта. Глаза вроде бы голубые, пожалуй, даже бледно-голубые. Волосы и тогда-то редкие, теперь, значит, облысел – поседел уж точно. Знакомый тип лица: думающее, нервное; такие обычно заикаются, в запале брызжут слюной.

Маленький Питер. Такое и вообразить-то невозможно. Приходится верить на слово. Непроницаемый мрак. Трудно представить себя на его месте: темно, плачу. Верится с трудом. Не хочется верить. И вникать тоже. Для чего? Это ж не вымысел. Это факт, свершившийся факт, и я взялся за эту работу, сказал «да». Если все пойдет хорошо, больших усилий не потребуется. Меня нанимали не вникать в ситуацию, а действовать. Это что-то новое. Не забывать об этом!

Что там Дюпен говорит у По? «Отождествление интеллекта следователя с интеллектом его противника». Но в данном случае это относится к Стилмену-старшему. Что, быть может, еще хуже.

Больше всего меня смущает Вирджиния. И дело не в поцелуе, который можно объяснить целым рядом причин; и не в том, что говорил о ней Питер, – это несущественно. Что смущает? Ее брак? Может быть. Абсолютная несообразность этого союза. А что, если она поступила так ради денег? Или находясь в сговоре со Стилменом? Это совсем другое дело. Но с какой целью? Зачем тогда, спрашивается, было меня нанимать? Чтобы был свидетель ее благих намерений? Не исключено. Хотя что-то слишком уж сложно. И все-таки: откуда у меня ощущение, что ей нельзя доверять?

Опять лицо Стилмена. Мне вдруг показалось, что я его где-то видел. Может, много лет назад в своем районе – еще до его ареста.

Вспомнить, каково это – носить чужую одежду. С этого, по-моему, и надо начать. Надо ли? Давным-давно, лет восемнадцать-двадцать назад, когда у меня не было денег, друзья давали мне поносить свои вещи. Старую куртку Дж. в колледже, например. Такое чувство, будто я залезаю в его шкуру.

Вот, вероятно, точка отсчета.

Самое же главное: помнить, кто я такой. Помнить, кем я должен быть. Непохоже, чтобы это была игра. С другой стороны, пока никакой ясности нет. Например, сам-то ты кто? Если думаешь, что знаешь, зачем тогда врать? У меня нет ответа. Могу сказать только одно: слушай меня. Меня зовут Пол Остер. Это не настоящее мое имя.

Все утро Куин просидел в библиотеке Колумбийского университета за книгой Стилмена. Приехал он рано, в здание библиотеки вошел первым, и тишина мраморных залов подействовала на него умиротворяюще, как будто ему разрешили спуститься в заброшенный склеп. Помахав перед мирно дремавшим при входе служителем читательским билетом выпускника университета, он выписал нужную ему книгу, получил ее, поднялся на третий этаж и, войдя в курительную, уселся в зеленое кожаное кресло. Майское солнце призывно светило в окно, манило побродить по улицам, подышать весенним воздухом, однако Куин искушению не поддавался. Он повернул кресло спинкой к окну и раскрыл книгу.

Книга «Сад и башня. Первые представления о Нью-Йорке» состояла из двух примерно одинаковых частей: «Миф о рае» и «Миф о Вавилоне». В первой говорилось, в основном, о первооткрывателях Америки, от Колумба до Рэли. По мнению Стилмена, путешественники, высадившиеся в Америке, полагали, что они попали в рай, в Эдем. Описывая свое третье путешествие, Колумб, например, замечает: «Я верю, что именно здесь и находится рай земной, куда дано войти лишь с Божьего соизволения». О людях, населяющих эту землю, Петр Мученик еще в 1505 году писал: «Кажется, будто они живут в том идеальном мире, о котором так много говорят

старые авторы и в котором люди жили просто и невинно, не ведая, что такое бремя законов, распри, судьи или клевета; жили естественной жизнью». Примерно о том же пишет спустя полвека вездесущий Монтень: «На мой взгляд, то, что мы видим в этих народах, не только превосходит все поэтические картины золотого века, весь поэтический вымысел, выражающий счастливое состояние человечества, но и представления и помыслы самой философии». С самого начала, как полагал Стилмен, открытие Нового Света способствовало развитию утопической мысли, явилось той искрой, что давала надежду на совершенствование человека – от книги Томаса Мора 1516 года до пророчества Херонимо де Мендиета, который спустя несколько лет писал, что Америка станет идеальным теократическим государством, истинным Градом Божьим.

Существовала, впрочем, и противоположная точка зрения. Если одни считали, что индейцы ведут первозданно безгрешную жизнь, то другие видели в них диких зверей, исчадий дьявола – в доказательство приводились обнаруженные в Центральной Америке людоеды. Испанцы использовали подобные взгляды для оправдания жестокой эксплуатации местного населения. Ведь если стоящее перед вами двуногое существо не считать человеком, делать с ним можно все что угодно. Только в 1537 году папа Павел III издал буллу, где индейцы провозглашались истинными, обладающими душой людьми. Спор тем не менее продолжался еще

несколько веков; кульминационной точкой этого спора явился, с одной стороны, «благородный дикарь» Локка и Руссо, что заложило теоретическую основу демократии в независимой Америке, и с другой – кампания, призывающая к уничтожению индейцев, ведь согласно глубоко укоренившемуся мнению хорошим может быть только мертвый индеец.

Вторая часть книги начиналась с исследования грехопадения. Опираясь целиком на Мильтона и его сугубо пуританскую концепцию грехопадения в «Потерянном рае», Стилмен утверждал, что человеческая жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, началась лишь после грехопадения. Ибо если в Райском саду не было Зла, то точно так же не было и Добра. Как заметил в своей «Ареопагитике» сам Милтон, «из кожуры одного отведанного яблока возникли в мире, точно два близнеца, добро и зло». Этой фразе Стилмен уделяет особое внимание. Человек, чуткий к языку, любитель играть словами и смыслами, он показывает, что вовсе не случайно слово «отведать» и «ведать» одного корня: оба восходят к Древу познания, тому самому, с которого было сорвано яблоко и которое дало миру знание, иными словами, добро и зло. Рассуждал Стилмен и о парадоксальной двусмысленности слова «близнец», которое предполагает одновременно общность и раздельность, – такую двусмысленность Стилмен усматривает во всем творчестве Мильтона. В «Потерянном рае», например, каждое ключевое слово имеет, с точки зрения Стилмена, два значения: одно – до грехопадения,

другое – после. Чтобы проиллюстрировать свою гипотезу на конкретных примерах, Стилмен выделяет три таких слова – чудовищный, змеиный, упоительный – и показывает, что их употребление до грехопадения лишено назидательности, тогда как после него приобретает оттенок мрачноватый, двусмысленный, окрашенный, так сказать, познанием зла. Одной из задач Адама в раю было придумать язык, дать имя всему живому и неживому. Существо совершенно невинное, он всякий раз доходил до сути вещей, проникал в их истинный смысл; называя предметы, он в буквальном смысле слова оживлял их. Вещь и ее наименование были равнозначны. После же грехопадения все изменилось. Названия больше не имели с предметами ничего общего; слова выродились в сочетание условных обозначений; язык теперь стоял от Бога особняком. Таким образом, история Райского сада – свидетельство не только падения человека, но и падения языка.

В Книге Бытия есть еще одна история про язык. По мнению Стилмена, повествование о Вавилонской башне – почти точное воспроизведение того, что произошло в Райском саду, с той лишь разницей, что эпизод этот имеет всеобъемлющее значение для человечества. История Вавилонской башни приобретает особый смысл, если учесть, какое место в Библии она занимает: одиннадцатая глава Бытия, стихи с первого по девятый. Дело в том, что «башня Вавилонская: смешение языков» – самый последний эпизод предыстории в Библии; в дальнейшем Ветхий Завет – это главным обра-

зом история еврейского народа. Иначе говоря, башня Вавилонская выступает в качестве последнего доисторического образа.

Комментарии Стилмена растянулись на много страниц. Начал он с исторического обзора различных традиционных интерпретаций, немало места уделил многочисленным неверным толкованиям, которыми оброс этот эпизод, и закончил подробным перечнем легенд из Агады (свода талмудистских толкований, не касающихся законодательных норм). Считается, писал Стилмен, что башня Вавилонская начала строиться в году 1996-м после Сотворения мира, примерно через 340 лет после Потопа, «прежде нежели расеемся по лицу всей земли». Бог наказал людей за это желание, которое противоречило Божьему повелению в начале Бытия: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Разрушив Башню, Бог тем самым заставил человека подчиниться этому предписанию. Впрочем, согласно другому прочтению этой библейской легенды, Башня явилась вызовом Богу. Нимроду, первому властелину мира, предназначалось быть строителем Башни: Вавилонская башня должна была стать святыней, символизирующей универсальность его власти. Такова была Прометеева точка зрения на историю Башни, и основывалась эта точка зрения на фразах «высотой до небес» и «сделаем себе имя». Строительство Башни стало навязчивой, доминирующей страстью человека, более важной, чем сама жизнь. Кирпичи цени-

лись дороже людей. Женщины рожали прямо на строительных площадках; они заворачивали младенцев в фартуки и вновь брались за работу. По всей видимости, в строительстве участвовали три группы людей: те, кто хотели жить на небесах; те, кто хотели вести войну против Бога, и те, кто хотели поклоняться идолам. В то же время они были едины в своем порыве – «На всей земле был один язык и одно наречие», – и порыв этот возмутил Бога. «И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Эта речь, по сути, восходит к словам, которые Бог произнес, изгоняя Адама и Еву из Эдема: «Вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского...» В соответствии с еще одним толкованием, история эта была придумана лишь для того, чтобы объяснить многообразие людей и языков. Ведь если все люди произошли от Ноя и его сыновей, чем объяснить такое огромное различие между культурами? Согласно еще одному, аналогичному толкованию, башня Вавилонская доказывала существование язычества и идолопоклонства – ибо до строительства Башни все люди изображались монотеистами. Что же до самой Башни, то, согласно легенде, одна треть строения ушла под землю, одна треть погибла в огне, а еще одна треть осталась стоять. Бог разрушил ее двумя способами, чтобы человек понял: разрушение

Башни было божественным наказанием, а не случайностью. И тем не менее даже та часть, которая осталась стоять, была столь высока, что пальма в сравнении с нею выглядела не больше кузнечика. Говорили также, что человек мог идти три дня, оставаясь в тени Башни. И наконец – по этому поводу Стилмен рассуждал особенно долго, – стоило человеку взглянуть на руины башни Вавилонской, как он тотчас же забывал все, что знал.

Какое все это имело отношение к Новому Свету, Куин никак не мог взять в толк. Но вот началась новая глава, и Стилмен совершенно неожиданно занялся жизнеописанием некоего Шервуда Блэка, бостонского священника, который родился в Лондоне в 1649 году (в день казни Карла I), приехал в Америку в 1675-м и умер во время пожара в Кембридже, штат Массачусетс, в 1691-м.

Молодым человеком (пишет Стилмен) Шервуд Блэк служил секретарем у Джона Мильтона – с 1669 года до смерти поэта, случившейся пять лет спустя. Куину это показалось странным: он где-то читал, что слепой Милтон диктовал свои сочинения одной из дочерей. Блэк был ревностным пуританином, студентом-теологом и верным последователем Мильтона. Повстречался он со своим кумиром однажды вечером на немногочисленной вечеринке, и поэт пригласил его на следующей неделе к себе. За первым приглашением последовало второе, вскоре Блэк сделался в доме Мильтона своим человеком, и в конце концов автор «Потерянного

рая» стал давать ему всевозможные мелкие поручения: написать что-то под диктовку, перевести его через улицу, прочесть вслух кого-нибудь из античных авторов. В 1672 году, в письме сестре в Бостон, Блэк упоминает о своих беседах с Мильтоном по поводу толкований библейских текстов. Когда Мильтон умер, Блэк был безутешен. Спустя шесть месяцев, потеряв к Англии всякий интерес, он решает уехать в Америку. В Бостон он прибыл летом 1675 года.

О первых годах жизни Блэка в Новом Свете известно мало. Стилмен высказал предположение, что Блэк мог отправиться на запад, пуститься в путешествие по неизведанным землям, однако никаких фактов, подтверждающих эти догадки, обнаружить не удалось. С другой стороны, кое-какие замечания в дневниках Блэка указывали на то, что он был не понаслышке знаком с индейскими обычаями, и это навело Стилмена на мысль, что какое-то время Блэк прожил среди индейцев. Как бы то ни было, впервые имя Шервуда Блэка упоминается лишь в 1682 году, в бостонской книге актов гражданского состояния, по случаю его бракосочетания с некоей девицей по имени Люси Фитс. Спустя два года Блэк возглавляет небольшую пуританскую конгрегацию на окраине города и примерно тогда же становится отцом нескольких детей, однако все они умирают в младенчестве. Выжил только один ребенок, сын Джон, который родился в 1686 году. Однако в 1691 году мальчик, по чистой случайности, выпал из окна второго этажа и погиб. Спустя еще месяц во время

вспыхнувшего в доме Блэков пожара и сам Блэк, и его жена сгорели заживо.

Шервуд Блэк был бы предан забвению, если б не одно обстоятельство: в 1690 году он выпустил в свет брошюру под названием «Новый Вавилон». С точки зрения Стилмена, это небольшое, на шестидесяти четырех страницах, произведение явилось самым поразительным сочинением о новом континенте из всех написанных в те годы, и воздействие его, несомненно, было бы гораздо более значительным, если бы, как впоследствии выяснилось, большинство экземпляров брошюры не погибло вместе с ее автором в огне. Самому Стилмену удалось найти всего один экземпляр этой книги, да и то случайно, на чердаке своего фамильного особняка в Кембридже. После многих лет самых тщательных поисков он пришел к выводу, что экземпляр этот единственный.

В «Новом Вавилоне», написанном суровой мильтоновской прозой, говорится о создании рая в Америке. В отличие от других авторов, писавших на эту тему, Блэк не считает, что рай – это такое место на глобусе, которое можно открыть. Не существует карт, пишет он, с помощью которых человек мог бы туда добраться; нет навигационных приборов, которые могли бы указать путь к его берегам. Если рай существует, то существует он внутри нас как некая имманентная идея, которую человек в один прекрасный день сможет воплотить в жизнь «здесь и сейчас». Утопии, поясняет Блэк, не бывает, в том числе и в «словесном выражении». И если человеку

суждено вступить в царство грез, то лишь создав это царство собственными руками.

В своих выводах Блэк целиком основывается на чтении Бытия, которое считает сочинением пророческим. Полагаясь главным образом на мильтоновское толкование грехопадения, он, вслед за своим учителем, особое внимание уделяет языку. В этом отношении Блэк идет даже дальше Мильтона. Если падение человека, рассуждает он, привело к падению языка, не логично ли будет предположить, что можно остановить падение человека, обратить этот процесс и его последствия вспять, воспрепятствовав падению языка, попытавшись воссоздать тот язык, на котором говорили в Райском саду? Если бы человек научился говорить на исконном своем языке, языке невинности, то не следует ли из этого, что он и сам смог бы стать невинным, очиститься от первородного греха? Достаточно, замечает Блэк, обратиться к примеру Христа, чтобы понять, что дело обстоит именно так. Разве Христос не был человеком, существом из плоти и крови? И разве Христос не говорил на этом догреховном языке? В «Возвращенном рае» Мильтона Сатана изъясняется «многозначительно и туманно», тогда как у Христа «Твои деяния согласны с Твоими словами, Твои слова служат выражением Твоей великой души; а душа Твоя есть совершеннейший образ блага, мудрости, истины». И разве Господь Бог не «послал теперь Свое Живое Слово поведать миру Свою последнюю волю, и вскоре пошлет Своего Духа Ис-

тины, Который будет обитать в благочестивых сердцах; внутренний голос Его будет просвещать все истины, какие надо знать людям». Разве грехопадение, благодаря Христу, не завершилось счастливым исходом, разве не явилось оно, как учат нас отцы Церкви, *felix culpa*? А следовательно, заключает Блэк, человек и впрямь мог бы заговорить на исконном языке невинности и обрести в себе самом истину во всей ее целокупности.

Обращаясь к библейской истории о башне Вавилонской, Блэк делится с читателем своим планом и пророчествует о том, как, по его мнению, будут развиваться события. Процитировав второй стих одиннадцатой главы Бытия («Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там»), Блэк делает вывод, что, в соответствии с этим стихом, человечеству предстоит путь на запад. Ведь башня Вавилонская – или Вавилон – находилась в Месопотамии, далеко на восток от земли иудеев. Если башня Вавилонская находилась на западе, то это и был Эдем, исконное место человеческого проживания. Долг человека, согласно требованию Бога («Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю») рассеяться по всей земле, неизбежно предполагал движение в западном направлении. А какая страна во всем христианском мире, задавался вопросом Блэк, находится западнее всех? Америка, разумеется. Решимость английских переселенцев направиться в Америку можно истолковать, следовательно, как исполнение древней заповеди. Америка бы-

ла последней ступенью на этом пути. Заселение американского материка явилось судьбоносным шагом в истории цивилизации. С этого момента все помехи для возведения башни Вавилонской («наполняйте землю») были устранены. С этого момента вся земля опять становилась «один язык и одно наречие». А раз так, значит, и рай не за горами.

Подобно тому как башня Вавилонская начала строиться через 340 лет после Потопа, должно пройти, предсказывал Блэк, ровно 340 лет после прибытия в Плимут «Майского цветка», прежде чем сбудется эта заповедь. Ибо судьба человечества была теперь в руках пуритан, нового Божьего народа-избранника. В отличие от иудеев, которые не угодили Господу Богу, отказавшись признать Его Сына, англичане-переселенцы напишут заключительную главу в истории, прежде чем небо и земля наконец соединятся. Подобно Ною, спасавшемуся от вод в своем ковчеге, они пересекли безбрежные воды, дабы выполнить свою священную миссию.

Если расчеты Блэка были верны, то это означало, что первая задача переселенцев будет решена в 1960 году. Блэк полагал, что именно тогда будет заложена основа для выполнения главной задачи: строительства новой башни Вавилонской. Более всего, писал Блэк, для этой цели подходит город Бостон, ибо из всех городов мира только в Бостоне основным строительным материалом был кирпич, из которого, о чем прямо говорится в третьем стихе одиннадцатой главы Бытия, и должна строиться башня Вавилонская. В 1960 го-

ду, со всей уверенностью заявлял автор, начнется строительство новой Вавилонской башни, которая устремится в небеса и явится символом воскрешения человеческого духа. История будет написана заново. То, что пало, вознесется; то, что распалось, воссоединится. Когда строительство будет завершено, Башня сможет вместить в себя всех жителей Нового Света. Место в ней найдется каждому; стоит человеку войти внутрь, как он забудет все, что знал. Спустя сорок дней и сорок ночей он выйдет из Башни новым человеком, он заговорит языком Бога и готов будет войти во второй, теперь уже вечный рай.

На этом кончалась брошюра Шервуда Блэка в пересказе Стилмена. Датирована она была 26 декабря 1690 года; закончена ровно через семьдесят лет после того, как у берегов Америки бросил якорь «Майский цветок».

Куин со вздохом закрыл книгу. В курительной было пусто. Он подался вперед, обхватил руками голову и закрыл глаза. «Тысяча девятьсот шестидесятый», – произнес он вслух. Куин попытался представить себе Шервуда Блэка, но у него ничего не получилось. Перед его мысленным взором возникли лишь рвущиеся к небу языки пламени, горящие книги. И тут, потеряв нить своих размышлений, он вдруг вспомнил, что своего сына Стилмен изолировал от мира именно в 1960 году.

Куин положил красную тетрадь на колени и уже вынул было ручку, но в последний момент передумал – на сегодня

хватит. Закрыв тетрадь, поднялся со стула, сдал книгу, спустился по лестнице, закурил, вышел из здания библиотеки – и растворился в залитом майским солнцем городе.

На Центральный вокзал Куин приехал загодя. По расписанию поезд Стилмена приходил в 6.41, однако когда он поднялся из метро в громадное здание вокзала, часы показывали только половину пятого: Куину нужно было время, чтобы сориентироваться, – он боялся, как бы Стилмен от него не ускользнул. Приближался час пик, и людей с каждой минутой становилось все больше. Пробираясь сквозь толпу, Куин обследовал все входы и выходы в поисках незаметных лестниц, не отмеченных в плане вокзала проходов, неосвещенных закутков. Вывод напрашивался неутешительный: если пассажир захочет пройти незамеченным, сделать это ему не составит труда. Оставалась только одна надежда: о том, что его встречают, Стилмену неизвестно. Если же Стилмен сумеет скрыться, значит, виновата Вирджиния – больше предупредить его было некому. Правда, у Куина имелся запасной вариант. Если среди пассажиров Стилмена не будет, он отправится напрямиком на 69-ю стрит и выложит Вирджинии все, что о ней думает.

Прогуливаясь по вокзалу, Куин только и думал о том, как бы не забыть, за кого он себя выдает. Ощущать себя Полом Остером было не так уж неприятно. Хотя тело, рассудок, мысли оставались у Куина такими же, как раньше, он испытывал чувство, будто каким-то образом от себя освободился,

будто его не отягощает больше бремя собственной совести. Благодаря простейшему трюку, незаметному переименованию, он чувствовал себя теперь не в пример легче и свободнее. Вместе с тем он прекрасно понимал, что это иллюзия. И все же в иллюзии этой было определенное утешение. Он ведь не потерял себя, он лишь притворяется и в любую минуту сможет, если захочет, сделаться Куином вновь. Тот же факт, что стать Полом Остером ему пришлось по необходимости (и необходимость эта становилась насущнее с каждой минутой), служил для него своего рода моральным оправданием; в сложившихся обстоятельствах Куин не считал себя обязанным оправдываться за свою ложь. Ведь, вообразив себя Остером, он делал, в сущности, доброе дело.

Итак, словно бы находясь внутри Пола Остера, Куин бродил по вокзалу и ждал, когда придет Стилмен. От нечего делать он поднял глаза на сводчатый потолок с изображением звездного неба. В расположении мерцающих электрических лампочек угадывались контуры созвездий. Куин никогда не мог уловить связь между созвездиями и их именами. Мальчишкой он часами смотрел на ночное небо, пытаясь разглядеть в далеких гроздьях огоньков очертания медведей, быков, стрельцов, водолеев. Но у него ничего не получалось, и он чувствовал себя полным дураком, ему казалось, что вместо мозга у него гигантская прореха. Интересно, в детстве Остер был смышленнее его или нет?

Напротив красовалась гигантская, во всю стену, реклама

фотопленки «Кодак» – яркие, неземные краски. На рекламном щите этого месяца была сфотографирована улочка в каком-то рыбацком поселке Новой Англии – возможно, это был Нантакет. Булыжная мостовая весело переливалась в лучах весеннего солнца, на подоконниках выстроились красные, белые, розовые цветы в горшках, а в конце улицы виднелся океан: белые барашки волн и вода – синяя-синяя. Куин вспомнил, как много лет назад приехал в Нантакет вместе с женой; она была беременна, на первом месяце, и его сын был тогда не больше крошечной миндалинки у нее в животе. Думать об этом сейчас Куину было тяжело, и он попытался мысленно затушевать возникавшие в мозгу картинки. «Смотри на все глазами Остера, – скомандовал он себе, – и ни о чем другом не думай». Он вновь взглянул на фотографию и с облегчением обнаружил, что думает не о жене и сыне, а о китах, экспедициях, которые снаряжались из Нантакета в прошлом веке, о Мелвилле и первых страницах «Моби Дика». Затем ему вспомнилось, что он читал о последних годах жизни Мелвилла. Замокнутый, нелюдимый старик, чиновник на нью-йоркской таможне – никому не нужный, всеми забытый. И тут, совершенно неожиданно, перед его глазами ясно, четко возникло окно Бартлби и глухая кирпичная стена напротив.

Кто-то коснулся его руки, и Куин, вздрогнув от неожиданности, увидел перед собой невысокого мужчину, который молча протягивал ему двухцветную красно-зеленую шари-

ковую ручку. К ручке был прикреплен маленький белый бумажный флажок, на одной стороне которого значилось: «ОБЩЕСТВО ГЛУХОНЕМЫХ. Заплатите сколько можете. Спасибо». На другой стороне флажка была напечатана азбука глухонемых – УЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ – с рисунками: положение руки для каждой из двадцати шести букв алфавита. Куин вынул из кармана и дал глухонемому доллар. Глухонемой коротко кивнул и двинулся дальше, оставив Куина с шариковой ручкой в руке.

Шел уже шестой час. Куин решил, что будет лучше, если он переберется в зал ожидания. Обычно в этом мрачном, пыльном помещении сидели люди, которым некуда было пойти, однако сейчас, в самый разгар часа пик, зал ожидания был забит мужчинами и женщинами с портфелями, книгами, газетами. Найти место было не так-то просто. Поискав минуты две-три, куда бы сесть, Куин наконец обнаружил свободное место на одной из скамеек и втиснулся между мужчиной в синем костюме и полной молодой женщиной. Мужчина изучал спортивную колонку в «Нью-Йорк таймс», и Куин заглянул ему через плечо, чтобы прочесть отчет о вчерашнем поражении «Метрополитенс». Он уже пробежал глазами третий абзац, но тут мужчина медленно к нему повернулся, смерил его злобным взглядом и резким движением убрал газету.

И вдруг произошла странная вещь. Ища глазами, что бы еще почитать, Куин повернулся к девице справа. На вид ей

было лет двадцать: на левой щеке под густым розоватым слоем дешевой косметики прячутся несколько прыщиков, во рту хлюпает жвачка. Видеть такую девицу с книжкой было непривычно – книга, правда, была в мягком переплете с броской картинкой на обложке. Куин слегка, едва заметно, наклонился вправо, чтобы прочесть название, – и, к величайшему своему удивлению, обнаружил, что в руках у соседки роман его собственного сочинения. Уильям Уилсон. «Самобийство по принуждению». Первый роман из серии «Следствие ведет Макс Уорк». Куин часто воображал, как будет проходить его встреча с читателем, какое удовольствие он получит. Он даже представлял себе разговор, который при этом состоится; незнакомец начнет расхваливать книгу, а он сначала будет скромничать, а затем, с большой неохотой, после всевозможных отговорок, согласится сделать на титульном листе дарственную надпись – «раз уж вы так настаиваете». Теперь же он не испытал ничего, кроме разочарования, даже раздражения. Сидевшая рядом девица ему не понравилась, и мысль о том, что она лениво листает страницы, над которыми он столько корпел, вызывала у него досаду. Ему хотелось вырвать книгу у нее из рук, убежать на другой конец вокзала.

Он вновь окинул девицу взглядом, попытался, следя за ее зрачками, перебежавшими с одной строчки на другую, слышать слова, которые звучали у нее в мозгу. Должно быть, Куин смотрел очень пристально, ибо минуту спустя девица

с недовольным выражением повернулась к нему и сказала:

– Какие проблемы, приятель?

Куин слабо улыбнулся.

– Никаких проблем. Просто мне интересно, нравится ли вам эта книга.

Девушка пожала плечами.

– Бывают и лучше, – буркнула она.

Куин хотел было сразу же прекратить разговор, но что-то его удержало. Прежде чем встать и уйти, он, неожиданно для себя самого, спросил:

– Читается хорошо?

Девушка опять пожала плечами и громко чмокнула жвачкой.

– Когда сыщик пропал, даже боязно стало, – сформулировала она.

– А сыщик толковый, как вам кажется?

– Да, не дурак. Только треплется много.

– Вы предпочитаете, когда больше действия?

– Типа того.

– Если не нравится, зачем тогда читаете?

– Сама не знаю. – Девушка пожала плечами в третий раз. – Надо же время провести. Короче, не фонтан. Книжка как книжка.

Куин решил было сказать ей, кто он, но потом понял, что это лишнее. Девушка была безнадежна. В течение пяти лет он скрывал, кто такой Уильям Уилсон, и раскрывать теперь

свой псевдоним, да еще первой попавшейся идиотке, в его планы не входило. И все-таки ему было обидно, и теперь уже пожал плечами он – чтобы скрыть ущемленную гордость. Вместо того чтобы вlepить девице пощечину, он резко встал и, не говоря ни слова, ушел.

Ровно в 6.30 он занял место у выхода номер двадцать четыре. Поезд приходил по расписанию, и Куин, стоявший в самом центре прохода, счел, что Стилмен вряд ли пройдет незамеченным. Он вынул из кармана фотографию и вновь изучил ее, особое внимание уделив глазам Стилмена. Он где-то читал, что с возрастом у человека могут измениться все черты лица, кроме глаз. Глаза изменениям не подвержены, и любой мало-мальски наблюдательный человек узнает старика по глазам, если видел его детскую фотографию. У Куина на этот счет кое-какие сомнения имелись, однако ничем, кроме фотографии, он не располагал, это была единственная связь между прошлым и настоящим. Однако лицо Стилмена по-прежнему ничего ему не говорило.

Поезд въехал под крышу вокзала, и Куин почувствовал, как стук колес отзывается во всем его теле, как участился пульс, ударила в лицо кровь. В мозгу зазвучал голос Питера Стилмена; казалось, стенки черепа вот-вот лопнут от неуправляемого потока безумных слов. Куин приказал себе сохранять спокойствие, однако это не помогло. Он волновался и ничего не мог с собой поделать.

Из поезда начали выходить люди, и через минуту-другую ему навстречу устремился сплошной поток. Куин судорожным движением прижал красную тетрадь локтем к груди, встал на цыпочки и вперился в толпу. Вскоре людская волна приблизилась и начала обтекать его с обеих сторон. Кого тут только не было: мужчины и женщины, дети и старики, подростки и младенцы, богатые и бедные, чернокожие мужчины и белые женщины, белые мужчины и чернокожие женщины, японцы и арабы, мужчины в бежевом, сером, синем и зеленом, женщины в красном, белом, желтом и розовом, дети в кроссовках, дети в ботинках, дети в ковбойских сапогах, толстые и худые, высокие и низкие, каждый был самим собой и не имел ничего общего с остальными. Застыв на месте, Куин всматривался в эти лица с таким ощущением, будто все его естество сосредоточилось в глазах. Стоило любому немолодому человеку попасть в поле зрения Куина, как он сразу же принимал его за Стилмена. Пассажиры слишком быстро проходили и растворялись в толпе, чтобы всякий раз испытывать разочарование, и тем не менее каждое старческое лицо воспринималось Куином как предвестие возникновения настоящего Стилмена, и он еще пристальнее всматривался в новые лица, коллекционировал их, словно богатство этой коллекции являлось залогом появления самого Стилмена. «Вот что значит быть детективом», – подумалось вдруг Куину. Впрочем, мысли ему в голову не шли. Он не думал – он смотрел. Стоял и смотрел – неподвижный в безостановочно

двигающейся толпе.

В первый раз Куин увидел Стилмена, когда примерно половина пассажиров уже прошла. Такой же, как на фотографии. Нет, вопреки предположениям Куина, Стилмен вовсе не облысел: перед ним был высокий, худой, слегка сутулый старик лет шестидесяти пяти, с густой копной седых всклокоченных волос. Одет он был не по сезону в длинную бежевую поношенную куртку и слегка шаркал. Выражение лица у него было совершенно безмятежное, нечто среднее между оцепенением и задумчивостью. Он не смотрел по сторонам и был всецело погружен в себя. Весь его багаж состоял из когда-то красивого, однако выдавшего виды, небольшого, перетянутого ремнем чемодана. Идя по перрону, он пару раз останавливался, опускал чемодан и отдыхал минут-другую. Передвигался он с трудом; издали казалось, что его несет толпа и он никак не решит, подчиниться ей или дать себя обогнать.

Куин попятился назад, готовясь, в зависимости от того, куда Стилмен направится, резко податься либо налево, либо направо и начать преследование. На всякий случай он решил держаться от старика подальше, чтобы тот не почувствовал, что за ним следят.

Дойдя до выхода из вокзала, Стилмен в очередной раз опустил на землю свой чемодан и остановился. Улучив момент, Куин отвел от него глаза и окинул взглядом других пассажиров – удостовериться, что ошибки не произошло. И

тут случилось нечто невероятное. Прямо за спиной у Стилмена, чуть справа, остановился еще один человек – остановился, достал из кармана зажигалку и закурил. Человек этот был похож на Стилмена как две капли воды. В первый момент Куин решил, что это видение, мираж. Но нет, Стилмен номер два двигался, дышал, моргал; его действия были никак не связаны с действиями Стилмена номер один. В отличие от первого Стилмена, от второго веяло благополучием: на нем был дорогой синий костюм, туфли начищены до блеска, седые волосы расчесаны на пробор, а проницательный, живой взгляд выдавал человека не только преуспевающего, но и очень неглупого. У него тоже был всего один чемодан – элегантный, черный, примерно такого же размера, как у Стилмена номер один.

Куин оцепенел. Теперь любой его ход будет ошибочным, любое действие – опрометчивым. До самого конца он будет теперь находиться в плену мучительной неопределенности. И тут Стилмены двинулись каждый в свою сторону, первый повернул направо, второй – налево. Куин позавидовал амебе, ему хотелось разорваться пополам, пуститься бежать одновременно в двух направлениях. «Сделай же что-нибудь, и побыстрей, идиот!» – прикрикнул он на себя.

Почему-то Куин повернул налево и последовал за вторым Стилменом, однако, сделав шагов десять, остановился. Что-то подсказывало ему, что он совершает ошибку. Куин действовал наперекор самому себе, словно желая наказать вто-

рого Стилмена за то, что тот его запутал. Он обернулся и увидел, как первый Стилмен своей шаркающей, неторопливой походкой удаляется в противоположном направлении. Нет, конечно же, ему нужен был он. Этот жалкий, отрешенный от жизни старик наверняка и был безумным Стилменом. Куин судорожно глотнул воздух и глубоко выдохнул – раз, другой. Может, он и ошибается – все равно ему не узнать правды. Он пошел за первым Стилменом и, замедлив шаг, чтобы его не обогнать, спустился вслед за ним в метро.

Было уже почти семь часов, и толпа начинала редеть. Хотя Стилмен и был погружен в себя, ориентировался он отлично: спустился по лестнице, приобрел жетон, вышел на платформу и стал спокойно дожидаться поезда, идущего в сторону Таймс-сквер. Куин больше не боялся, что профессор его заметит. Он впервые видел человека, который был бы так занят своими мыслями. Даже если бы он стоял прямо перед ним, старик и тогда вряд ли обратил бы на него внимание.

Они доехали до Уэст-сайд, прошли узким сырым коридором до станции «42-я стрит», спустились еще ниже, сели через семь-восемь минут на бродвейский экспресс, проехали два длинных перегона и сошли на станции «96-я стрит». Медленно поднялись по лестнице (Стилмен несколько раз останавливался, ставил чемодан на ступеньки и переводил дух) и наконец вышли на залитую сиреневым вечерним светом улицу. Ориентировался Стилмен и здесь: уверенно, даже не глядя на указатели, он зашагал по Бродвею в сторону

107-й стрит. «Уж не ко мне ли он направляется?» – пронеслось у Куина в мозгу, однако по-настоящему испугаться он не успел: на углу 99-й стрит Стилмен остановился, дождался, когда загорится зеленый свет, и перешел на противоположную сторону Бродвея, где, чуть выше, находилась маленькая дешевая гостиница со звучным названием «Гармония». Куин много раз проходил мимо и хорошо знал, какой там живет сброд, а потому очень удивился, увидев, как Стилмен открыл входную дверь и вошел внутрь. Ему почему-то казалось, что старик мог бы позволить себе гостиницу подороже. Однако, увидев через стеклянную дверь, как профессор подходит к стойке администратора, что-то – свое имя, не иначе – вписывает в регистрационную книгу, поднимает чемодан и исчезает в лифте, Куин понял: жить Стилмен будет именно здесь.

Полагая, что старик, прежде чем отойти ко сну, выйдет пообедать в соседнем кафе, Куин еще часа два прогуливался взад-вперед по улице, однако Стилмен так и не появился, и Куин, решив, что профессор отправился спать, позвонил из углового телефона-автомата Вирджинии Стилмен, дал ей полный отчет обо всем, что произошло, и направился домой на 107-ю стрит.

Все последующие дни – много дней – Куин с самого утра занимал место на скамейке в маленьком сквере на пересечении Бродвея и 99-й стрит. Приходил он рано, не позже семи, брал в кафе по соседству чашку кофе и бутерброд и садился с газетой на коленях лицом к отелю «Гармония», не сводя глаз со стеклянной двери. Стилмен появлялся обычно около восьми – в своей неизменной длинной бежевой куртке, с большим старомодным саквояжем в руке. Каждый день, на протяжении двух недель, повторялось одно и то же. Старик выходил из гостиницы и медленно, семенящей походочкой, то и дело останавливаясь, словно отмеривая и выверяя каждый шаг, брел по улицам. Куину следовать за ним было довольно трудно. Он-то привык к быстрой ходьбе, и все эти остановки, мелкие шажки, шарканье утомляли его, действовали на нервы; ему казалось, что от всего этого у него нарушается кровообращение. Он был зайцем, преследующим черепаху, и ему приходилось то и дело напоминать себе, что хорошо бы придержать шаг.

Какие цели преследует этими прогулками Стилмен, оставалось для Куина загадкой. Разумеется, от его взгляда ничего не могло укрыться, и все увиденное он тщательно фиксировал в своей красной тетради. Однако смысл увиденного Куин постичь не мог. Заранее продуманного маршрута

у Стилмена явно не было, вдобавок он, похоже, никогда не знал, где находится. И все же, словно задавшись какой-то конкретной целью, он держался одной и той же довольно ограниченной территории, которая на север простиралась до 110-й стрит, на юг – до 72-й, на западе упиралась в Риверсайд-парк, а на востоке – в Амстердам авеню. Всякий раз Стилмен выбирал разные пути, маршрут его менялся день ото дня – и тем не менее за границы этой территории он не выходил ни разу. Такая последовательность озадачивала Куина, тем более что Стилмен не производил впечатления человека, твердо знающего, чего он хочет.

Шел Стилмен не подымая глаз. Он постоянно смотрел себе под ноги, иногда наклонялся, что-то подбирал и, вертя находку в руке, внимательно ее разглядывал. В эти минуты он напоминал Куину археолога, изучающего черепок на раскопках какого-то доисторического строения. Бывало, оглядев предмет со всех сторон, Стилмен бросал его на землю; однако чаще всего открывал свой саквояж и бережно опускал находку туда, после чего, порывшись в боковом кармане куртки, извлекал оттуда красную тетрадь – такую же, как у Куина, только поменьше – и что-то сосредоточенно в ней писал. Завершив эту операцию, он прятал тетрадь обратно в карман, поднимал саквояж и продолжал путь.

Насколько Куин мог судить, вещи, которые подбирал Стилмен, никакой ценности не представляли. В основном это был хлам, старье, отбросы, например рваный зонтик, ото-

рванная голова резиновой куклы, черная перчатка, патрон от перегоревшей электрической лампочки, какие-то разбухшие от сырости журналы, обрывки газет, разорванная фотография, части какого-то неизвестного механизма, а также всевозможный плавающий по воде мусор, установить назначение которого Куин не сумел. То, что к этим отбросам Стилмен относился со всей серьезностью, озадачило Куина, однако ему не оставалось ничего другого, как наблюдать, записывать то, что он видел, в красную тетрадь и уныло размышлять о том, что бы все это значило. В то же время ему приятно было сознавать, что и у Стилмена тоже есть красная тетрадь, она словно бы их объединяла, роднила. Он подзревал, что в красной тетради Стилмена имелись ответы на те вопросы, которые копились у него в мозгу, и Куин начал обдумывать, как бы эту тетрадь у старика выкрасть. Но для такого шага время еще не пришло.

Ничем больше Стилмен не занимался. Время от времени он делал в своих поисках перерыв и шел в кафе перекусить. Бывало, он сталкивался с прохожими и бормотал извинения. Один раз, когда он переходил улицу, его чуть не сбила машина. Стилмен ни с кем не заговаривал, он никогда не заходил в магазины, ни разу не улыбнулся. Его лицо не выражало никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Дважды, собрав особенно большую добычу, он возвращался в гостиницу в середине дня, а затем через несколько минут появлялся вновь с пустым саквояжем. Почти каж-

дый день он по несколько часов проводил в Риверсайд-парке, без усталости шагая по асфальтовым дорожкам или же шаря палкой в кустах. В зелени парков он был столь же неутомим в своих поисках, как на улицах или пустырях. Здесь он набивал саквояж камнями, листьями, сухими ветками. Один раз его привлекла даже засохшая кучка собачьего дерьма; Стилмен наклонился над ней, долго нюхал и в конце концов подобрал. Отдыхал Стилмен, как правило, тоже в парке. Во второй половине дня, предварительно перекусив, он подолгу сидел на скамейке и смотрел на Гудзон. Однажды, когда день выдался особенно теплый, Куин видел, как старик спал, растянувшись на траве. С наступлением темноты Стилмен обычно обедал в закусочной «Аполлон» на перекрестке Бродвея и 97-й стрит, после чего шел обратно в гостиницу. Связаться со своим сыном он не пытался ни разу, о чем и было доложено Вирджинии Стилмен, которой Куин аккуратно звонил каждый вечер по возвращении домой.

Постепенно Куин освоился и вскоре, чувствуя, что занимается вовсе не тем, чем собирался вначале, стал задаваться вопросом: а есть ли смысл в том, что он делает? Разумеется, Стилмен вполне мог, прежде чем нанести решающий удар, тянуть время, усыплять бдительность своих противников. Но это бы означало, что старик знает об установленной за ним слежке, а это казалось Куину очень маловероятным. Покамест со своим заданием он справлялся неплохо: держался от старика на почтительном расстоянии, умел за-

теряться в уличной толпе; он и не привлекал к себе внимания, и не прятался в подворотнях. С другой стороны, Стилмен вполне мог отдавать себе отчет, даже заранее знать, что за ним следят, а потому не считал нужным выяснять, кому именно эта слежка поручена. Ведь если точно известно, что к нему приставлен человек, какая разница, кто это? Одну ищейку, попадись она преследуемому на глаза, всегда можно заменить другой.

Такой вариант устраивал Куина, и он убеждал себя, что поступает правильно, хотя никаких доказательств своей правоты у него не было. Одно из двух: либо у Стилмена был план действий, либо нет. Если нет, значит, Куин на ложном пути, значит, он понапрасну тратит время. Куда отраднее было предположить, что все действия Стилмена подчинены определенной цели, и Куин готов был принять такое положение вещей за аксиому – по крайней мере, на ближайшее время.

Оставалась еще одна проблема: чем занять мысли во время слежки? Вообще-то Куин привык к блужданиям по городу, эти прогулки научили его ощущать связь между внутренним и внешним. Используя бесцельное движение для пересмотра своих чувств и мыслей, он стал впитывать внешнюю сторону жизни и тем самым нарушать суверенность своего внутреннего мира. Заглушая внутреннее внешним, топя себя в самом себе, он научился кое-как справляться с охватывавшими его приступами отчаяния. Блуждание по улицам

было для него, таким образом, возможностью какое-то время ни о чем не думать. Но слежку за Стилменом нельзя было назвать бездумным блужданием. Сам Стилмен мог позволить себе бесцельно, точно слепец, бродить по улицам, Куин же такой привилегии был лишен. Ему следовало сосредоточиться на том, что он в данный момент делает, даже если делать было особенно нечего, однако он постоянно отвлекался, и вслед за мыслями выходили из подчинения ноги. Это означало, что он мог, сам того не замечая, ускорить шаг и врезаться в Стилмена сзади. Чтобы этого не произошло, Куин разработал несколько способов самоконтроля. Первый способ состоял в том, чтобы напомнить себе: больше он не Дэниэл Куин. Теперь он был Полом Остером и с каждым днем, с каждым следующим шагом все лучше приспособлялся к своей новой роли. Остер оставался для него лишь именем, чем-то лишенным реального содержания. Быть Остером значило быть человеком без внутреннего мира, человеком без мыслей. А раз мысли Остера были ему недоступны, раз собственная его внутренняя жизнь оставалась для него недостижимой, значит, и погружаться было некуда. Будучи Остером, он был лишен возможности вспоминать или бояться, мечтать или радоваться, ибо и воспоминания, и страхи, и радости принадлежали Остеру, а не ему. В результате Куину по необходимости приходилось ограничиваться внешней стороной жизни, искать опору не внутри, а вовне. Следить за Стилменом поэтому было

для него единственным способом отвлечься от собственных мыслей.

Пару дней такая тактика приносила определенный успех, однако в конце концов ее однообразие усыпило даже Остера. Куин понял: чтобы занять себя, ему необходимо что-то еще, какое-то постоянное дело, которым бы сопровождалась слежка. Помогла красная тетрадь. Если первые дни он лишь записывал разрозненные впечатления, да и те между делом, то теперь решил фиксировать все, чем занимался Стилмен. Вооружившись ручкой, купленной у глухонемого, Куин всерьез взялся за работу. Он самым тщательным образом описывал не только все перемещения Стилмена, его телодвижения и жесты, но и предметы, которые Стилмен подбирал или отбрасывал; он не только вел учет всем событиям, но и до тошно фиксировал маршрут Стилмена по городу, указывая каждую улицу, по которой он шел, каждый поворот, который он делал, все места, где он отдыхал. Благодаря красной тетради Куин не только отвлекался от слежки, но и невольно замедлял шаг; теперь он постоянно держался от Стилмена на почтительном расстоянии. Делать записи на ходу было не так-то просто. В прошлом Куин либо ходил, либо писал – теперь же пытался эти занятия совместить. Вначале он делал немало ошибок. Особенно трудно было писать, не глядя на страницу, и он часто обнаруживал, что строчки налезают одна на другую, напоминая неразборчивые древние письма. Чтобы взглянуть на страницу, ему пришлось бы остановить-

ся, а это увеличивало риск потерять Стилмена из виду. Через некоторое время Куин пришел к выводу, что все зависит от того, в каком положении находится тетрадь. Сначала он держал ее перед собой под углом сорок пять градусов, однако вскоре у него заныло левое запястье. Затем он попробовал смотреть поверх тетради – это положение оказалось столь же неудобным. Тогда Куин пристроил тетрадь на согнутую в локте правую руку, поддерживая ее ладонью левой руки, но у него стали затекать пальцы, в которых он держал ручку; к тому же в таком положении невозможно было писать на нижней части страницы. Кончилось тем, что Куин решил упереть тетрадь в левый бок, на манер художника, который держит палитру. Последний вариант оказался наиболее удачным: левая рука теперь не затекала, а правая оставалась свободной, и можно было писать без труда. Хотя и у этого способа имелись свои недостатки, он, как показало время, подходил лучше всего – теперь Куин получил наконец возможность уделять равное внимание и Стилмену, и своим записям: поднял глаза на старика – опустил в тетрадь; что-то подметил – и так же быстро подмеченное зафиксировал. С шариковой ручкой глухонемого в правой руке и с красной тетрадью, упертой в левый бок, Куин преследовал Стилмена еще девять дней.

Вечерние разговоры по телефону с Вирджинией Стилмен продолжались обычно недолго. Ее поцелуй Куин не забыл, но

романтическая завязка продолжения не имела. Первое время Куин ожидал, что что-то между ними произойти должно. После такого многообещающего начала он не сомневался, что рано или поздно миссис Стилмен окажется в его объятиях. Однако работодательница поспешила скрыться под маской деловых отношений и о событиях того вечера не вспомнила ни разу. Не исключено, что Куин обманулся в своих ожиданиях, перепутав себя с Максом Уорком, человеком, который ни разу не упустил случая извлечь выгоду из подобных ситуаций. А может, Куин просто стал острее чувствовать свое одиночество. Он уже забыл, что такое близость теплого женского тела. По правде говоря, Вирджиния Стилмен приглянулась ему сразу же, задолго до того, как запечатлела на его губах поцелуй. Он и сейчас, хотя давно уже ее не видел, продолжал рисовать в своем воображении ее обнаженное тело. Каждую ночь он тешил себя сладострастными образами, и, хотя образам этим едва ли суждено было обрести реальные черты, они отвлекали его от дневных забот. Гораздо позже, когда это уже не имело никакого значения, Куин понял, что втайне от самого себя он, подобно средневековому рыцарю, мечтал о том, как в награду за блестящее расследование дела и спасение Питера Стилмена ему достанется Вирджиния Стилмен. Это, разумеется, было ошибкой. Однако из всех ошибок, которые совершил Куин, эта была самая простительная.

Шел тринадцатый день слезки. В этот вечер Куин вер-

нулся домой мрачнее тучи. Он потерял всякую надежду на успех и был близок к тому, чтобы выбросить белый флаг. Он долгое время обманывал себя, всеми силами старался себя увлечь, подбодрить, однако теперь пришел к выводу, что дело, за которое взялся, того не стоит. Стилмен – сумасшедший старик, он давным-давно забыл про своего сына. Ходить за ним по пятам можно до скончания века, и это все равно ни к чему не приведет. Куин снял трубку и набрал номер Вирджинии Стилмен.

– По-моему, пора сворачиваться, – сказал он. – Питеру, судя по всему, ничего не угрожает.

– К этой мысли он нас и подталкивает, – возразила Вирджиния. – Вы даже себе не представляете, насколько он умен. И терпелив.

– Он, может, и терпелив, зато мое терпение на исходе. Мне кажется, вы впустую тратите деньги. А я – время.

– Вы уверены, что он вас не видел? От этого ведь многое зависит.

– Да, уверен, хотя дать стопроцентную гарантию, естественно, не могу.

– Так что вы хотели сказать?

– Я хотел сказать, что оснований для беспокойства нет. Во всяком случае, сейчас. Если в дальнейшем что-то случится, свяжитесь со мной. Явлюсь по первому вашему зову.

Вирджиния помолчала.

– Может, вы и правы, – сказала она после паузы. А потом,

снова помолчав, добавила: – И все-таки не могли бы мы пойти на компромисс?

– Смотря какой.

– Самый обыкновенный. Давайте последим за ним еще несколько дней. Чтобы окончательно себя обезопасить.

– При одном условии, – сказал Куин. – Вы даете мне полную свободу. Я буду действовать так, как сочту нужным. Хочу иметь возможность поговорить с ним, задать ему ряд вопросов, докопаться до истины.

– А это не рискованно?

– Вам волноваться нечего. Наши карты я ему раскрывать не собираюсь. Он не будет даже знать, кто я такой и что у меня на уме.

– Как это вам удастся?

– Это мое дело. У меня есть самые разные способы его разговорить. Можете мне поверить.

– Хорошо, действуйте, как сочтете нужным. Надеюсь, нам это не повредит.

– Вот и прекрасно. Послежу за ним еще несколько дней, а там посмотрим.

– Мистер Остер?

– Да?

– Знаете, я вам ужасно признательна. Последние две недели Питер в такой хорошей форме. И это благодаря вам. Он только о вас и говорит. Вы для него... даже не знаю... как герой.

– А для миссис Стилмен?

– И для миссис Стилмен тоже.

– Рад слышать. Надеюсь, придет день, когда наступит моя очередь быть вам признательным.

– Все может быть. В жизни ведь все возможно, мистер Остер. Не забывайте об этом.

– Не забуду. Ни за что.

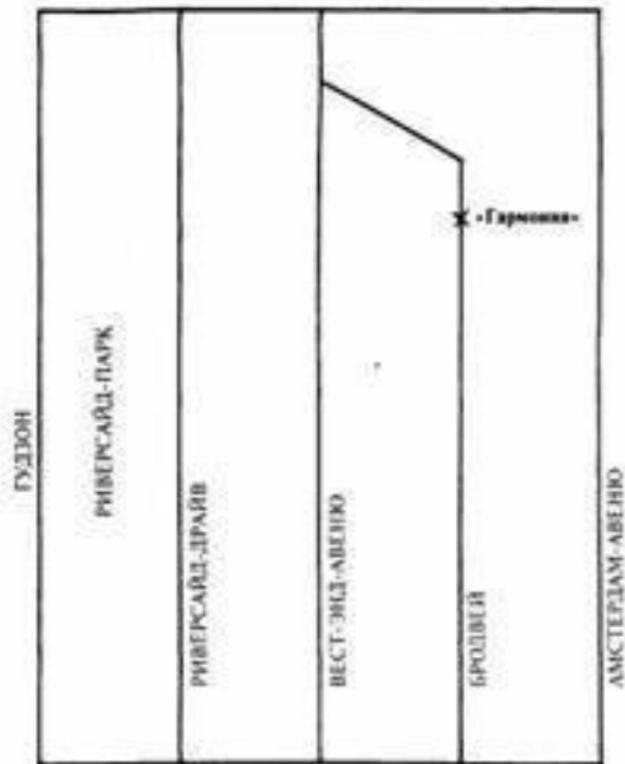
На ужин Куин съел яичницу с жареным хлебом, выпил бутылку пива, сел за письменный стол и раскрыл красную тетрадь. Он вел дневник уже много дней, исписал беглым, неряшливым почерком много страниц – а вот прочесть написанное до сих пор не решался. Теперь же, когда конец истории был не за горами, он счел, что заглянуть в тетрадь можно. Многие слова разобрать было очень непросто, особенно на первых страницах. Когда же ему удавалось все-таки расшифровать свои каракули, подчас выяснялось, что трудился он напрасно. «Подобрал карандаш посреди жилого квартала. Изучает, колеблется, прячет в сумку... Купил сандвич в баре... Сидит на скамейке в парке и просматривает свою красную тетрадь». Такой чепухой исписаны были целые страницы.

Все зависело от того, какие цели он преследовал. Если считать, что в его планы входило понять Стилмена, разобраться, что он собой представляет, чтобы предположить, на что он способен, тогда Куин, безусловно, потерпел полное

фиаско. Когда он взялся за это дело, то располагал о Стилмене весьма ограниченными сведениями. Ему были известны его происхождение и профессия; он знал о заточении сына и принудительной госпитализации отца, а также о весьма странном научном опусе, созданном в то время, когда Стилмен-старший, по всей видимости, еще не лишился рассудка. Самая же главная информация состояла в том, что Вирджиния Стилмен была убеждена: Стилмен представляет для своего сына серьезную опасность. Теперь, однако, выяснялось, что вся эта информация никак не подтверждена. Куин испытывал глубокое разочарование. Он всегда считал, что наблюдательность детектива – главный залог его успеха. Чем дотошнее расследование, тем весомее результат, а значит – поведение человека поддается пониманию, за непроницаемым фасадом жестов, скороговорок и пауз можно обнаружить последовательность, порядок, причинно-следственную связь. Но странное дело: несмотря на две недели неотступной слежки, Куин знал теперь Стилмена ничуть не лучше, чем тогда, на вокзале. Столько дней он жил жизнью Стилмена, копировал его походку, видел то же, что видел он, однако уверен был лишь в одном: в его абсолютной непроницаемости. За эти две недели расстояние между ним и Стилменом не только не сократилось, но увеличилось еще больше, и это при том, что целыми днями он не спускал со старика глаз.

Сам не зная зачем, Куин открыл тетрадь на чистой странице и набросал небольшую карту того района, по которому

бродил Стилмен.

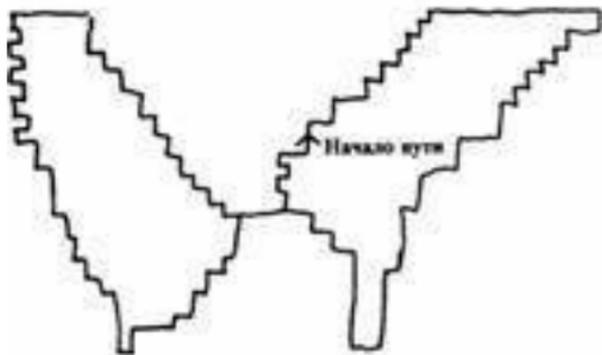


После этого, внимательно просмотрев свои записи, он принялся вычерчивать извилистый путь, проделанный Стилменом за один день – тот самый, с которого начал фиксировать передвижения старика во всех подробностях. Вот что у него получилось:



Поразило Куина то, что Стилмен все время двигался по периметру и ни разу не зашел в центр. Рисунок отдаленно напоминал карту несуществующего штата на Среднем Западе. За вычетом короткой прямой – одиннадцати кварталов на Бродвее, которые старик миновал в самом начале, – да причудливых завитушек, символизировавших скитания Стилмена в Риверсайд-парке, схема передвижений профессора по городу напоминала прямоугольник. С другой стороны, с учетом секторальной структуры нью-йоркских улиц рисунок мог восприниматься и как ноль или же как буква О.

Куин обратился к записям следующего дня и решил посмотреть, какова будет схема передвижений Стилмена на этот раз. Новый рисунок мало чем напоминал предыдущий.

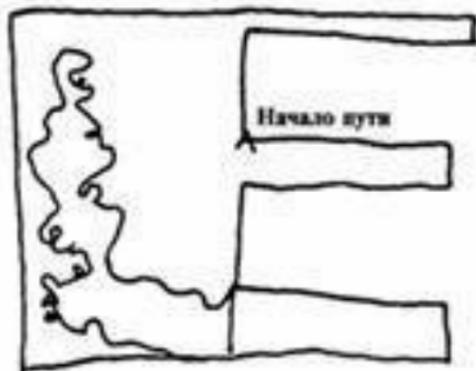


Ассоциировался он с птицей, пожалуй даже, с хищной птицей, которая, широко расправив крылья, парила в воздухе. Однако в следующий момент ассоциация эта показала Куину искусственной, притянутой за уши. Птица исчезла, и на ее месте возникли два абстрактных рисунка неправильной формы, с зубчатыми краями, между которыми был перекинут крошечный мостик – маршрут Стилмена по 83-й стрит. На какое-то мгновение Куин отвлекся от рисунка и задумался. Чем он занимается? Рисует какие-то каракули, чтобы убить время, или действительно пытается что-то понять? Прямого ответа на этот вопрос не было. Ведь если он просто хотел убить время, зачем было прибегать к столь трудоемкому способу? Неужели он так запутался, что утратил способность соображать? С другой стороны, если это не развлечение, то что же? По всей видимости, он пытался отыскать некий ключ. В броуновском движении Стилмена он стремился нащупать какую-то логику, последователь-

ность. А это могло означать только одно: Куин по-прежнему отказывался верить в случайность поступков старика. Он хотел обязательно отыскать в них какой-то смысл, пусть даже маловразумительный. А это само по себе было неприемлемо. Ведь это означало бы, что Куин отрицает факты, чего сыщику нельзя делать ни под каким видом.

И тем не менее он решил продолжать. Идти спать было рано, еще не было одиннадцати, да и вреда в этом времяпрепровождении он не усматривал.

Третья схема не имела ничего общего с первыми двумя.



Здесь все было более или менее ясно. Стоило отбросить закорючки – хаотичное передвижение Стилмена по парку, – и перед Куином, он в этом ни минуты не сомневался, возникла буква Е. Если предположить, что первый рисунок представлял собой букву О, то крылья хищной птицы на втором можно было принять за W. Буквы О-W-E определенно яв-

лялись частью какого-то слова, вот только какого? К сожалению, фиксировать маршрут Стилмена Куин начал только на пятый день, поэтому о том, какие буквы могли составить из маршрутов первых четырех дней, оставалось только догадываться. Теперь, понимая, что тайна первых четырех дней может остаться нераскрытой, он пожалел, что не начал отслеживать передвижения Стилмена раньше. Не исключено, впрочем, что будущими открытиями удастся компенсировать просчеты, допущенные в прошлом. Дойдя до конца, можно будет восстановить начало.

Схема следующего дня напоминала по форме букву R. Как и все предыдущие рисунки, этот тоже осложнялся всевозможными отклонениями, а также всегдашними узорами, означавшими хождение по парку. По-прежнему стремясь быть как можно более объективным, Куин попытался проанализировать этот рисунок так, как если бы не ожидал усмотреть в нем букву алфавита, и вынужден был признать, что рисунок вполне мог быть совершенно произвольным. Может, все это ему привиделось? Ведь когда он был мальчишкой, ему тоже часто казалось, что облака представляют собой какие-то диковинные рисунки. И все же сходство с буквами бросалось в глаза. Если бы букву напоминала всего одна схема или даже две, это еще можно было бы счесть случайностью, но четыре?!

Маршрут следующего дня походил на скособоченное O, что-то вроде пончика, перерезанного тремя или четырьмя

зубчатыми линиями. Затем возникли нескладное F с привычными уже завитушками по бокам и B, которое напоминало два стоящих один на другом ящика с выющейся из-под крышек упаковочной стружкой. Следом явилось шаткое A, чем-то напоминавшее лестницу-стремянку, и, наконец, второе B: рискованно покосившееся, оно походило на перевернутую пирамиду.

Куин выписал все буквы одну за другой: OWEROFBAB. Затем долго, с четверть часа, тасовал и переставлял их, разводил, соединял вновь, менял местами, после чего, вернувшись к первоначальному варианту, выписал буквы следующим образом: OWER OF BAB. От догадки, которая его осенила, он чуть было не потерял дар речи. С учетом того, что схемы первых четырех дней отсутствовали и что блуждания Стилмена по городу еще не закончились, ответ напрашивался сам собой: THE TOWER OF BABEL.

Куину тут же вспомнились странные иероглифы на внутренней стене глубокой расселины – буквы были вписаны в саму землю, словно они пытались выразить нечто, чего уже нельзя постичь. Однако по здравом размышлении воспоминание это показалось ему неуместным. Ведь Стилмен свое послание нигде не зафиксировал. Да, его шаги вылились в буквы, но эти буквы нигде записаны не были. Это все равно что рисовать в воздухе пальцем – картинка исчезает, не успев появиться. Ты что-то делаешь – а следа, результата нет.

И все же рисунки существовали – пусть не на асфальте,

где они создавались, зато в красной тетради Куина. Выходит, Стилмен садился каждый вечер за стол у себя в номере и намечал маршрут следующего дня? Или он импровизировал на ходу? Ответить на эти вопросы было невозможно. Интересно, какую цель преследовал Стилмен, выбирая подобные маршруты? Был ли это некий знак самому себе или же послание другим? Как бы то ни было, вывод напрашивался один: Стилмен не забыл Шервуда Блэка.

Впадать в панику Куин не хотел. Чтобы себя успокоить, он попытался представить, как будут развиваться события в самом худшем случае. Ведь когда рассчитываешь на худшее, часто выясняется, что все не так уж плохо. Вот какие варианты он просчитал. Вариант номер один: Стилмен действительно что-то против Питера замышляет. Да, но к этому Куин был готов с самого начала. Вариант номер два: Стилмен заранее знал, что за ним будет установлена слежка; он заранее готовился к тому, что все его передвижения станут фиксироваться, а послание будет расшифровано. Да, но это не отменяло главного – Питер нуждался в защите. Вариант номер три: Стилмен был гораздо опаснее, чем первоначально представлялось. Да, но это вовсе не значит, что он непобедим.

Куину стало немного легче. Вместе с тем буквы по-прежнему вселяли ужас. Вся история представлялась Куину такой таинственной, такой зловещей в своей иносказательности, что напоминала дурной сон. Но тут, словно по команде,

появились сомнения, их пронзительные, издевательские голоса наперебой зазвучали у него в мозгу. Все сразу встало на свои места. Никакие это не буквы. Куин усмотрел в рисунках буквы только потому, что хотел этого. Даже если между набросанными в тетради схемами и буквами и имелось сходство, то сходство это было чистой случайностью. Стилмен тут совершенно ни при чем. Все это совпадение, Куин разыграл сам себя.

Он решил лечь спать, на какое-то время крепко уснул, проснулся, с полчаса вел записи в красной тетради, после чего завалился спать снова. «У меня есть в запасе еще два дня, ведь послание Стилмена осталось незаконченным», – подумал он, засыпая. Оставались еще две буквы: E и L. Куин погружался в сон. Он вступил в волшебную страну фрагментов, землю бессловесных вещей и безвещных слов. И тут, прежде чем окончательно провалиться в небытие, он вдруг вспомнил, что Бог по-древнееврейски будет E1.

В ту ночь Куину приснился сон, который он, проснувшись, забудет: он сидит, как в детстве, на городской свалке и просеивает мусор сквозь пальцы.

Первая встреча со Стилменом произошла в Риверсайд-парке. Как всегда в субботний полдень, парк был забит велосипедистами, собаками и детьми. Стилмен сидел на скамейке один, на коленях у него лежала красная тетрадь, взгляд был устремлен в пустоту. Все кругом залито было ослепительным светом, яркий свет излучали и люди, и предметы; над головой, в ветках деревьев, шелестел, точно волны далекого океана, слабый ветерок.

Куин все продумал заранее. Притворившись, что не заметил Стилмена, он сел рядом с ним на скамейку, скрестил руки на груди и тоже уставился в одну точку. Оба молчали. Впоследствии Куин прикинул, что молчание продолжалось минут пятнадцать-двадцать, не меньше. Затем, без всякого предупреждения, он повернулся к профессору и посмотрел на него в упор, тупо вперившись в его морщинистое лицо. В этот взгляд Куин вложил всего себя, словно хотел выжечь им дырку в черепе старика. Эта немая сцена длилась еще минут пять.

Наконец Стилмен повернул голову и на удивление мягким, высоким голосом изрек:

- Простите, но побеседовать с вами я не смогу.
- Я ничего не сказал, – отозвался Куин.
- Это верно, – согласился Стилмен. – Но вы должны вой-

ти в мое положение: я не имею привычки говорить с незнакомыми людьми.

– Повторяю, я не проронил ни слова.

– Да, конечно. Но разве вас не интересует, откуда у меня такая привычка?

– Боюсь, что нет.

– Хорошо сказано. Вы, я вижу, человек дельный.

Куин ничего не ответил, только плечами пожал. Всем своим видом он выражал полнейшее равнодушие.

Стилмен ласково улыбнулся, наклонился к Куину и прошептал:

– Думаю, мы поладим.

– Как знать, – откликнулся Куин, выдержав длинную паузу.

Стилмен засмеялся – короткий, лающий смех – и как ни в чем не бывало продолжал:

– Не то чтобы я не любил незнакомцев *per se*. Просто я предпочитаю не разговаривать с людьми, которые не рекомендуются. Имя – прежде всего.

– Но ведь если человек называет вам свое имя, он перестает быть незнакомцем.

– Именно. Поэтому-то я и не разговариваю с незнакомцами.

Куин был готов к такому ответу и знал, что сказать. Нет, его голыми руками не возьмешь. Раз формально он был Полом Остером, этого имени он называть не станет. Любое дру-

гое имя, в том числе и его собственное, явится ширмой, маской, за которой он скроется и будет недостижим.

– Что ж, извольте, – сказал он. – Меня зовут Куин.

– Ага, – задумчиво произнес Стилмен, утвердительно кивнув. – Куин.

– Да, Куин. К-У-И-Н.

– Понятно. Да, да, понятно. Куин. Гм. Да. Очень интересно. Куин. Какое звучное имя. Рифмуется с сыном, не правда ли?

– Совершенно верно. Куин-сын.

– И с клином, если не ошибаюсь.

– Нет, не ошибаетесь.

– А также со словом «свин». Куин-свин. Вы не находите?

– Бесспорно.

– Гм. Очень интересно. У этого слова, у этого Куина, есть масса возможностей... Куин – это квинтэссенция квинтиллиона квипрокво. Куин-квестор, к примеру, или Куин-квие-тист, или Куин-квирит... Гм... А «сатин»? Да и «бензин»... А где бензин, там, сами понимаете, и керосин... Гм, очень интересно. А еще «блин», «один», «карантин», «габардин», «господин». Гм. Даже «джин». Гм. И «кретин», у которого нет ни «машин», ни «картин». Гм. Да, очень интересно. Мне необычайно нравится ваше имя, мистер Куин. Оно, знаете ли, такое легкое, подвижное...

– Да, я и сам это замечал.

– Люди ведь в большинстве своем к таким вещам невос-

приимчивы. Считается, что слова сродни камням: тяжелые, неподвижные, безжизненные, не подверженные изменениям, точно монады.

– Камни подвержены изменениям. Они крошатся от ветра и воды. Они могут подвергаться эрозии. Могут разрушаться. Дробиться на осколки, превращаться в гравий, в каменную пыль.

– Совершенно верно. Я сразу заметил, что вы человек разумный, мистер Куин. Если б вы только знали, сколько людей понимали меня превратно. Из-за этого пострадал мой труд. Чудовищно пострадал.

– Ваш труд?

– Да, мой труд. Мои проекты, мои исследования, мои эксперименты.

– Понятно.

– Да. Но, несмотря на все препоны, я не отступился, не думайте. Сейчас, например, я занимаюсь делом чрезвычайной важности, и если все пойдет хорошо, то, надеюсь, мне удастся подойти вплотную сразу к нескольким крупнейшим открытиям. Подобрать к ним ключ.

– Ключ?

– Да, ключ. То, что открывает запертую дверь.

– Понятно.

– Разумеется, пока я только собираю материал, улики так сказать. Потом предстоит еще этот материал обработать. Труд этот исключительно кропотлив. Вы даже не представ-

ляете, насколько он утомителен, особенно в моем возрасте.

– Могу себе представить.

– То-то и оно. Сделать надо так много, а времени так мало. Каждое утро приходится вставать с рассветом. Отправляться на улицу в любую погоду, быть в постоянном движении, целый день на ногах, ни минуты отдыха. На такую работу никаких сил не хватит, можете мне поверить.

– Да, но она того стоит.

– Чего только не сделаешь ради истины. Никакая жертва не покажется малой.

– Безусловно.

– Видите ли, никто не понял того, что понял я. Я – первый. И единственный. А ведь это накладывает немалые обязательства.

– Согласен. Приходится, фигурально выражаясь, нести на своих плечах целый мир.

– Да, если угодно. Целый мир – вернее, то, что от него осталось.

– Вот уж не думал, что дело обстоит настолько плохо.

– Хуже некуда.

– Неужели?

– Видите ли, сэръ, мир лежит в руинах. И мое дело – отстроить его заново.

– Вы немало на себя берете.

– Я отдаю себе в этом отчет. Я ведь ищу только основную идею, принцип, а это вполне по силам одному человеку. Мое

дело заложить фундамент, а завершить строительство могут другие. Главное – начать, создать теоретическую базу. К сожалению, кроме меня, сделать это некому.

– И вы преуспели?

– Чрезвычайно. По сути, я нахожусь на пороге величайшего открытия.

– Рад за вас.

– Я и сам за себя рад. А все из-за моего ума, исключительной ясности моего рассудка.

– Не сомневаюсь.

– Видите ли, я понял, как важно себя ограничивать. Работать в узких пределах, чтобы сразу же ощутить плоды своего труда.

– Заложить фундамент, как вы справедливо заметили.

– Вот-вот. Основу основ. Необходимо разработать метод, принцип работы. Поймите, сэр, мир лежит в руинах. Мы ведь утратили не только цель в жизни, но и язык, на котором можно говорить о духовном. Это, несомненно, высокая материя, однако имеет она свой аналог и в материальном мире. В том-то и состоит мой вклад: я призываю ограничиться осязаемым, вещественным. Цели у меня самые высокие, однако работа ведется в сфере повседневности. Вот почему меня так часто неправильно понимают. Впрочем, не важно. Я научился не обращать внимания на такие мелочи.

– Блестящий ответ.

– Единственно возможный. Достойный человека моего

уровня. Так вот, в настоящий момент я занят тем, что изобретаю новый язык. Когда занимаешься таким делом, людская глупость заботит меньше всего! Впрочем, людская глупость – следствие болезни, которую я и пытаюсь вылечить.

– Новый язык, говорите?

– Да. Язык, который наконец скажет то, что нам необходимо сказать. Ведь наши слова уже давно не соответствуют своему назначению. Когда мир был цельным, мы могли быть уверены, что наши слова выражают истинный смысл вещей. Но постепенно мир распался, превратился в хаос. Слова же наши остались прежними. Они не приспособлены к новой реальности. Вот почему всякий раз, когда мы говорим о том, что видим, мы лжем, искажая тот самый предмет, который пытаемся обозначить. В результате возникла полная сумятица. Однако слова, как вы сами прекрасно понимаете, могут меняться. Весь вопрос в том, как это продемонстрировать. Поэтому сейчас я работаю с самыми простыми примерами – настолько простыми, что даже ребенок способен понять, к чему я стремлюсь. Возьмем любое слово, имеющее конкретное, предметно выраженное значение, – скажем, «зонтик». Когда я говорю «зонтик», в вашем воображении возникает определенный предмет. Вы видите что-то вроде палки, над которой на металлических спицах туго натянут водонепроницаемый материал; раскройте зонтик – и материал этот предохранит вас от дождя. Последняя деталь существенна. Зонтик – это не просто вещь, но вещь, которая выполняет

некую функцию – иными словами, выражает человеческую волю. Можно сказать, что каждый предмет похож на зонтик в том смысле, что тоже выполняет какую-то функцию. Карандаш предназначен для письма, ботинок – для ходьбы, автомобиль – для езды. Теперь зададимся вопросом: что происходит, когда предмет перестает выполнять свою функцию? Он по-прежнему остался самим собой или же стал чем-то еще? Если сорвать с зонтика материю, зонтик останется зонтиком? Вы раскрываете его над головой, выходите на улицу в дождь – и промокаете насквозь. Имеет ли смысл в данном случае продолжать называть эту вещь зонтом? Большинство людей считают, что да. В крайнем случае они скажут, что зонт сломан. Так вот, по-моему, это серьезная ошибка, источник всех наших бед. Ведь, перестав выполнять свою функцию, зонтик перестал быть зонтиком. Он может напоминать зонтик, он мог когда-то быть зонтиком, но сейчас он превратился во что-то другое. Тем не менее слово осталось прежним. А значит, это понятие выражать больше не может. Оно неточно, оно надуманно, оно скрывает то, что должно объяснить. Если же мы не в состоянии обозначить самые простые, бытовые предметы, которые держим в руках, то что говорить о вещах более сложных? До тех пор пока мы не изменим свое представление о словах, которыми пользуемся, мы будем продолжать бродить в потемках.

– А в чем состоит ваша работа?

– Моя работа очень проста. Я приехал в Нью-Йорк, по-

тому что это самое заброшенное, самое презренное место. Разорение и беспорядок здесь повсюду. Видно это невооруженным глазом. Поломанные судьбы, поломанные вещи, поломанные мысли. Весь город – огромная куча мусора, что как нельзя лучше соответствует моей задаче. Городские улицы являются для меня неиссякаемым источником материала, неистощимыми залежами рухляди. Каждый день я выхожу на улицу и собираю вещи, имеющие значение для моего исследования. В настоящий момент в моей коллекции сотни экспонатов: надтреснутые и разбитые вдребезги, продавленные и расплющенные, растертые в пыль и полусгнившие.

– И что вы со всеми этими вещами делаете?

– Даю им имена.

– Имена?

– Придумываю новые слова, которые бы им соответствовали.

– А, теперь понимаю. Но откуда вы знаете, что нашли правильное слово?

– Я никогда не ошибаюсь. В этом и состоит мой дар.

– Не могли бы вы привести пример?

– Придуманных мною слов?

– Да.

– К сожалению, не смогу. Это моя тайна, поймите. Вот выпущу книгу – тогда узнаете. Весь мир узнает. Пока же я вынужден держать свое открытие в тайне.

– Секретные сведения?

– Именно так. Сверхсекретные.

– Простите.

– Не огорчайтесь. Скоро систематизация материала будет закончена. А потом произойдет нечто невероятное. Это будет самое важное событие в истории человечества.

Вторая встреча состоялась на следующий день, в начале десятого утра. Было воскресенье, и Стилмен вышел из гостиницы на час позже обычного. Он прошел два квартала до кафе «Майский цветок», где обычно завтракал, и сел за угловой столик. Куин, осмелев, вошел в кафе вслед за стариком и подсел к нему. Пару минут Стилмен, казалось, его не замечал. Затем, оторвав глаза от меню, воззрился на Куина отсутствующим взглядом – по всей видимости, не узнал.

– Мы знакомы? – спросил он.

– Не думаю, – ответил Куин. – Меня зовут Шервуд Блэк.

– А, – Стилмен кивнул. – Вы, я вижу, из тех, кто сразу берет быка за рога. Мне это нравится.

– Да, – сказал Куин, – я не принадлежу к тем людям, кто ходит вокруг да около.

– «Вокруг да около»? Вокруг или около?

– И вокруг, и около, к сожалению.

– Ну-ну. – Стилмен посмотрел на Куина – на этот раз повнимательнее, однако и теперь словно в каком-то замешательстве. – Извините, – продолжал он, – но я забыл ваше имя. Вы мне его не так давно назвали, но оно сразу выскочило из

ГОЛОВЫ.

– Шервуд Блэк.

– Вот-вот. Теперь вспомнил. Шервуд Блэк. – Стилмен надолго замолчал, а затем покачал головой и вздохнул: – К сожалению, этого не может быть.

– Почему?

– Потому что Шервуда Блэка не существует.

– Мало ли, может быть, я другой Шервуд Блэк. В отличие от того, который не существует.

– Гм. Да, я вас понимаю. Действительно, у двух разных людей бывают одинаковые имена. Вполне возможно, что вы Шервуд Блэк. Но вы не тот Шервуд Блэк.

– Он ваш знакомый?

Стилмен засмеялся, как будто Куин остроумно пошутил.

– Не совсем так, – сказал он. – Видите ли, такого человека, как Шервуд Блэк, никогда не существовало. Я его выдумал. Он лицо вымышленное.

– Не может быть! – Куин сделал вид, что очень удивился.

– Очень даже может. Он герой книги, которую я когда-то написал. Шервуд Блэк – плод моего воображения.

– В это трудно поверить.

– И не вам одному. Я надул их всех.

– Поразительно. Но зачем вы это сделали?

– Понимаете, он был мне нужен. В то время у меня зародились некоторые довольно опасные и противоречивые идеи. Поэтому пришлось представить дело так, будто они исходят

от другого лица. Таким образом я попытался себя защитить.

– А почему вы выбрали имя Шервуд Блэк?

– По-моему, это хорошее имя. Вы не находите? Мне, например, оно очень нравится. Таинственное и в то же время самое обыкновенное. Оно как нельзя лучше соответствовало моей цели. И, кроме того, содержало в себе тайный смысл.

– Ассоциировалось с мраком?

– Нет-нет, все гораздо сложнее. Для меня существенны были инициалы. Ш.Б. Это было самое важное.

– Как так?

– Угадать не хотите?

– Боюсь, не смогу.

– А вы попробуйте. Можете сделать три попытки. Если не угадаете, я вам подскажу.

Куин собрался с мыслями.

– Ш.Б., говорите? Не Шарлотта Бронте?

– Ничего похожего.

– Может, тогда Шарль Бодлер?

– Ближко не лежало.

– Хорошо, еще одна попытка. Ш.Б. ... Ш.Б. ... Минутку...

А как насчет... Сейчас, сейчас... Ну да. Может, так: с одной стороны, Шекспир – Ш. с другой – Бэкон – Б.; два отношения к миру.

– Очень неглупый ответ.

– Правильный?

– Нет, конечно. И тем не менее неглупый.

– Ну что ж, я иссяк.

– Что верно, то верно. И за это в качестве награды я дам вам правильный ответ. Именно потому, что вы старались. Готовы?

– Готов.

– Инициалы Ш.Б. в имени Шервуд Блэк означают Шалтай-Болтай.

– Кто-кто?

– Шалтай-Болтай. Вы ведь знаете, кого я имею в виду. Яйцо.

– Это тот, который «сидел на стене»?

– Именно.

– Не понимаю.

– Шалтай-Болтай как нельзя лучше символизирует собой человеческую природу. Слушайте внимательно, сэр. Что такое яйцо? Это то, что еще не родилось. Парадокс, не правда ли? В самом деле, каким образом Шалтай-Болтай может быть живым, если он еще не родился? А ведь он жив – в этом сомневаться не приходится. Мы знаем это, потому что он умеет говорить. Больше того, он философ языка:

«– Когда лично я употребляю слово, – все так же презрительно проговорил Шалтай-Болтай, – оно меня слушается и означает как раз то, что я хочу: ни больше ни меньше.

– Это еще вопрос, – сказала Алиса, – захотят ли слова вас слушаться.

– Это еще вопрос, – сказал Шалтай, – кто здесь хозяин:

слова или я».

– Льюис Кэрролл.

– «Алиса в Стране чудес», глава шестая.

– Интересно.

– Интересно – мало сказать. Это принципиально важно.

Слушайте внимательно, и, быть может, вы кое-что из моих рассуждений почерпнете. В своей короткой речи Шалтай-Болтай рисует будущее человеческих чаяний и указывает, что наше спасение в том, чтобы стать хозяевами слов, которые мы употребляем, чтобы подчинить язык нашим с вами нуждам. Шалтай-Болтай был пророком, человеком, изрекавшим истины, к которым мир был еще не готов.

– Человеком?

– Простите, оговорился. Хотел сказать – яйцом. Впрочем, оговорка моя не случайна и весьма симптоматична, ведь все люди в каком-то смысле яйца. Мы существуем – но мы еще не достигли того состояния, которое предначертано нам судьбой. Мы ведь существуем лишь потенциально, являясь примером «еще не состоявшегося». Ведь человек – существо падшее, мы знаем это из Бытия. Шалтай-Болтай тоже падшее существо. Он падает со стены, и никто, ни королевская конница, ни королевская рать, не могут его «собрать». Вот к этому-то мы все и должны стремиться. В этом наш человеческий долг – подобрать упавшее яйцо. Ибо каждый из нас, сэр, – это Шалтай-Болтай. Помочь ему означает помочь нам самим.

– Довод убедительный.

– Безупречный.

– Комар носу не подточит.

– Вот именно.

– И в то же время отсюда берет начало Шервуд Блэк.

– Да. Но не только отсюда. Это ведь не единственное яйцо.

– Как, есть еще одно?

– Господи, еще бы. Их ведь миллионы. Но яйцо, о котором веду речь я, особенно знаменито. Может статься, это самое знаменитое яйцо на свете.

– Я что-то перестал понимать вас.

– Я говорю о яйце Колумба.

– Ну да, конечно.

– Знаете эту историю?

– Кто ж ее не знает.

– Прелестная история, не правда ли? Когда Колумбу потребовалось поставить яйцо стоймя, он разбил снизу скорлупу, в результате чего образовалась плоская поверхность, и, когда он убрал руку, яйцо не упало.

– Он добился своего.

– Еще бы. Колумб был гений. Он отправился на поиски рая, а открыл Новый Свет. И еще не поздно превратить его в рай.

– Это точно.

– Я готов признать, что все сложилось не так хорошо, как хотелось бы, однако надежда еще остается. Желание откры-

вать новые миры у американцев было всегда. Вы помните, что произошло в 1969 году?

– В 1969 году произошло много чего. Что именно вы имеете в виду?

– Люди высадились на Луне. Только представьте, дорогой сэр! Нога человека ступила на Луну!

– Да, помню. Как сказал президент: «Это величайшее событие после сотворения мира».

– И он был прав. Самое умное высказывание из всех принадлежащих человеку. Как вам кажется, на что похожа Луна?

– Понятия не имею.

– И все-таки. Подумайте хорошенько.

– Ну конечно. Теперь я понимаю, к чему вы клоните.

– Разумеется, абсолютного сходства нет. Однако в определенных фазах, особенно ясной ночью, Луна и в самом деле очень походит на яйцо.

– Да, необычайно.

Тут к их столику подошла официантка – она принесла Стилмену завтрак. Старик бросил жадный взгляд на еду. Он взял в правую руку нож, пододвинул к себе яйцо всмятку, легонько постучал ножом по скорлупе и изрек:

– Как видите, сэр, я делаю все, что в моих силах.

Третья встреча состоялась в тот же день, несколькими часами позже. Вечерело; свет, подобно марле, окутывал кирпи-

чи и листья, тени становились длиннее. Стилмен опять избрал местом отдыха Риверсайд-парк, на этот раз он сидел у самого выхода на 84-ю стрит, на небольшом возвышении, известном под названием Томова гора. На том же самом месте, глядя на Гудзон, летом 1843 и 1844 годов подолгу сиживал Эдгар Аллан По. Куин знал это, потому что всегда интересовался подобными вещами. Впрочем, на Томовой горе не раз случалось сидеть и ему самому.

Теперь, приближаясь к Стилмену, Куин не испытывал никакого страха. Он обошел пригорок, на котором стояла скамейка, два или три раза, однако привлечь внимание старика не удалось. Тогда он сел рядом и поздоровался. Как ни странно, Стилмен его не узнал. Куин заговаривал с ним уже в третий раз, и каждый раз старик, как видно, принимал его за кого-то другого. Было неясно, хороший это знак или плохой. Если Стилмен притворялся, значит, актером он был непревзойденным. Ведь Куин всякий раз захватывал его врасплох, однако Стилмен даже глазом не моргнул. А если предположить, что Стилмен и в самом деле его не узнаёт? Что бы это могло значить? Чем объяснить подобную рассеянность?

Старик поинтересовался, кто он.

– Меня зовут Питер Стилмен, – сказал Куин.

– Это меня зовут Питер Стилмен, – отозвался Стилмен.

– Я другой Питер Стилмен, – сказал Куин.

– А, вы имеете в виду моего сына. Да, это возможно. Вы очень на него похожи. Питер, правда, блондин, а вы брюнет.

Как Шервуд Блэк. Впрочем, люди меняются, не правда ли? Порой всего за одну минуту.

– Совершенно верно.

– Я часто вспоминал тебя, Питер. Сколько раз думал: «Как там мой Питер поживает?»

– Сейчас мне гораздо лучше, спасибо.

– Очень рад. Кто-то сказал мне однажды, что ты умер. Я ужасно расстроился.

– Нет, я выздоровел.

– Вижу. Ты молодцом. И говоришь прекрасно.

– Да, теперь мне доступны все слова. Даже самые сложные. Могу произнести любое слово.

– Я горжусь тобой, Питер.

– Всем этим я обязан вам.

– Дети – великое благо. Я это всегда говорил. Огромное счастье.

– Безусловно.

– Что до меня, то бывают у меня хорошие дни, а бывают плохие. Когда наступает плохое время, я вспоминаю о хорошем. Память – великое благо, Питер. Лучше памяти только смерть.

– Без сомнения.

– Разумеется, мы должны жить и настоящим. Сегодня, к примеру, я в Нью-Йорке, а завтра окажусь где-нибудь еще. Я ведь много путешествую. Сегодня здесь – завтра там. Работа такая.

– Интересная жизнь.

– Да, полноценная. Мой мозг ни минуты не отдыхает.

– Рад за вас.

– Годы сказываются, это верно. Но нам есть за что благодарить судьбу. Да, с течением времени приходит старость, но ведь время – это не только ночь, но и день. Когда же наступит час смерти, кто-то придет нам на смену.

– Мы все стареем.

– Быть может, в старости твой сын будет тебе утешением.

– Очень бы этого хотелось.

– Тогда ты окажешься таким же счастливым человеком, каким был я. Помни, Питер, дети – великое счастье.

– Я этого никогда не забуду.

– И еще помни, что нельзя складывать все яйца в одну корзину. Помни: цыплят по осени считают.

– Конечно. И яйца тоже. Я это себе хорошо уяснил.

– И последнее. Никогда не криви душой.

– Не буду.

– Ложь – это грех. Солжешь – пожалеешь, что на свет родился. А не родиться на свет – значит быть проклятым. Быть обреченным жить вне времени. А когда живешь вне времени, ночь не сменяется днем. Тогда даже смерть обходит тебя стороной.

– Понимаю.

– Ложь невозможно искупить. Даже правдой. Как отец я хорошо это знаю. Помнишь, что случилось с отцом-основа-

телем нашей страны? Он срубил вишню, а потом сказал своему отцу: «Я не могу солгать». Вскоре после этого он выбросил в реку монетку. Эти два события имеют для американской истории основополагающее значение. Джордж Вашингтон сначала срубил дерево, а затем выбросил деньги. Ты понял? Тем самым он поделился с нами высшей правдой. Деньги, хотел сказать он, не растут на деревьях. Оттого-то у нас такая великая страна, Питер. Теперь портрет Джорджа Вашингтона красуется на деньгах. Из всего этого следует извлечь очень важный урок, Питер.

– Я с вами совершенно согласен.

– Разумеется, плохо, что дерево срубили. Это ведь было Древо Жизни, и оно оградило бы нас от смерти. Теперь же мы встречаем смерть с распростертыми объятиями – особенно в старости. Однако отец-основатель нашей страны знал, что делает. Иначе он поступить не мог. Во фразе «Жизнь – это ваза с вишнями» заложен глубокий смысл. Если бы дерево осталось стоять, мы жили бы вечно.

– Да, я понимаю, что вы хотите сказать.

– Такого рода мыслей у меня в голове сколько угодно. Я не устаю думать ни днем, ни ночью. Ты всегда был умным мальчиком, Питер, и я рад, что ты меня понимаешь.

– Прекрасно понимаю.

– Отец на то и отец, чтобы преподать сыну те уроки, которые ему преподала жизнь. Таким путем знания передаются из поколения в поколение, и мы становимся мудрее.

- Я никогда не забуду нашего сегодняшнего разговора.
- Это значит, что я могу спокойно умереть, Питер.
- Я рад.
- Смотри же, запомни все, что я тебе говорил, сынок.
- Не забуду, отец. Обещаю.

На следующее утро Куин пришел к гостинице в обычное время. Погода наконец переменилась. После двух недель безоблачного неба над Нью-Йорком нависли тучи, пошел мелкий нескончаемый дождь, под колесами машин хлюпала вода. В ожидании Стилмена Куин просидел на скамейке около часа, прячась от дождя под большим черным зонтом. Он уже съел дежурную булку, выпил кофе, прочел в газете про воскресное поражение «Метрополитенс» – а старика все не было. «Терпение», – успокоил он сам себя и вновь взялся за газету. Прошло еще минут сорок. Когда он раскрыл раздел «Финансы и бизнес», собираясь прочесть статью про слияние акционерных обществ, дождь усилился. Куин неохотно поднялся со скамейки и зашел в подворотню дома напротив. Там он простоял в сырой обуви еще часа полтора. «Уж не заболел ли старик?» – подумалось ему. Куин представил себе, как Стилмен лежит в постели с высокой температурой. А вдруг он ночью умер и его тело еще не обнаружили? «Такое ведь тоже случается», – сказал он себе.

Сегодня предстоял решающий день, и Куин тщательно к нему подготовился. Теперь же все его расчеты пропали да-

ром, и он злился на себя за то, что не подумал о возможности такого развития событий.

Как вести себя дальше, Куин пока не решил. Он стоял под зонтиком и смотрел, как с него скатываются маленькие, акkuratные капли дождя. В одиннадцать решение наконец было принято. Через полчаса он пересек улицу, прошел метров сорок и вошел в гостиницу, где остановился Стилмен. Внутри пахло порошком от тараканов и дешевым табаком. Несколько постояльцев, которые не могли из-за дождя выйти на улицу, сидели, развалившись, в холле на оранжевых пластиковых стульях. Их лица ничего не выражали.

За стойкой администратора сидел со скучающим видом здоровенный негр в рубашке с засученными рукавами. Подперев голову одной рукой, он другой листал, не читая, какую-то бульварную газетенку. Выражение лица у него было такое, будто в этой позе он просидел всю жизнь.

– Я хотел бы оставить записку постояльцу вашей гостиницы, – сказал Куин.

Негр окинул его таким взглядом, будто хотел, чтобы он под землю провалился.

– Я хотел бы оставить записку постояльцу вашей гостиницы, – повторил Куин.

– Здесь постояльцев нет, – буркнул негр. – Гости, а не постояльцы.

– В таком случае гостю.

– Кого ты имеешь в виду, приятель? Если не секрет, ко-

нечно.

– Стилмен. Питер Стилмен.

Негр сделал вид, что вспоминает, кто бы это мог быть, а затем покачал головой:

– Нет, дружище. Такого не припомню.

– А регистрационный журнал у вас есть?

– Книга гостей, что ли? Есть. Только она в сейфе.

– В сейфе? О чем ты говоришь?

– Как о чем? О книге гостей. Босс предпочитает держать ее в сейфе, под замком.

– И тебе, понятное дело, номер набора неизвестен?

– То-то и оно. Его только один босс знает.

Куин вздохнул, сунул руку в карман, вытащил пятерку, выложил ее на стойку и сверху прикрыл рукой.

– И копии журнала у тебя, надо думать, тоже нет? – поинтересовался он.

– Сейчас поглядим, – откликнулся негр.

Он поднял газету, под которой лежал регистрационный журнал.

– Вот повезло-то, – сказал Куин, снимая руку с пятерки.

– И не говори, – отозвался негр, подцепил пальцами пятерку и сунул ее себе в карман. – Так как, говоришь, зовут твоего приятеля?

– Стилмен. Старик с седыми волосами.

– В куртке ходит?

– Точно.

– Мы зовем его «профессор».

– Это он. Знаешь, в каком номере он остановился? Прибыл недели две назад.

Негр открыл журнал, полистал его и провел пальцем по фамилиям и номерам.

– Стилмен, – сказал он. – Номер 303. Только его уже нет.

– Что?!

– Съехал.

– Не может быть!

– Слушай, друг, я говорю тебе то, что здесь написано.

Стилмен съехал вчера вечером. Нет его.

– Бред какой-то...

– Не знаю, это уж тебе судить. Вот, написано черным по белому.

– А адреса он не оставил?

– Ты что, шутишь?

– В котором часу он уехал?

– Это надо Луи, ночного сторожа, спросить. Он в восемь заступает.

– А в комнату его я заглянуть могу?

– Извини, приятель, но туда уже вселились. Я этому парню сам ключи давал. Он у себя, спит.

– Как он выглядел, парень этот?

– Не слишком ли много вопросов за пять баксов?

– Ладно, – сказал Куин, обреченно махнув рукой. – Это уже не важно.

Домой Куин шел под проливным дождем и, несмотря на зонт, промок до нитки. Что ж, он действительно ирсияк. О смысле жизни и о значении слов говорить больше не придется. В сердцах он швырнул зонтик на пол гостиной. Затем сорвал пиджак и метнул его в стену. Брызги разлетелись по всей комнате.

Он позвонил Вирджинии Стилмен – уж очень не хотелось оставаться наедине со своими мыслями. Услышав ее голос, Куин чуть было не бросил трубку.

– Я его упустил, – сказал он.

– Вы уверены?

– Вчера вечером он выписался из гостиницы. Где он сейчас, понятия не имею.

– Мне страшно, Пол.

– Вам он дал о себе знать?

– Думаю, да, но я не уверена.

– Как вас понимать?

– Сегодня утром, когда я была в ванной, Питер подошел к телефону. Кто звонил – говорить отказался. Пошел к себе в комнату, задернул шторы и затих.

– Но ведь это бывало и раньше?

– Да. Именно поэтому я не уверена, что звонил Стилмен. Но такого с Питером не случилось уже давно.

– Плохо дело.

– То-то и оно.

– Не волнуйтесь. Кое-какой план у меня созрел.

– Как я с вами свяжусь?

– Буду звонить вам каждые два часа, где бы я ни был.

– Обещаете?

– Обещаю.

– Я так боюсь, просто ужасно.

– Это моя вина. Я допустил грубую ошибку, извините.

– Я вас не виню. Вести слежку двадцать четыре часа в сутки не под силу никому. Это невозможно. Под кожу ведь к нему не залезешь.

– Что верно, то верно.

– Но ведь еще не поздно, правда?

– Нет, времени у нас еще много. Главное, не волнуйтесь.

– Постараюсь.

– Хорошо. Буду вам звонить.

– Каждые два часа?

– Каждые два часа.

Разговор он провел весьма искусно. Успокоить Вирджинию Стилмен ему вроде бы удалось. Как ни странно, она ему по-прежнему доверяет. Впрочем, большого значения это не имело. Все дело в том, что он ей соврал. Никакого плана действий у него не было и в помине.

Итак, Стилмен исчез. Растворился в городе. Стал пылинкой, знаком препинания, кирпичиком в бесконечной кирпичной стене. В поисках Стилмена Куин теперь мог безуспешно бродить по Нью-Йорку до конца своих дней. Сейчас у него оставался один шанс из тысячи, он целиком зависел от случайностей, находился в плену малых чисел. У него не было ни ключа к решению задачи, ни плана действий – даже самого приблизительного.

Куин мысленно вернулся к началу этого дела. Его задача состояла в том, чтобы защитить Питера, а не следить за Стилменом. Слежка за Стилменом была лишь способом, попыткой предотвратить самое худшее. Предполагалось, что, наблюдая за Стилменом, он выяснит, каковы планы отца в отношении сына. Куин ходил за стариком по пятам две недели. И к какому выводу он пришел? Да ни к какому. Стилмен был ушлым типом и в руки не давался.

Можно было, разумеется, пойти на крайние меры. Посоветовать Вирджинии Стилмен поменять номер телефона – тревожные звонки бы тогда прекратились, хоть на время. На худой конец, они с Питером могли бы перебраться на другую квартиру, переехать в другой район, вообще уехать из города. Жить под чужими именами, наконец.

Тут только Куин сообщил, что до сих пор ни разу всерьез

не задумывался об обстоятельствах, при которых его брали на работу. Все произошло настолько быстро, что он сразу же отождествил себя с Полом Остером. Присвоив себе имя «Остер», он перестал думать о самом Остере, а между тем, если у этого сыщика действительно хорошая репутация, почему бы не обратиться за помощью к нему? Куин во всем чистосердечно признаётся, Остер его прощает – и они, совместными усилиями, пытаются спасти младшего Стилмена.

В поисках детективного агентства Пола Остера Куин полистал городской справочник, но там такое агентство не значилось. В телефонной книге, однако, имя это имелось. Некто по имени Пол Остер жил на Манхэттене, на Риверсайд-драйв, недалеко от самого Куина. Про детективное агентство, правда, в книге не было ни слова, но это еще ничего не значило. Возможно, у Остера было столько работы, что в рекламе он не нуждался. Куин поднял трубку и собирался уже набрать номер, но в последний момент передумал. Обсуждать такие темы по телефону не стоило – слишком велик был риск нарваться на отказ. Раз своего офиса у Остера нет, значит, он работает дома. Надо пойти к нему домой и все обсудить при встрече, а не по телефону.

Дождь прекратился, и, хотя небо было в тучах, далеко на западе появился небольшой просвет. Шагая по Риверсайд-драйв, Куин вдруг сообразил, что больше Стилмена не преследует. Ощущение было такое, будто он перестал быть самим собой. Ведь две недели он ходил за стариком по пя-

там. Что бы Стилмен ни делал – Куин делал то же самое; куда бы Стилмен ни шел – он шел следом. Его тело не привыкло к вновь обретенной свободе, и первые несколько кварталов Куин брел старческой, шаркающей походкой. Магия больше не действовала, однако тело об этом еще не догадывалось.

Дом, где жил Остер, находился в глубине длинного квартала, между 116-й и 119-й стрит, к югу от Риверсайдской церкви и памятника Гранту. От всего здания, с его блестящими дверными ручками и чисто вымытыми стеклами, веяло буржуазной благопристойностью, которая в тот момент показалась Куину весьма привлекательной. Квартира Остера находилась на одиннадцатом этаже; Куин нажал на кнопку звонка, ожидая, что придется вести с хозяином сложные переговоры через домофон, однако замок щелкнул, и Куин, открыв дверь, вошел в подъезд, сел в лифт и поднялся на одиннадцатый этаж.

Дверь ему открыл высокий смуглый мужчина лет тридцати пяти, в мятых брюках и с двухдневной щетиной. В правой руке, между большим и указательным пальцами, он держал авторучку без колпачка, которой, как видно, только что писал. Мужчина явно не ожидал увидеть перед собой незнакомого ему человека.

– Да? – не без удивления спросил он.

– Вы, очевидно, ждали кого-то другого? – спросил в свою очередь Куин; он держался подчеркнуто вежливо.

– Жену, если это вас интересует. Потому и открыл дверь.

– Простите, что побеспокоил, – извинился Куин. – Мне нужен Пол Остер.

– Я Пол Остер, – отозвался хозяин квартиры.

– Не могли бы мы поговорить? Это очень важно.

– Поговорить о чем?

– В двух словах не ответишь. – Куин окинул Остера по-нурым взглядом. – К сожалению, все очень запутано. Очень запутано.

– Имя у вас есть?

– Простите. Конечно есть. Куин.

– Куин... А дальше?

– Дэниэл Куин.

Это имя, по всей видимости, что-то Остеру говорило, и он с минуту смотрел на Куина отсутствующим взглядом, словно пытался что-то вспомнить.

– Куин... – пробормотал он. – Откуда-то ваше имя мне известно... – И он замолчал вновь, продолжая рыться в памяти. – Вы случаем не поэт?

– Был когда-то, – ответил Куин. – Но стихи не пишу уже очень давно.

– Это вы несколько лет назад издали книгу... Как же она называлась? Вспомнил. «Неоконченное дело». Небольшая такая книжка в синем переплете.

– Да, я.

– Мне она очень понравилась. Я все надеялся, что вы напишете еще что-нибудь. Я уж думал, с вами что-то произо-

шло.

– Ничего не произошло. Пока жив. Если это можно назвать жизнью.

Остер открыл дверь пошире и жестом пригласил Куина войти. В квартире было довольно симпатично: какие-то длинные, узкие коридоры, повсюду книги, на стенах картины неизвестных Куину художников, по полу разбросаны детские игрушки: красный грузовик, плюшевый мишка, зеленый инопланетянин. Остер повел его в гостиную, усадил на старенький стул с потертой спинкой и пошел на кухню за пивом. Вернулся с двумя бутылками, поставил их на какой-то деревянный ящик, служивший кофейным столиком, а сам сел на диван.

– Вы пришли поговорить о литературе? – начал он.

– Нет. – Куин покачал головой. – Если бы. К литературе наш разговор не имеет никакого отношения.

– О чем же в таком случае?

Куин помолчал, окинул глазами комнату, ничего при этом не увидев, и наконец промямлил:

– По-видимому, произошла досадная ошибка. Я ведь, собственно, ищу Пола Остера – частного детектива.

– Кого-кого?! – Остер засмеялся, и от этого смеха все разлетелось в пух и прах. Куин вдруг понял, что несет сущий вздор. С тем же успехом он мог искать Папу римского.

– Частного детектива, – тихо повторил он.

– В таком случае вам нужен, боюсь, другой Пол Остер.

– Но в телефонной книге другого нет.

– Очень может быть. Только я не детектив.

– Кто же вы в таком случае? Чем занимаетесь?

– Я писатель.

– Писатель?! – Куин был безутешен.

– Простите, – сказал Остер, – но так уж получилось.

– В таком случае надеяться больше не на что. Это просто дурной сон.

– Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите.

И Куин все ему рассказал. От начала до конца. Со всеми подробностями. После исчезновения Стилмена он находился в постоянном напряжении, и теперь его прорвало. Он говорил и говорил. О ночных телефонных звонках Полу Остеру, о том, как он по непонятной для самого себя причине согласился вести это дело, о встрече с Питером Стилменом, о разговоре с Вирджинией Стилмен, о том, как он прочел книгу Стилмена-старшего, как следовал за ним по пятам с Центрального вокзала, о ежедневных скитаниях Стилмена по городу, о его саквояже, о хламе, который он подбирал, о загадочных картах, напоминавших своими очертаниями буквы алфавита, о беседах со Стилменом и о его неожиданном исчезновении. Когда история подошла к концу, Куин спросил:

– Вы, должно быть, считаете меня сумасшедшим?

– Нет, – ответил Остер, который на протяжении всего рассказа не проронил ни слова. – На вашем месте я, вероятно, делал бы то же самое.

Эти слова успокоили Куина, он испытал такое чувство, будто кто-то наконец согласился разделить с ним его ношу. Его подмывало заключить Остера в объятия, торжественно объявить ему, что теперь они закадычные друзья.

– Уверю вас, – сказал Куин, – я ничего не выдумал. У меня даже доказательства есть. – И он достал из бумажника чек на пятьсот долларов, который две недели назад вручила ему Вирджиния Стилмен. – Вот видите, он выписан на ваше имя.

Остер внимательно изучил чек и кивнул:

– Чек как чек. В нем нет ничего необычного.

– Он ваш, – сказал Куин. – Пожалуйста, возьмите.

– Нет, об этом не может быть и речи.

– Я же все равно не могу им воспользоваться. – Куин окинул глазами комнату и махнул рукой. – Купите себе еще книг или игрушек ребенку.

– Нет, это будет несправедливо. Ведь эти деньги заработали вы, они принадлежат вам по праву. – Остер задумался. – Я, пожалуй, вот что сделаю. Раз чек на мое имя, я получу по нему деньги и передам их вам. Завтра же утром пойду в банк, положу чек на свой счет, а потом сниму деньги и отдам вам.

Куин промолчал.

– Хорошо? Договорились?

– Хорошо, – вынужден был согласиться Куин. – Посмотрим, что дальше будет.

Остер положил чек на ящик, словно давая этим понять,

что вопрос решен. Затем откинулся на спинку дивана и внимательно посмотрел на Куина.

– Чек – не самое главное, – сказал он. – Гораздо больше меня беспокоит то, что в этом деле фигурирует мое имя. Этого я понять не могу.

– Может, у вас что-то с телефоном? Кабели перепутались – это бывает. Набираешь один номер, а попадаешь совсем не туда.

– Да, со мной такое тоже случалось. Но даже если у меня и был сломан телефон и Стилмены попали к вам, а не ко мне, все равно остается неясным, зачем вообще я им понадобился.

– Вы уверены, что не знаете этих людей?

– Стилменов? Первый раз слышу.

– Может, кто-то решил над вами подшутить?

– Моим знакомым такое в голову не придет.

– Мало ли.

– И потом, какая ж это шутка? Это настоящее дело, в котором замешаны настоящие люди.

– Да, – вынужден был признать Куин после долгого молчания. – Что верно, то верно.

Больше говорить было, по существу, не о чем. Каждый задумался о своем. Куин понимал, что ему пора идти. Он просидел у Остера почти час, и скоро надо было звонить Вирджинии Стилмен. И тем не менее уходить не хотелось. Стул был удобный, да и пиво немного ударило в голову. Кроме

того, он уже давно не имел дела с таким занятым человеком. Этот Остер читал, оказывается, стихи Куина, они ему понравились, он ждал от него новых книг. Все это даже в нынешних обстоятельствах не могло не радовать.

Какое-то время они сидели молча. Наконец Остер развел руками – дескать, зашли в тупик, бывает, – встал и сказал:

– Я как раз собирался перекусить. Не составите мне компанию?

Куин колебался. Похоже было, Остер прочел его мысли и догадался, что уходить ему ужасно не хочется.

– Вообще-то мне пора, – сказал он. – Но перед уходом с удовольствием что-нибудь бы съел, спасибо.

– Как вы относитесь к жареной рыбе с картошкой?

– Положительно.

Остер ушел на кухню. Куин понимал, что надо бы предложить ему помочь, но двигаться не хотелось. Он словно окаменел. В полной прострации закрыл глаза. В прошлом ему иногда нравилось, когда мир на время исчезал из виду. Однако на этот раз находиться наедине с самим собой было неинтересно. Казалось, все внутри остановилось, смолкло. И тут из темноты до него донесся голос, монотонный, язвительный голосок, который с идиотской настойчивостью напевал одну и ту же фразу: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Чтобы голос смолк, Куин открыл глаза.

Перед ним стоял хлеб, масло, еще две бутылки пива, ножи и вилки, соль и перец, салфетки и две порции рыбы с карто-

фелем на белых тарелках. Куин набросился на еду как зверь, и через несколько секунд тарелка его была пуста. После этого от него потребовалось немало усилий, чтобы взять себя в руки. На глаза почему-то навернулись слезы, голос, когда он начинал говорить, предательски дрожал, однако ему все же удалось с собой справиться. Чтобы доказать, что он вовсе не неблагодарный эгоист, помешавшийся на себе и на своих делах, Куин принялся расспрашивать Остера о том, что пишет он. На эту тему Остер заговорил без особой охоты, но в конце концов признался, что работает над сборником эссе. В настоящий момент он пишет статью о «Дон Кихоте».

– Моя любимая книга, – сказал Куин.

– Да, моя тоже. Ей нет равных.

Куин поинтересовался, о чем статья.

– Я бы сказал, что статья эта вполне умозрительная – ничего доказывать я не собираюсь. Всерьез ее принимать не стоит – как говорится, взгляд и нечто.

– И все-таки в чем суть?

– Основное внимание я уделяю авторству книги. Кто ее писал и как.

– А разве на этот счет есть какие-то сомнения?

– Не в этом дело. Речь идет не собственно о «Дон Кихоте», а о романе в романе, о литературной мистификации.

– А...

– Все очень просто. Сервантес, если помните, изо всех сил пытается убедить читателя, что автор книги не он. Книга,

утверждает Сервантес, была написана по-арабски Сидом Хамете Бененгели. Сервантес описывает, как однажды ему по чистой случайности попалась рукопись на рынке в Толедо. Он нанимает человека для перевода рукописи на испанский, себя же выдает лишь за редактора перевода. По сути дела, Сервантес не ручается даже за его точность.

– В то же время он утверждает, – подхватил Куин, – что Сиду Хамете Бененгели принадлежит самое достоверное жизнеописание Дон Кихота. Все остальные версии, считает Сервантес, являются подделками проходимцев. Он не устает повторять, что все описанное в книге действительно имело место.

– Совершенно верно. Ведь роман в конечном счете направлен против вымысла, фантазии. Вот почему Сервантесу необходимо было выдать Дон Кихота за реально существовавшее лицо.

– И все же я всегда подозревал, что сам Сервантес запоем читал рыцарские романы. Нельзя ненавидеть то, чего не любишь. В каком-то смысле Дон Кихота можно считать двойником Сервантеса.

– Я с вами согласен. Человек, читающий запоем, – чем не портрет писателя, не правда ли?

– Безусловно.

– Как бы то ни было, если выдавать роман за жизнеописание, то его автором должен быть живой свидетель описанных в романе событий, верно? Однако Сид Хамете, об-

щепризнанный автор этого жизнеописания, так ни разу на его страницах и не появляется. И не претендует на то, что был свидетелем происходящего. Поэтому возникает резонный вопрос: а кто такой Сид Хамете Бененгели?

– Да, теперь я понимаю, к чему вы клоните.

– В своем эссе я выдвигаю гипотезу, что Сид Хамете сочетает в себе черты четырех разных людей. Санчо Панса – это, разумеется, свидетель. Другого кандидата на эту роль нет, ведь только он сопровождает Дон Кихота в его странствиях. Но Санчо Панса не умеет ни читать, ни писать. Следовательно, автором он быть не может. С другой стороны, мы знаем, что у него великолепное чувство языка. Несмотря на самые нелепые ошибки, которые вызывают у читателя постоянный смех, переговорить в романе он может любого. Вполне возможно, что он продиктовал эту историю кому-то другому, а именно цирюльнику и священнику, добрым друзьям Дон Кихота. Они записали ее литературным – испанским – языком, после чего передали рукопись Самсону Карраско, бакалавру из Саламанки, который взялся перевести ее на арабский. Сервантес нашел этот перевод, нанял переводчика, который переложил текст обратно на испанский, а затем издал книгу под названием «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

– Непонятно только, зачем было Санчо и всем остальным брать на себя этот труд?

– Чтобы излечить Дон Кихота от безумия. Они хотят спа-

сти своего друга. Помните, вначале они сжигают его рыцарские романы – к сожалению, без всякого толку. Рыцарь Печального Образа от своей навязчивой идеи не отказывается. Затем все они в разное время отправляются на поиски Дон Кихота, скрываясь под личиной то нищенки, то Рыцаря Зеркал, то Рыцаря Белой Луны, – чтобы вернуть незадачливого идадьго домой. В конце концов им это удается. Книга была лишь одной из их многочисленных уловок. «Дон Кихот» задумывался как зеркало, в котором Дон Кихот мог бы лицезреть собственное безумие; роман должен был запечатлеть все его нелепые и смехотворные иллюзии, чтобы, прочитав книгу, идадьго сам убедился, насколько он неправильно живет.

– Неплохо.

– Да. Но и это еще не все. Дон Кихот, на мой взгляд, в действительности никаким сумасшедшим не был. Он только притворялся. По существу, он сам все придумал. Помните? На протяжении всей книги его заботит, как воспримут его подвиги потомки, насколько точно эти подвиги будут описаны в исторических трудах будущих поколений. Что из этого следует? Что он заранее знает – летописец существует. И летописец этот – не кто иной, как Санчо Панса, преданный оруженосец, которого Дон Кихот специально избрал для этой цели.

Сходным образом им были выбраны еще трое – каждому из них также отводилась заранее подготовленная роль.

Квартет Бененгели, таким образом, был создан самим Дон Кихотом. Мало того, Рыцарю Печального Образа принадлежит не только выбор авторов, но, возможно, и обратный перевод арабской рукописи на испанский язык. Почему бы и нет? Ведь человеку, столь искушенному в искусстве переодевания, ничего не стоило намазать лицо ваксой и облачиться в одежды мавра. У меня перед глазами сцена, которая могла бы происходить на рыночной площади в Толедо. Сервантес нанимает Дон Кихота, чтобы разгадать историю самого Дон Кихота. Красиво, не правда ли?

– И все же вы не объяснили, зачем такому человеку, как Дон Кихот, было прерывать размеренный ход жизни ради столь сложной мистификации.

– Это и есть самое интересное. На мой взгляд, Дон Кихот проводил эксперимент. Он хотел испытать доверчивость своих ближних. Его интересовало, можно ли без зазрения совести лгать людям, забивать им головы вздором и небылицами. Говорить им, что ветряные мельницы – это на самом деле рыцари, что миска цирюльника – рыцарский шлем, что куклы – живые люди. Можно ли заставить людей поверить в то, во что они верить отказывались? Иными словами, Дон Кихот хотел установить, есть ли предел человеческой доверчивости. Ответ, мне кажется, напрашивается сам собой. Предела человеческой доверчивости нет. Если нам интересно, мы готовы слушать все что угодно. Доказательство? Мы по сей день читаем эту книгу, она по-прежнему вызыва-

ет у нас огромный интерес. А что еще требуется от книги?

Остер откинулся на спинку дивана и закурил. На губах у него играла ироническая улыбка. Он явно получал удовольствие, однако в чем причина этого удовольствия, оставалось для Куина загадкой. Со стороны казалось, что он то ли беззвучно покатывается со смеху, то ли улыбается недосказанному анекдоту, то ли просто радуется жизни. Куин собрался было как-то отреагировать на теорию Остера, но не успел. Только он открыл рот, как щелкнул замок, входная дверь открылась, потом захлопнулась, и из коридора послышались голоса. Остер насторожился, вскочил с дивана, извинился и вышел в коридор.

До Куина донесся смех – сначала женский, потом детский, тоненький, визгливый, и, наконец, мужской: раскатистый хохот хозяина дома. Послышался детский голос: «Пап, смотри, что я нашел!», после чего женский голос объяснил, что «он» лежал на улице и почему, собственно, было «его» не подобрать. Спустя минуту Куин услышал, как ребенок бежит по коридору в его сторону, а еще через несколько секунд в комнату ворвался светловолосый мальчуган лет пяти. Вбежал, увидел Куина – и застыл на месте.

– Добрый день, – сказал Куин.

Мальчик, смутившись, буркнул в ответ что-то невнятное. В левой руке он держал какой-то красный предмет, который Куин не смог разглядеть. На его вопрос, что это, мальчик раскрыл ладонь:

– Это йо-йо, чертик на ниточке. Я его на улице нашел.

– Он прыгает?

Мальчик пожал плечами – как-то нарочито, точно в пантомиме.

– Не знаю. Сири с ним обращаться не умеет. А я не знаю как.

Куин попросил у мальчугана разрешения попробовать, и тот, подойдя к нему, вложил ему йо-йо в руку. Слышно было, как ребенок громко сопит, следя за каждым его движением. Этот пластмассовый чертик мало чем отличался от тех, с которыми сам Куин играл много лет назад, однако конструкция у йо-йо, игрушки космического века, была более сложная. Куин просунул палец в петлю на конце привязанной к чертику веревочки, встал и завел его. Йо-йо издал приглушенный свист, съехал вниз, и из него посыпались искры. У мальчика от восторга перехватило дыхание, но тут чертенок перестал дрыгать ножками и безжизненно повис на веревочке.

– Один великий философ, – буркнул Куин, – сказал как-то, что путь вверх и путь вниз ничем друг от друга не отличаются.

– Но он же у вас не поднялся, – возразил мальчик. – Он только опустился.

– Надо будет еще раз попробовать.

Когда Куин заводил игрушку во второй раз, в комнату вошли Остер с женой. Куин поднял глаза, увидел женщину – и обомлел. Перед ним стояла высокая, стройная, ослепительно

красивая блондинка, излучавшая такое счастье, такую энергию, что все вокруг нее блекло, пропадало из виду. Это было уже чересчур. Куину показалось, что Остер издевается над ним, хвастается всем тем, чего лишился он, и его охватили зависть и злоба, мучительное чувство жалости к самому себе. Да, он бы тоже не отказался от такой жены и такого мальчугана, он бы тоже целыми днями с удовольствием сочинял всякий вздор про старинные книги, жил в окружении йо-йо, жареной рыбы с картошкой и авторучек. Куину захотелось поскорей оказаться на улице.

Остер заметил в его руке йо-йо и сказал:

– Я вижу, вы уже познакомились. Дэниэл, – добавил он, обращаясь к сыну, – это Дэниэл. – А затем, с той же самой улыбочкой, обратился к Куину: – Дэниэл, это Дэниэл.

Мальчик расхохотался и сказал:

– Все Дэниэлы!

– Совершенно верно, – сказал Куин. – Я – это ты, а ты – это я.

– Я – это ты, а ты – это я! – повторил мальчик и вдруг, расставив руки, стал носиться по комнате, изображая самолет.

– А это, – сказал Остер, поворачиваясь к женщине, – моя жена Сири.

Блондинка улыбнулась Куину обворожительной улыбкой, сказала, что ей очень приятно, с таким видом, будто ей и в самом деле было очень приятно, и протянула ему ладошку. Куин пожал ее, ощутил неземную хрупкость косточек и по-

интересовался, не норвежское ли у нее имя.

– Как это вы догадались? – удивилась Сири.

– Вы родом из Норвегии?

– Как вам сказать. С заездом в Нортфилд, штат Миннесота. – И она вновь залилась своим беззаботным смехом, отчего у Куина поплыли перед глазами круги.

– Простите, что это раньше не пришло мне в голову, – сказал Остер, – но если вы располагаете временем, может, пообедаете с нами?

– Ах, – выдохнул Куин, изо всех сил борясь с искушением принять предложение. – Огромное спасибо, но мне правда пора. Я и без того засиделся.

Сделав над собой титаническое усилие, он улыбнулся жене Остера и помахал на прощанье мальчику.

– Будь здоров, Дэниэл, – сказал он, направляясь к двери.

Дэниэл посмотрел ему вслед и опять засмеялся.

– Будь здоров, Дэниэл! – эхом отозвался он.

Остер проводил Куина до дверей.

– Позвоню вам, как только получу ваши деньги, – сказал он. – Вы есть в телефонной книге?

– Да. Куин там в единственном числе.

– Если я вам понадобится, – сказал напоследок Остер, – звоните. Буду рад помочь.

Остер протянул ему на прощанье руку, и тут только Куин сообразил, что до сих пор держит йо-йо. Он сунул чертенка Остеру, похлопал его по плечу и ушел.

Теперь у Куина была окончательно выбита почва из-под ног. Он не владел ситуацией, ничего не понимал и знал это. Он был отброшен назад так далеко, что двигаться вперед никакого смысла не имело.

Было около шести. Домой Куин возвращался тем же путем. С каждым кварталом он ускорял шаг, а когда добрался до своей улицы, почти побежал. «Сегодня второе июня, – сказал он себе. – Постарайся не забыть. Ты в Нью-Йорке, завтра третье июня. А послезавтра, если все будет в порядке, – четвертое. А впрочем, кто его знает».

Время, когда он должен был выйти на связь с Вирджинией Стилмен, давно миновало, и теперь он обдумывал, звонить ей по возвращении домой или нет. А может, плюнуть? Взять и все бросить как есть. Почему бы и нет? Забыть об этой истории, вернуться к привычной жизни, сесть за новую книгу. Он мог бы, если б захотел, куда-нибудь съездить, даже за границу, в Париж например. Что тут такого? Впрочем, почему обязательно в Париж? Куда угодно, лишь бы не оставаться здесь.

Он вошел в комнату, сел и посмотрел на стены. Когда-то они были белые, теперь же на них образовался какой-то желтый налет. Может, со временем они станут серыми, даже бурыми, точно засохшее яблоко. «Белая стена – желтая стена

– серая стена», – проговорил он вслух. От краски ничего не останется, стена потемнеет от копоти, начнет осыпаться штукатурка. Изменения. Неотвратимые изменения.

Куин выкурил сигарету, вторую, третью. Посмотрел на свои руки, обнаружил, что они грязные, и пошел умываться. Открыл кран, увидел, что в умывальник полилась вода, и решил заодно и побриться. Намылил пеной для бритья лицо, сменил в станке бритву и стал сбривать щетину. Смотреть на себя в зеркало ему почему-то было неприятно, и он брился, опустив глаза. «Стареешь, – обратился он к самому себе. – Превратился в старого пердуна». Побрившись, он пошел на кухню, съел миску корнфлекса и выкурил еще одну сигарету.

Было семь часов, и Куин опять стал мучительно размышлять, звонить Вирджинии Стилмен или нет. Имелись аргументы как в пользу звонка, так и против. В конце концов он решил, что исчезнуть не предупредив было бы непорядочно. Главное – предупреждать людей о том, что ты собираешься делать, рассуждал он. Поставил в известность – а там действуй по своему усмотрению.

Однако у Вирджинии было занято. Он подождал пять минут и набрал номер снова. Занято. Куин дозванивался целый час: позвонит, подождет несколько минут, опять позвонит. Безрезультатно. Наконец ему это надоело, и он позвонил на станцию узнать, не испорчен ли телефон. Ему сказали, что проверка стоит тридцать центов, после чего в трубке что-то щелкнуло, слышались гудки, какие-то далекие голоса. Ку-

ин попробовал вообразить, как выглядят операторы. Затем раздался женский голос, тот же, что в первый раз: «Номер вашего абонента занят».

Куин терялся в догадках. Вариантов было столько, что не имело смысла их даже перебирать. Стилмен? Или сняли трубку? А может, что-то еще, непредвиденное?

Он включил телевизор и посмотрел первые два иннинга с участием «Метрополитенс». Потом снова набрал номер Вирджинии. Занято. В третьем иннинге «Сент-Луис» заработал очко из-за ошибки питчера: бегают между базами, ловит мяч в воздухе на инфилде. «Метсы» отыграли это очко благодаря Вильсону и Янгбладу, первый обработал две базы, второй одну... Куин понял вдруг, что все это ему абсолютно безразлично. На экране появилась реклама пива, и он выключил звук. В сотый раз он попытался дозвониться Вирджинии Стилмен и в сотый раз услышал короткие гудки. В четвертом иннинге «Сент-Луис» заработал пять очков, и Куин выключил телевизор. Достал красную тетрадь, сел за стол и два часа не отрываясь писал. Не потрудившись даже перечитать написанное, он опять позвонил Вирджинии Стилмен, и опять у нее было занято. Он бросил трубку на рычаг с такой силой, что треснула пластмасса, и, сняв трубку снова, длинного гудка уже не услышал. Встал, пошел на кухню и съел еще одну миску корнфлекса. А потом отправился спать.

Во сне (этот сон он забудет тоже) Куин шел по Бродвею, держа за руку сына Остера.

Весь следующий день Куин провел на ногах. Из дому он вышел рано, в девятом часу, и бродил до вечера, ни разу не остановившись, не задумавшись, куда он идет. Как ни странно, именно в тот день Куин увидел много такого, чего никогда прежде не замечал.

Каждые двадцать минут он заходил в телефонную будку и звонил Вирджинии Стилмен. Занято было по-прежнему, однако Куин к этому уже привык, короткие гудки его больше не раздражали, они звучали в унисон его шагам, были своеобразным метрономом, отбивавшим четкую дробь, перекрывавшую нестройный шум города. Было даже что-то утешительное в мысли, что, когда бы он ни набрал этот номер, ответом ему будут короткие гудки, всегда одни и те же, настойчивые, будто удары сердца; гудки, которые отрицали, исключали всякую возможность речевого контакта. Теперь Вирджиния и Питер Стилмены были от него отрезаны, однако совесть его была чиста: несмотря ни на что, он пытается с ними связаться. В какой бы тупик они его ни загоняли, он покамест еще не бросил их на произвол судьбы.

Куин спустился по Бродвею до 72-й стрит, повернул на восток на Сентрал-парк-уэст и по ней дошел до 59-й стрит и до статуи Колумба. Затем опять повернул на восток, прошел по Сентрал-парк-саут до Мэдисон авеню, после чего, резко свернув направо, направился в центр, к Центральному вокзалу. Углубившись в жилые кварталы и некоторое время

покружив по ним, он двинулся на юг и, пройдя около мили, вышел на пересечение Бродвея и Пятой авеню на уровне 23-й стрит, постоял с минуту, глядя на Флэтайрон-билдинг, а затем, сменив направление, повернул на запад и пошел в сторону Седьмой авеню, где взял левее и зашагал дальше в центр города. В районе Шеридан-сквер он снова повернул на восток, не торопясь дошел до Вейверли-плейс, пересек Шестую авеню и зашагал в сторону Вашингтон-сквер. Прошел под аркой и, нырнув в густую толпу, устремился на юг, остановившись на минуту посмотреть на жонглера, который балансировал на низко висящей проволоке между деревом и фонарным столбом. Миновав небольшой парк, он прошел по зеленому травяному газону через застраивающийся университетский район и повернул направо на Хьюстон-стрит. На Уэст-Бродвей он повернул снова, на этот раз налево, и двинулся по прямой в сторону канала. Взяв чуть правее, он пересек маленький городской парк, свернул на Варик-стрит, дошел до дома номер шесть, где когда-то жил, а затем, продолжая двигаться в южном направлении, вновь вышел на Уэст-Бродвей, на перекрестке с Варик-стрит. Идя по Уэст-Бродвей, он добрался до Международного торгового центра, откуда, войдя в холл одного из небоскребов, позвонил – в тринадцатый раз за этот день – Вирджинии Стилмен. Затем решил что-нибудь съесть, вошел в одну из многочисленных закусовых на первом этаже, сел за столик, не торопясь сжевал сэндвич, одновременно что-то записав в красную тетрадь.

Потом снова пошел на восток, побродил по узким улочкам района банков, а затем зашагал дальше на юг, в сторону Боулинг-грин, где на воде, переливаясь в солнечном свете, сидели чайки. Тут ему пришло в голову прокатиться на пароме «Стейтен-айленд», однако он раздумал и вместо этого устремился на север. На Фултон-стрит он свернул направо и двинулся, вдыхая миазмы Лоуэр-ист-сайд, в северо-восточном направлении по Ист-Бродвей и далее в Чайна-таун. Оттуда добрался до Бауэри, вышел на 14-ю стрит, повернул налево, пересек Юнион-сквер и двинулся по Парк авеню-саут. На углу 23-й стрит свернул на север, однако через несколько кварталов снова повернул направо, прошел один квартал в восточном направлении, а затем некоторое время следовал по Третьей авеню. На углу 32-й стрит повернул направо, вышел на Вторую авеню, повернул налево, прошел еще три квартала, двигаясь от центра, после чего, свернув направо в последний раз, вышел на Первую авеню. Пройдя оставшиеся семь кварталов до здания ООН, Куин решил немного передохнуть, сел на каменную скамейку на автостоянке, глубоко вздохнул и, закрыв глаза, некоторое время нежился на солнце. Затем открыл красную тетрадь и извлек из кармана авторучку глухонемого.

Впервые с тех пор, как появилась красная тетрадь, Стилмен в его записях не фигурировал. Куин старался сосредоточиться на том, что он видел, гуляя по городу. В этот раз он не предавался размышлениям, не анализировал послед-

ствий столь непривычного времяпрепровождения; ему хотелось зафиксировать некоторые факты, и он торопился изложить их на бумаге, пока они свежи в памяти.

Сегодня на улицах как никогда много всякого сброда: бродяг, нищих, бездельников, пьяниц. От нуждающихся до опустившихся окончательно. Они повсюду, и в плохих, и в хороших районах.

Некоторые побираются, но чувство собственного достоинства сохранили. Дайте мне денег, словно хотят сказать они, и я проживу такой же жизнью, как вы все, буду целыми днями бегать по делам. Другие же потеряли всякую надежду выбиться в люди. Лежат на тротуаре, рядом чашка, или шляпа, или коробка, и даже не смотрят на прохожих; так раздавлены жизнью, что даже не благодарят тех, кто бросает им монетку. Есть и такие, кто милостыню отрабатывает: слепцы торгуют карандашами, пьяница протрет вам ветровое стекло, а некоторые поведают трагическую историю своей жизни, чтобы хоть чем-то – пусть только словами – отблагодарить благодетеля за его доброту.

Попадают и люди талантливые. Взять хотя бы сегодняшнего старого негра.

Танцует на проволоке да еще жонглирует сигаретами; цену себе знает, когда-то, похоже, работал в цирке: малино-

вый пиджак, зеленая рубашка, желтый галстук. Профессиональная актерская улыбочка. Жонглеры, уличные художники, музыканты – саксофонисты, гитаристы, скрипачи. А иногда и настоящий гений встретится. Как, например, мне сегодня. Кларнетист неопределенного возраста, в надвинутой на глаза шляпе, сидит, поджав под себя ноги, на тротуаре в позе заклинателя змей. Прямо перед ним две заводные мартышки, одна с тамбурином, другая с барабаном. Первая мартышка трясется, вторая что есть силы колотит по барабану – какая-то потусторонняя, четкая дробь, сам же кларнетист без конца импровизирует, раскачивается взад-вперед, точно механическая игрушка, в унисон с барабанной дробью. Играет бойко, исполняет лихие, замысловатые фигуры в минорном ключе, словно радуясь, что находится здесь со своими заводными друзьями; погружен в свой, им же созданный мир – ни разу даже головы не поднял. Играет все время одно и то же, однако чем дольше слушаешь, тем труднее уйти.

Вслушаться в эту музыку, погрузиться в нее – быть может, исчезнуть в ней, раствориться без остатка?

Впрочем, попрошак и бродячих артистов довольно мало – они аристократия, элита городских низов. Куда более многочисленны те, кому нечего делать, некуда пойти. Многие пьют, однако этим мера их падения не исчерпывается. Сгорбленные спины, лохмотья, лица в синяках и кровопод-

теках – они плетутся по улицам еле волоча ноги, будто в кандалах. Спят в подворотнях, выходят на проезжую часть, валяются на тротуарах – где их только нет. Одни умирают от голода или холода, других избивают до смерти, или сжигают заживо, или подвергают изощренным пыткам.

На каждую душу, ввергнутую в этот ад, приходится несколько других, заточенных внутри своего безумия, – выйти в окружающий мир они не способны. Хотя и кажется, будто они среди нас, одной с нами жизнью они не живут. Взять, к примеру, человека, который не расстается с барабанными палочками и, воровато оглядевшись по сторонам, начинает исступленно колотить ими по асфальту. Может, он думает, что делает очень важное дело? А может, не делай он того, что делает, город рассыпался бы на части? Луна рухнула бы с небес на землю? Есть и такие, которые говорят сами с собой, они что-то бубнят себе под нос, кричат, ругаются, стонут, бормочут всевозможные небылицы. Сегодня я видел одного такого; издали похож на кучу мусора, сидит у входа в Центральный вокзал, мимо идут люди, толпы людей, а он надрыдается: «Третий полк морской пехоты... Ем пчел... Пчелы лезут у меня изо рта». Или вот женщина: кричит дурным голосом своей невидимой спутнице: «А если я не хочу?! Не хочу, и все тут!»

Попадают женщины с сумками и мужчины с картонны-

ми коробками, которые носят свои пожитки с места на место, – эти вечно в движении, как будто им не все равно, где быть. Вот мужчина – завернулся в американский флаг. А вот женщина в маске – такие надевают в канун Дня всех святых. Мужчина в разорванной куртке: ботинки обмотаны какими-то лохмотьями, несет на плечиках идеально отглаженную белую рубашку – в целлофановом пакете, прямо из химчистки. Мужчина в темном костюме – и босиком, на голове футбольный шлем. Женщина: ее платье сверху донизу обвешано бляхами с портретами кандидатов в президенты. Мужчина: лицо закрыл руками; истошно рыдает и твердит: «Нет, нет, нет. Он умер. Он не умер. Нет, нет, нет. Он умер. Он не умер».

Бодлер: «Il me semble que je serais toujours bien la ou je ne suis pas». То есть: Мне кажется, что я всегда буду счастлив там, где меня нет. Или точнее: Там, где меня нет, есть моя суть. Или, если уж совсем точно: Где угодно, только не в этом мире.

Смеркалось. Куин закрыл красную тетрадь и спрятал авторучку в карман. Ему хотелось еще немного подумать о том, что он написал, но как-то не думалось. Воздух, которым он дышал, был свеж, почти что ароматен, как будто вокруг не было больше города. Куин поднялся со скамейки, потянулся и направился к телефонной будке, откуда вновь позвонил

Вирджинии Стилмен. А затем пошел обедать.

Сидя в ресторане, он вдруг сообразил, что решение созрело. Ответы на вопросы сформировались у него в голове сами собой, без всякой подсказки. Короткие гудки – он теперь это понял – не были случайностью. Это был знак, знак того, что бросить дело Стилмена, как бы ему этого ни хотелось, он пока не может. Ведь Вирджинии он дозванивался для того, чтобы сообщить ей, что выпадает из игры, однако судьба ему этого не позволила. Куин задумался. Прав ли он, употребив слово «судьба»? Было что-то в этом слове претенциозное, устаревшее. Тем не менее, вдумавшись, он убедился, что имел в виду именно судьбу. Во всяком случае, выбрал он это слово не случайно. «Судьба» – как что-то от нас не зависящее, происходящее помимо нас. Ведь когда мы говорим: «Идет дождь» или «Вечереет», это тоже судьба. Что такое судьба, размышлял Куин, как не констатация того положения вещей, на основании которого происходят события в мире. Точнее, пожалуй, не скажешь. Впрочем, в данном случае он к точности не стремился.

Итак, это была судьба. Можно сколько угодно думать о случившемся, сколько угодно жалеть о случившемся, но ничего изменить уже нельзя. Он сказал «да» в ответ на сделанное ему предложение и теперь отменить это «да» был бессилен. А это значило только одно: ему придется дойти до конца. Двух вариантов быть не может: либо одно, либо другое. Так обстояло дело – нравилось это ему или нет.

Поиски Остера, несомненно, были ошибкой. Вполне возможно, в Нью-Йорке и имелось когда-то частное сыскное агентство «Пол Остер». Муж медсестры Питера был отставным полицейским – а значит, человеком немолодым. В его время в городе наверняка был некий сыщик Остер с хорошей репутацией – его-то полицейский, когда Стилмены обратились к нему за помощью, и припомнил. Он полистал телефонную книгу, обнаружил там всего одного Остера и предположил, что это тот самый Остер и есть. После чего дал его телефон Стилменам. В этот момент произошла вторая ошибка: из-за неполадок на телефонной станции звонившие Остеру попадали к Куину – такое бывает сплошь и рядом. Вот как получилось, что дело, предназначавшееся Остеру (как выяснилось, вовсе не детективу), пришлось вести ему. Все это было ясней ясного.

Неясно было другое. Раз он не в состоянии (по воле случая или судьбы) связаться с Вирджинией Стилмен, надо бы предпринять что-то другое. Но что? Его задача состояла в том, чтобы оберечь Питера, проследить за тем, чтобы ему не причинили никакого вреда. Имеет ли значение, что думает о его действиях Вирджиния Стилмен, если сам он делает то, что должен делать? Да, в идеальном варианте сыщик обязан находиться со своим клиентом в тесном контакте. Таков был главный принцип Макса Уорка. Но так ли уж это необходимо? Коль скоро Куин выполняет возложенное на него поручение, что этот контакт с клиентом может изменить? Если

окажется, что между ним и Вирджинией возникли какие-то недоразумения, их ведь можно будет устранить по завершении дела.

А значит, он вправе действовать по своему усмотрению. Больше звонить Вирджинии Стилмен он не станет. Про эти вещи сигналы «занято» надо забыть раз и навсегда. Теперь его уже ничто не остановит. К дому Питера он Стилмена не подпустит.

Куин расплатился с официантом, сунул в рот ментоловую зубочистку и вновь пустился в путь. На этот раз далеко идти ему не пришлось. По дороге он зашел в работавший круглосуточно Сити-банк и с помощью автоматического счетчика проверил, какая сумма лежит на его счету. Триста сорок девять долларов. Снял триста долларов, положил деньги в карман и продолжил свой путь в сторону от центра. На 57-й стрит повернул налево и вышел на Парк авеню. Там свернул направо и двинулся на север до пересечения с 69-й стрит, после чего углубился в квартал, где жили Стилмены. Дом выглядел точно так же, как и две недели назад. Куин поднял голову, чтобы посмотреть, есть ли свет в квартире Стилменов, но какие окна их, он вспомнить не смог. Улица была погружена в тишину. Ни машин, ни прохожих. Куин перешел на другую сторону, облюбовал себе местечко в узком проулке и устроился там на ночь.

Прошло много времени. Сколько – трудно сказать. Недели. А может, и месяцы. Рассказ об этом периоде получится менее подробным, чем хотелось бы автору, однако четкой информацией он не располагает, а потому предпочитает обойти молчанием то, что фактического подтверждения не имеет. Поскольку эта повесть целиком основывается на фактах, автор считает своим долгом не переступать границы достоверного и любой ценой избегать вымысла. Даже красная тетрадь, в которой содержался подробный отчет обо всем, что делал Куин, отныне перестает быть источником, заслуживающим доверия. Мы не можем точно сказать, что происходило с Куином за это время, ибо именно тогда он начал терять над собой контроль.

Большую часть суток он проводил в проулке. К неудобствам, связанным с необходимостью день и ночь находиться под открытым небом, он вскоре привык, тем более что местоположение, которое он выбрал, позволяло ему не попадаться на глаза прохожим. Из своего укрытия он наблюдал за всеми, кто входил и выходил из дома Стилменов. Пройти незамеченным не мог никто. Вначале его удивляло, что он ни разу не видел ни Вирджинии, ни Питера, но вокруг сновало так много разносчиков из отделов доставки, что выходить на улицу Стилменам было вовсе не обязательно, все необходи-

мое им могли принести и на дом. Тогда же Куину пришло в голову, что, вероятнее всего, Вирджиния и Питер затаились: заперлись у себя в квартире и ждут, чем кончится дело.

Понемногу Куин приспособился к своей новой жизни. Предстояло решить целый ряд вопросов. Первостепенной была проблема питания. Поскольку от него требовалась постоянная бдительность, покидать свой пост, даже ненадолго, ему не хотелось. В его отсутствие могло что-то произойти, и Куин делал все возможное, чтобы свести риск до минимума. Где-то он вычитал, что, по статистике, большинство людей проводят в постели с половины четвертого до половины пятого утра – это время Куин и выбрал для покупки еды. На Лексингтон авеню, неподалеку, имелся продуктовый магазин, который работал круглосуточно, и каждый день в половине четвертого утра Куин быстрым шагом (для разминки, а также чтобы поскорей обернуться) шел туда и приобретал все необходимое на сутки вперед. Ел он немного и с каждым разом продуктов покупал все меньше и меньше. Куин вскоре понял, что еда проблему питания, в сущности, не решает, ведь трапеза – это лишь попытка отсрочить время следующей трапезы. Когда насыщаешься, это вовсе не означает, что вопрос решен: просто он возникнет снова чуть позже. А потому гораздо опаснее было не недоесть, а переесть. Если Куин съедал больше, чем следовало, к следующему приему пищи его аппетит только разгорался и, таким образом, есть хотелось сильнее. Приглаживаясь к себе внимательнее, чем

раньше, Куин сумел постепенно этот процесс изменить. Теперь он стремился есть как можно меньше и тем самым избавиться от чувства голода. При желании ему удалось бы вообще свести потребление пищи к нулю, однако в нынешних обстоятельствах он боялся переусердствовать. Голодание было для него чем-то вроде идеала, к которому можно стремиться, но которого нельзя достичь. Куин вовсе не намерен был морить себя голодом – об этом он не уставал каждодневно напоминать себе, – он просто хотел иметь возможность думать о вещах более важных, чем еда. По счастью, это совпало с еще одним его желанием: растянуть триста долларов на как можно более долгий срок. Нетрудно догадаться, что за это время Куин сильно похудел.

Второй проблемой был сон. Бодрствовать двадцать четыре часа в сутки он не мог, а между тем именно это от него и требовалось. Пришлось ему и в этом случае изменить своим привычкам; Куин счел, что впредь должен не только меньше есть, но и спать. Вместо привычных шести-восьми часов сна он решил ограничить себя тремя-четырьмя. Приспособиться к этому было сложно, однако еще сложнее распределить эти часы так, чтобы не утратить бдительность. Спать по три-четыре часа подряд он, понятное дело, себе позволить не мог – это было бы слишком рискованно. Разумнее всего было засыпать секунд на тридцать каждые пять-шесть минут. В этом случае риск что-то пропустить практически сводился к нулю. Однако Куин отдавал себе отчет в том, что это невоз-

можно физически. С другой стороны, взяв на вооружение этот метод, он попытался приучить себя к тому, чтобы задремывать ненадолго, чередуя сон и бодрствование как можно чаще. На это у него ушло много сил, понадобились дисциплина и сосредоточенность, ибо чем дольше продолжался эксперимент, тем больше он уставал. Вначале Куин приучил себя засыпать на сорок пять минут, а потом столько же времени бодрствовать, постепенно добился того, чтобы сделать этот цикл получасовым, в конце же концов научился засыпать всего на пятнадцать минут. В этом, надо сказать, ему помогала близлежащая церковь, чьи колокола били каждые четверть часа: раз в пятнадцать минут – один удар, раз в полчаса – два удара, раз в три четверти часа – три и каждый час – четыре, после чего церковный колокол отбивал то число ударов, которое соответствовало времени дня. Куин жил по этим часам и постепенно перестал отличать бой колокола от ударов собственного пульса. Цикл начинался в полночь: он засыпал с последним, двенадцатым ударом часов, просыпался через пятнадцать минут, засыпал снова, когда до него доносился двойной удар, обозначающий середину часа, и просыпался через четверть часа, когда часы били три раза. В три тридцать он ходил в магазин, возвращался к четырем и забывался опять. Снов он за это время почти не видел; если же что-то ему и снилось, то это почему-то имело к нему самое непосредственное отношение: ему снились его же собственные руки, ботинки, кирпичная стена рядом с его головой. И

не было ни одной минуты, когда бы он не чувствовал смертельную усталость.

Третьей проблемой, с которой он столкнулся, было укрытие, однако эта проблема решалась проще двух других. На его счастье, было тепло, а дожди поздней весной и в начале лета бывали редко. Время от времени на город обрушивался ливень, а пару раз Куин попадал в грозу, с громом и молнией, однако в целом на погоду жаловаться не приходилось. В глубине проулка стоял большой металлический бак для мусора, в нем Куин по ночам прятался от дождя. Запах внутри стоял чудовищный, он пропитал всю его одежду, но Куин предпочитал дурно пахнуть, чем мокнуть под дождем, – простудиться и заболеть ему было совсем ни к чему. По счастью, крышка бака была погнута, плотно не закрывалась и в углу получился зазор в шесть-восемь дюймов, что давало Куину возможность высовывать по ночам голову наружу и дышать. Обычно он стоял на коленях на куче мусора, спиной прислонялся к стенке бака и особого неудобства не испытывал.

Когда дождя не было, он спал под баком, причем ложился так, чтобы, открыв глаза, сразу же увидеть подъезд дома Стилменов. Малую нужду он обычно справлял в дальнем конце проулка, за мусорным баком, спиной к улице. Для того же, чтобы очистить кишечник, приходилось забираться внутрь бака. Рядом с баком валялись пластиковые пакеты с мусором, где Куин отыскивал обычно более или менее чистую газету, которой подтирался, однако один раз вынужден

был в спешке вырвать страницу из красной тетради. Что же касается мытья и бритья, то без этого Куин, хоть и не сразу, обходиться научился.

Как ему удавалось все это время скрываться от посторонних взглядов, остается загадкой. Так или иначе, никто его не обнаружил, не привлек к нему внимания представителей органов правопорядка. По всей вероятности, Куин очень быстро приспособился к расписанию мусорщиков, и, когда приезжала мусороуборочная машина, его в проулке не было. Научился он избегать и швейцара, который каждый вечер выбрасывал мусор в бак и в урны. Поразительным образом никто Куина ни разу не заметил. Казалось, он стал невидимкой.

На хозяйственные нужды и отправление естественных надобностей какое-то время, конечно, уходило, однако большей частью Куин был совершенно свободен. Поскольку он не хотел, чтобы его видели, ему приходилось избегать людей; он не мог позволить себе смотреть на них, разговаривать с ними, даже думать о них. Куину всегда казалось, что он нелюдим; собственно говоря, последние пять лет он так себя и вел. Однако только теперь, сидя днями и ночами в пустом проулке, он начал понимать, что такое настоящее одиночество. Кроме как на себя самого, полагаться ему было не на кого; если он оступится, поднять его сможет только он сам. И вместе с тем его не покидало ощущение, что он падает. Не понимал Куин другого: как может человек одновременно и падать, и самого себя ловить. Разве можно быть сразу и на-

верху и внизу? Нет, здесь что-то не то.

Куин часами смотрел на небо. С того места, где он проводил большую часть суток, между мусорным баком и стеной, смотреть было особенно не на что, и постепенно он полюбил разглядывать мир у себя над головой. Для него стало открытием, что небо, оказывается, находится в постоянном движении. Даже в безоблачные дни, когда небо было выкрашено в синий цвет, что-то в нем постоянно менялось, синева то редела, то сгущалась, сквозь нее вдруг кое-где проступали белые пятна – контуры самолетов, птиц, летящих клочков бумаги. Когда же на небе появлялись облака, цветовая гамма значительно усложнялась, и Куин по многу часов эти облака разглядывал, пытаясь уяснить себе, есть ли в их движении какая-то логика, можно ли предсказать, как они поведут себя в следующий момент. Познакомился он с облаками перистыми и кучевыми, слоистыми и дождевыми во всех их многообразных сочетаниях, подолгу наблюдал за каждым в отдельности, смотрел, как цвет неба меняется от цвета облаков. При ближайшем рассмотрении оказалось, что облака многоцветны, что цвет их варьируется от черного до белого, с бесконечными оттенками серого посередине. Все это требовало самого внимательного и пристального изучения, проверки и расшифровки. Когда же сквозь облака пробивались солнечные лучи, небо окрашивалось в пастельные тона. В этом случае цветовая палитра становилась необычайно богатой, она зависела и от температуры на разных атмо-

сферных уровнях, и от типа облаков, и от того, где в данный момент находилось солнце. Тогда-то и расцветивалось небо цветами красными и розовыми, которые так нравились Куину, пурпурными и алыми, оранжевыми и бледно-лиловыми, золотыми и персиковыми. Но и это продолжалось недолго. Цвета вскоре размывались, сливались, уплывали или же, с наступлением сумерек, блекли. Ветер – а он дул почти всегда – ускорял эти процессы. Сидя в мусорном баке, дуновения ветра Куин почти не чувствовал, однако по тому, как ветер разгоняет тучи, можно было судить о его силе, а также о том, какой воздух – холодный или теплый – он с собой несет. Погода то и дело менялась: стояла жара – и гремел гром, моросил дождь – и ослепительно сияло солнце. Куин наблюдал за бесконечной чередой рассветов и сумерек, за тем, как прячется солнце и на небе высыпают звезды. Не успокаивалось небо даже ночью: под покровом тьмы скользили облака, луна то и дело меняла свое обличье, продолжал дуть ветер. Иногда прямо над головой Куина зажигалась звезда, и, устремляя взгляд в ночное небо, он каждый раз загадывал, здесь ли она еще или давно погасла.

Шли дни, а Стилмен не появлялся. Между тем деньги у Куина были на исходе. Он уже давно готовил себя к этому и последнее время ввел строжайшую экономию: не тратил ни одного цента, не взвесив предварительно все «за» и «против», еще и еще раз не удостоверившись, оправданна ли та

или иная трата, действительно ли нужна та или иная покупка. Однако деньги, сколько их ни экономь, когда-то обязательно кончаются. Кончились они и у Куина.

Где-то в середине августа Куин почувствовал, что продолжать слежку больше не в состоянии. Чтобы установить эту дату, автору пришлось как следует потрудиться. Впрочем, не исключено, что произошло это не в середине августа, а раньше, в конце июля, или, наоборот, позже, в начале сентября, ведь ошибиться на неделю-другую в такого рода подсчетах ничего не стоит. И все же, тщательно проанализировав все факты, рассмотрев все возможные варианты, автор полагает, что событие это имело место именно в августе, между двенадцатым и двадцать пятым.

К этому времени у Куина почти ничего не осталось – доллар мелочью, а то и меньше. За время его отсутствия деньги наверняка пришли, и надо было только забрать чек из своего абонентного ящика на почте, отнести его в банк и обналичить. «Если все пойдет нормально, – прикинул он, – на 69-ю стрит я вернусь через пару часов». Как он мучился от мысли, что покидает свой наблюдательный пункт, мы не узнаем никогда.

На автобус денег у Куина не хватало, и потому, впервые за несколько недель, он проделал длинное расстояние пешком. Было непривычно вновь передвигаться по улице, размахивать в унисон движению руками, переступать ногами. И тем не менее Куин дошел до конца 69-й стрит, свернул напра-

во на Мэдисон авеню и двинулся в северном направлении. Он чувствовал слабость в ногах; голова, казалось, наполнена воздухом. Время от времени он останавливался, чтобы перевести дух, а один раз голова у него так закружилась, что он вынужден был, чтобы не упасть, ухватиться за фонарный столб. Куин обратил внимание, что ему легче идти, почти не отрывая от земли ног, медленной, шаркающей походкой. Таким образом он экономил силы для поворотов; перед тем как сделать шаг с тротуара и на тротуар, ему каждый раз приходилось останавливаться, чтобы сохранить равновесие.

На 84-й стрит он на минуту задержался у входа в магазин; на фасаде было зеркало, и Куин – впервые с тех пор, как началось его бдение, – увидел себя со стороны. Не то чтобы все это время он боялся взглянуть на себя; ему попросту не приходило это в голову, он был настолько занят своим делом, что о себе, о своей внешности, не думал. Нельзя сказать, что теперь, увидев себя в зеркале магазина, Куин перепугался или огорчился; он вообще не испытал никаких чувств – дело в том, что он себя не узнал. На него смотрел совершенно незнакомый человек, и Куин, не сообразив, что это он, резко повернулся посмотреть, кто это. Но рядом никого не было. Тогда он внимательно взгляделся в свое отражение. Тщательно изучив лицо в зеркале, он стал подмечать знакомые черты: стоявший перед ним человек и в самом деле имел некоторое сходство с тем, кого он считал самим собой. Да, пожалуй, это действительно был он, Куин. Впрочем,

он не расстроился даже сейчас. Его внешность претерпела такие чудовищные изменения, что ничего, кроме живейшего интереса, не вызвала. Он превратился в бродягу. Одежда его выцвела, изнасилась, пропиталась грязью. Лицо заросло густой черной с проседью бородой. Волосы были длинные и спутанные, за ушами они завивались в косички и спадали на плечи. Больше всего он напоминал самому себе Робинзона Крузо и поражался тому, как быстро он изменился. Прошло ведь всего несколько месяцев, а он стал кем-то совсем другим. Куин попытался вспомнить, каким он был раньше, но это было не так-то просто. Он еще раз взглянул на нового Куина и пожал плечами. Не все ли равно? Раньше он был одним, теперь стал другим. Не лучше и не хуже – просто другим. Только и всего.

Куин миновал еще несколько кварталов, затем повернул налево, пересек Пятую авеню и прошел вдоль ограды Центрального парка. На углу 96-й стрит он вошел в парк. Идти по траве под деревьями было приятно. Лето шло к концу, и зелень пожухла и поредела; на лужайках образовались пыльные бурые прогалины. Однако над головой еще шумела листва, сквозь которую пробивались лучи солнца, по земле скользили тени, и Куину все это показалось сказочно прекрасным. Было утро, и до полуденной жары оставалось еще несколько часов.

Когда Куин углубился в парк, им овладело непреодолимое желание отдохнуть. Здесь не было улиц, не было номе-

ров домов, и ему вдруг показалось, что идет он уже много часов; ощущение было такое, будто для того, чтобы пересечь парк, понадобится день, а то и два быстрой, изнурительной ходьбы. Вскоре Куин почувствовал, что больше не в состоянии сделать ни шагу. Недалеко от того места, где он стоял, рос дуб, и Куин, качаясь, точно пьяный, направился к нему, повалился на траву под дерево, положил под голову красную тетрадь и уснул. Впервые за несколько месяцев он спал не просыпаясь и пробудился только на следующее утро.

Его часы показывали половину десятого, и он ужаснулся при мысли, сколько времени потерял. Куин встал и размашистым шагом двинулся на запад; он был потрясен тем, что к нему вернулись силы, и проклинал себя за то, что на их восстановление ушло столько часов. Он был безутешен. Что бы он теперь ни делал, упущенного не наверстать. Он может сто лет бежать бегом – и все равно дверь закроют перед самым его носом.

Куин вышел из парка на 96-ю стрит и двинулся дальше в западном направлении. На углу Коламбус авеню он увидел телефон-автомат и вспомнил про Остера и чек на пятьсот долларов. Может, сэкономить время и забрать деньги прямо сейчас? Он пойдет к Остеру, и тот выдаст ему пятьсот долларов наличными, избавив его от необходимости идти сначала на почту, а потом в банк. А что, если у Остера нет наличных? Тогда надо будет встретиться с ним прямо в банке.

Куин вошел в телефонную будку, сунул руку в карман и

извлек оттуда все, что у него оставалось: два десятицентовика, двадцатипятицентовик и восемь монеток по одному центу. Он позвонил в справочную узнать номер Остера, извлек оставшийся десятицентовик, опустил его вновь и набрал нужный номер. Остер снял трубку после третьего гудка.

– Это Куин, – сказал Куин.

На другом конце провода послышался тяжелый вздох.

– Где вы пропадали, черт возьми? – Остер не скрывал раздражения. – Я звонил вам тысячу раз.

– Был занят. Расследовал дело.

– Дело? Какое дело?

– Дело Стилмена. Помните?

– Конечно помню.

– Поэтому я вам и звоню. Хочу зайти за деньгами. Пятьсот долларов.

– За какими деньгами?

– Чек, помните? Я дал вам чек. Выписанный на Пола Остера.

– Помню, естественно. Но денег нет. Потому я вам и звонил.

– Вы не имели никакого права их тратить! – закричал вне себя от ярости Куин. – Эти деньги принадлежат мне!

– Я их не тратил. Чек оказался недействительным.

– Я вам не верю.

– Можете, если хотите, прийти и прочесть письмо из банка. Вот оно, лежит на моем письменном столе. Чек не при-

няли к оплате.

– Чушь.

– Уверяю вас. Впрочем, сейчас это уже значения не имеет, не правда ли?

– С чего вы взяли? Мне нужны деньги, чтобы продолжать слежку.

– О какой слежке вы говорите? Все кончилось.

– Не понял.

– Дело Стилмена.

– Что значит «кончилось»? Я продолжаю его вести.

– Это невозможно.

– Почему это невозможно?! Говорите как есть!

– Неужели вы ничего не знаете?! Где же вы были? Вы что, газет не читаете?

– Газет? Нет у меня времени читать газеты.

Остер ничего не ответил, и на какую-то долю секунды Куину показалось, что никакого разговора не было, что он уснул в телефонной будке.

– Стилмен бросился с Бруклинского моста, – вновь заговорила трубка. – Он покончил с собой два с половиной месяца назад.

– Вы лжете.

– Об этом писали все газеты. Можете проверить, если хотите.

Куин промолчал.

– Это был тот самый Стилмен, – продолжал Остер. – В

прошлом профессор Колумбийского университета. Говорят, он умер в воздухе, до того, как ударился об воду.

– А Питер? Что с Питером?

– Чего не знаю, того не знаю.

– А кто-нибудь знает?

– Этого я вам сказать не могу. О судьбе Питера вам придется узнавать самому.

– Да, вы правы, – отозвался Куин и, даже не попрощавшись, повесил трубку. Извлек из кармана еще один десятицентовик и набрал номер Вирджинии Стилмен. Его он уже давно выучил наизусть.

Хорошо поставленный голос без модуляций повторил набранный им номер и два раза подряд объявил, что этот номер отключен, после чего в трубке наступила мертвая тишина.

Куин не знал, что и думать. В первые минуты он не испытал вообще никаких чувств, как будто ничего не произошло – ни раньше, ни теперь. Он решил хотя бы на время обо всем забыть. «Когда-нибудь потом, но не теперь». Теперь же хотелось одного – поскорей попасть домой. Войти к себе в квартиру, сбросить одежду и сесть в горячую ванну. Потом – полистать свежие журналы, послушать пластинки, прибрать комнату. И только потом – задуматься над тем, что же произошло.

Куин пошел назад на 107-ю стрит. Ключи от дома все это время так и пролежали у него в кармане, и, отпирая дверь

с улицы, подымаясь к себе на третий этаж, он чувствовал себя почти что счастливым человеком. Но стоило ему войти в квартиру, как счастье кончилось.

Внутри все изменилось до неузнаваемости. Настолько, что у Куина даже мелькнула мысль, а не попал ли он по ошибке в чужую квартиру. Он вышел на лестничную клетку и проверил номер на входной двери. Нет, ошибки не было, это его квартира, он открыл ее своим ключом. Он вошел в гостиную и осмотрелся. Мебель переставлена. Там, где раньше находился стол, теперь стоял стул. Там, где раньше был диван, теперь стоял стол. На стене висели другие картины, на полу лежал другой ковер. А где его письменный стол? Куин поискал стол глазами, но не нашел. Присмотрелся к мебели и обнаружил, что мебель эта чужая. Его вещей в комнате не было – ни письменного стола, ни книг, ни детских рисунков покойного сына. Из гостиной Куин перешел в спальню. Его кровати не было, комода не было тоже. Он открыл верхний ящик чужого комода. Женское белье: трусики, лифчики, комбинации. В следующем ящике лежали блузки и свитера. Другие ящики Куин выдвигать не стал. На столике у кровати стояла фотография какого-то мордастого блондина. На другой фотографии этот же мордастый блондин, широко улыбаясь, обнимал довольно невзрачную девушку. Она улыбалась тоже. У них за спиной на фоне ярко-синего зимнего неба возвышалась покрытая снегом гора, по которой подымался мужчина с лыжами на плече.

Куин вернулся в гостиную и сел на стул. В пепельнице лежала недокуренная сигарета со следами помады на фильтре. Он взял сигарету из пепельницы и выкурил ее. Затем пошел на кухню, открыл холодильник и обнаружил там пакет апельсинового сока и батон. Выпил сока, съел три куска хлеба, затем пошел в гостиную и вновь опустился на стул. Минут через пятнадцать он услышал шаги по лестнице, в замке повернулся ключ, и в квартиру, в белом халате медсестры, с пакетом в руке, вошла девица – та самая, с фотографии. Увидев Куина, она уронила пакет и закричала. Или сначала закричала, а потом уронила пакет. Ударившись об пол, пакет лопнул по шву, и из него на ковер, образуя белую дорожку, хлынула струя молока.

Куин встал и поднял руку, давая понять, что девице ничего не грозит. Пусть не волнуется, он ее не обидит, ему хотелось бы только знать, почему она живет в его квартире. Он достал из кармана ключ и подбросил его на ладони, тем самым словно подтверждая свои добрые намерения. В конце концов девица немного успокоилась, однако для этого Куину пришлось как следует потрудиться.

Это, впрочем, вовсе не означало, что девица начала ему доверять или что теперь она меньше его боялась. Она по-прежнему жались к входной двери, чтобы в случае чего сразу же убежать. Все это время Куин, стараясь держаться от девицы на расстоянии, пытался ей втолковать, что она живет в его доме. Она же наверняка не верила ни одному его слову

и слушала, только чтобы убажить его; «выговорится и уйдет», – видимо, рассудила она.

– Я живу здесь уже месяц, – сказала девица. – Это моя квартира. Я сняла ее на год.

– А почему в таком случае ключ от квартиры у меня? – поинтересовался Куин в седьмой или в восьмой раз.

– Мало ли почему...

– Когда вы снимали эту квартиру, вам не говорили, что в ней живут?

– Сказали, что здесь живет писатель. Но он исчез и задолжал квартплату уже за несколько месяцев.

– Так это ж я и есть! – вскричал Куин. – Я писатель!

Девица окинула его равнодушным взглядом и хмыкнула:

– Писатель? Расскажи кому-нибудь другому. Посмотрел бы на себя. Бродяга ты, а не писатель!

– Последнее время у меня были сложности... – пробормотал, словно извиняясь за свой вид, Куин. – Но эти сложности временные.

– Домовладелец признался, что был рад от тебя избавиться. Сказал, что не любит безработных квартирантов. Лишний расход за отопление, да и сантехника быстро изнашивается.

– Вы не в курсе, что произошло с моими вещами?

– Какими вещами?

– Книгами, мебелью, бумагами.

– Понятия не имею. То, что могли, наверно, продали, а

остальное выбросили. Когда я въехала, квартира была пуста.

Куин тяжело вздохнул. Доигрался, дошел до ручки. Он чувствовал это со всей очевидностью, как будто окончательно прозрел. Теперь у него ничего, совсем ничего не осталось.

– Вы понимаете, что это значит?

– Если честно, мне все равно, – отозвалась девица. – Это твои проблемы. Мне надо, чтоб ты отсюда выкатился, и поскорей. Это моя квартира, я тут хозяйка. А не уйдешь – вызову полицию, и тебя арестуют.

Ничего уже изменить было нельзя. Он мог до ночи спорить с этой девицей, но получить назад свою квартиру был не в силах. Квартира пропала, он пропал, все пропало. Куин пробурчал что-то себе под нос, извинился и, пройдя мимо стоявшей в дверях девицы, вышел на лестницу.

Поскольку теперь Куин потерял всякий интерес к тому, что с ним происходит, его нисколько не удивило, что подъезд дома на 69-й стрит открывается без ключа. Не удивило его и то, что квартира Стилменов на девятом этаже в конце коридора тоже оказалась не заперта. В квартире было пусто, однако и в этом он не нашел ничего неожиданного. Мало того что в квартире не было людей, в ней не было и вещей. Каждая комната как две капли воды походила на остальные: деревянный пол, четыре белые стены. На Куина, впрочем, это не произвело никакого впечатления. Он так устал, что ему хотелось только одного: поскорее закрыть глаза.

Он вошел в самую дальнюю и самую маленькую – десять футов на шесть – комнату. Единственное окно забрано было проволочной сеткой и выходило в вентиляционную шахту, отчего эта комната казалась темнее всех прочих. Куин увидел еще одну дверь, которая вела в крошечный чулан без окон, с унитазом и умывальником. Он положил красную тетрадь на пол, достал из кармана авторучку глухонемого и бросил ее на тетрадь. Затем снял часы и спрятал их в карман. Разделся, открыл окно и одну за другой побросал все свои вещи в вентиляционную шахту: сначала правый ботинок, потом левый ботинок; один носок, затем другой носок; рубашку, пиджак, трусы, брюки. Куин даже не выглянул в окно по-

смотреть, как вещи падают и куда упали; он закрыл окно, улегся на пол и заснул.

Когда Куин проснулся, комната была погружена во мрак. Сколько времени прошло, он не знал; то ли был вечер того самого дня, то ли следующего. А может, подумал он, это только в комнате темно, а за окном белый день. Куин решил было встать и подойти к окну, но потом раздумал: какая, собственно, разница, день сейчас или ночь. Если вечер еще не наступил, значит, наступит позже. Произойдет это непременно, независимо от того, выглянет он в окно или нет. С другой стороны, даже если здесь, в Нью-Йорке, ночь, где-то в другом месте все равно светит солнце. В Китае, к примеру, солнце сейчас в зените, и крестьяне на рисовых полях обливаются потом. Ночь и день – понятия относительные. В каждый отдельно взятый момент всегда есть и день, и ночь – мы же не знаем об этом по той простой причине, что в двух местах одновременно находиться не можем.

Поначалу Куин раздумывал, не пойти ли в другую комнату, но потом счел, что ему неплохо и здесь. Помещение он выбрал вполне удобное, было приятно лежать на спине и смотреть в потолок – верней сказать, на то, что было бы потолком, если б он его видел. Не хватало ему только одного – неба, ведь под открытым небом он провел столько дней и ночей. Сейчас же он находился под крышей, и, какую бы комнату ни выбрал, небо оставалось для него недоступным, недосыгаемым.

Куин решил, что проживет здесь, сколько сможет. Пить будет из крана в чулане и от жажды не умрет. Со временем, правда, он почувствует голод, но столько недель пришлось довольствоваться малым, что в запасе у него есть, как минимум, несколько дней. И он решил пока о еде не думать. Какой смысл волноваться, беспокоиться о том, что не имеет ровным счетом никакого значения?

Куин попытался припомнить, как он жил до начала этой истории. Это было нелегко – прошлая жизнь представлялась ему бесконечно далекой. Он вспомнил книги, которые писал под псевдонимом «Уильям Уилсон». Как странно, что он этим занимался. Зачем? В глубине души он понимал: Макс Уорк мертв. Он умер где-то в перерыве между расследованиями, и Куину было его почему-то совсем не жалко. Все это теперь не имело никакого значения. Он вспомнил, как сидел за своим письменным столом и исписывал страницу за страницей. Вспомнил человека, который был его литературным агентом, вот только имя агента вылетело у него из головы. Столько всего куда-то проваливалось – за всем и не уследишь. Куину захотелось вспомнить основной состав «Метрополитенс», одного игрока за другим, однако память отказывала ему и тут. Инфилда, с трудом припомнил он, звали Муки Уилсон; это был подающий надежды молодой игрок, настоящее его имя – Уильям Уилсон. Нет, не то... Несколько секунд Куин мучительно соображал, что же, а потом плюнул. Уильямы Уилсоны нейтрализовали друг друга – и пусть!

Куин распрощался с ними. В этом сезоне «Метрополитенс» опять займет последнее место, и хуже от этого никому не будет.

Когда он проснулся в следующий раз, в комнате ярко светило солнце. Рядом с ним на полу стоял поднос с едой, пахло жареным мясом. Куин отнесся к этому спокойно. Не удивился и не рассердился. Да, сказал он себе, мне принесли поесть – что тут такого? Ему даже не пришло в голову выйти из комнаты и пройтись по квартире, чтобы понять, что же произошло. Вместо этого он внимательно изучил расставленную на подносе еду и обнаружил, помимо двух здоровенных кусков говядины, семь небольших жареных картофелин, порцию спаржи, свежую булку, салат, графин с красным вином и десерт – нарезанный тонкими ломтиками сыр и грушу. На подносе лежала белоснежная салфетка, столовые приборы были из старинного серебра. Куин съел все, а может, только половину: больше не осилил.

После еды он начал писать в красной тетради и писал до тех пор, пока в комнате вновь не стемнело. На потолке была маленькая лампочка, от которой по стене спускался к двери провод, однако пользоваться электричеством Куину почему-то не хотелось. Вскоре он уснул и, проснувшись, обнаружил, что комната опять залита солнцем, а на полу перед ним опять стоит поднос с едой. Он съел столько, сколько смог, после чего вновь открыл красную тетрадь.

В своих записях этого времени Куин вернулся к делу

Стилмена. Интересно, почему ему не пришло в голову выяснить, что писали газеты об аресте Стилмена в 1969 году? Существует ли связь между делом Стилмена и полетом человека на Луну, состоявшимся в том же году? Куин удивлялся своей доверчивости: с какой стати он поверил Остеру, когда тот сообщил ему о самоубийстве Стилмена? Он раздумывал о том, что может значить слово «яйцо», и даже записал такие выражения, как «сидит как курица на яйцах», «яйцо налицо», «словно из яичка вылупился», «курица по одному яйцу носит». Задумался Куин и над тем, что было бы, если б вместо первого Стилмена он тогда, на вокзале, последовал за вторым. Он припомнил, что святой Христофор, покровитель путешественников, был деканонизирован Папой в 1969 году, тогда же, когда состоялся первый полет на Луну. Он подолгу размышлял и над тем, почему Дон Кихот, вместо того чтобы писать рыцарские романы, совершал рыцарские подвиги. И почему у него с Дон Кихотом одинаковые инициалы. Ему пришла в голову мысль, что девица, занявшая его квартиру, – та самая толстуха, что сидела рядом с ним в зале ожидания и читала его книгу. А что, если Вирджиния Стилмен, не дождавшись его звонка, воспользовалась услугами другого сыщика? Почему он поверил Остеру, когда тот сказал ему, что чек недействителен? Интересно, Питер Стилмен когда-нибудь ночевал в комнате, в которой он сейчас находится? Интересно, это дело действительно завершено или он его еще ведет? Любопытно, как бы вы-

глядела схема его собственных передвижений? И какое бы слово из них составилось?

Когда становилось темно, Куин засыпал, когда в комнату проникал дневной свет, съедал то, что ему приносили, и делал записи в красной тетради. Сколько времени проходило между сном и не-сном, Куин не знал; он не утруждал себя подсчетом дней и часов. Постепенно, правда, ему стало казаться, что мало-помалу мрак берет верх над светом и солнце становится более тусклым и мимолетным. Поначалу он объяснял это сменой времен года. Осеннее равноденствие, рассуждал он, наверняка уже прошло и приближается зимнее солнцестояние. Но даже в разгар зимы, как заметил Куин, вопреки законам природы, темное время дня продолжало увеличиваться, а светлое уменьшаться. Ему даже стало казаться, что времени на еду и на записи в красной тетради у него остается с каждым днем все меньше и меньше, что счет уже идет не на часы, а на минуты. Однажды, например, он понял, что успеет после обеда записать не больше трех предложений. В следующий раз светлого времени хватило всего на два предложения, после чего Куин стал меньше есть, чтобы успеть побольше записать; он ел лишь тогда, когда терпеть голод становилось невозможным. Тем не менее светлое время дня неуклонно сокращалось, и вскоре до наступления темноты Куин успевал съесть не больше одного-двух кусков. Включить электрический свет ему не приходило в голову, поскольку про лампочку на потолке он давно позабыл.

Отсутствие света за окном совпало с отсутствием места в красной тетради. Тетрадь подходила к концу. В какой-то момент Куин понял, что чем больше он напишет, тем скорее наступит час, когда ничего больше написать уже будет нельзя. И тогда он начал взвешивать каждое слово, стремясь выразиться как можно более ясно и кратко. Он пожалел, что исписал столько страниц в начале тетради, что вообще решил писать о деле Стилмена. Ведь дело это осталось далеко позади и больше его не интересовало. Оно явилось чем-то вроде моста, ведущего к другому берегу его жизни, и теперь, когда он этот мост перешел, дело Стилмена потеряло для него всякий смысл. К себе Куин тоже полностью утратил интерес и писал о звездах, о Земле, о тех надеждах, которые он возлагал на человечество. Он чувствовал, что слова, которыми он выражал свои мысли, зажили своей собственной жизнью, стали частью мира, такой же материальной субстанцией, как камень, или озеро, или цветок. Теперь они не имели к нему никакого отношения. Он вспоминал, как родился на свет и как его осторожно тянули из утробы матери. Вспоминал бесконечную доброту мира и всех, кого он в своей жизни любил. Теперь только эта доброта и имела значение. Ему хотелось писать о ней до бесконечности, и его удручало, что это невозможно. И тем не менее он внутренне подготовился к тому, что красная тетрадь может вот-вот кончиться, и задался вопросом, получится ли у него писать без авторучки, сможет ли он произносить то, что раньше писал, запол-

нять темноту своим голосом, обращаться к воздуху, стенам, городу, даже если дневной свет никогда больше не вернется.

Кончается красная тетрадь фразой: «Что будет, когда в красной тетради не останется больше страниц?»

С этого момента наш рассказ начинает терять смысл. Факты отсутствуют, и событий, последовавших за этой последней фразой, никогда уже не восстановить. Строить предположения на этот счет было бы глупо.

Из поездки в Африку я вернулся в Нью-Йорк в феврале, буквально за несколько часов до того, как начался снегопад. В тот вечер я позвонил своему другу Остеру, и он попросил меня прийти к нему как можно скорее. Он так настаивал, что я не мог ему отказать, хотя и очень устал с дороги.

Когда я приехал, Остер рассказал то немногое, что ему было известно о Куине, а затем посвятил меня в подробности таинственного дела Стилмена, в которое по случайности оказался замешан. Признавшись, что вся эта история не идет у него из головы, он обратился ко мне за советом, как ему быть. Вникнув в суть дела, я упрекнул Остера за то, с каким безразличием он отнесся к Куину; на мой взгляд, ему следовало проявить большую заинтересованность, оказать реальную помощь человеку, который попал в беду.

Судя по всему, Остер принял мои слова близко к сердцу. Он объяснил, что вызвал меня, поскольку чувствовал, что виноват, и ему необходимо было выговориться. Кому как не

мне.

Уже несколько месяцев он пытался найти Куина – безуспешно. В своей квартире Куин больше не жил, а с Вирджинией Стилмен связаться не удалось. Тогда-то я и предложил Остеру поехать на квартиру Стилменов. Интуиция мне подсказывала, что Куин может оказаться именно там.

Мы надели пальто, вышли из дома и поехали на такси на 69-ю стрит. Снег валил уже целый час, и под колесами был настоящий каток. Войти в здание труда не составило: мы проникли в подъезд вслед за возвращавшимся домой жильцом, поднялись наверх и подошли к квартире, которая когда-то принадлежала Стилменам. Дверь оказалась не заперта. Мы с опаской вошли внутрь и увидели перед собой вереницу совершенно пустых комнат. В дальней комнатке, такой же пустой, как и все остальные, на полу лежала красная тетрадь. Остер поднял ее, полистал и сказал, что она принадлежит Куину. Затем передал тетрадь мне – чтобы я ее сохранил. Вся эта история так его расстроила, что оставлять тетрадь у себя ему не хотелось. Я сказал, что верну записи Куина, как только он будет готов их прочесть, но Остер только головой покачал: красная тетрадь ему не понадобится. Мы вышли из квартиры и спустились на улицу. От снега город стал совершенно белым. Снег продолжал идти, и казалось, он не кончится никогда.

Где сейчас Куин, сказать не берусь. Записывая эту историю, я старался держаться как можно ближе к красной тет-

ради и готов ответить за все неточности. Бывали случаи, когда текст с трудом поддавался расшифровке, но я всякий раз пытался вникнуть в написанное, дабы избежать отсебятины любой ценой. Разумеется, красная тетрадь, о чем, впрочем, проницательный читатель догадается и сам, лишь половина истории. Что же касается Остера, то я убежден: в этом деле он повел себя не лучшим образом, и если нашей дружбе пришел конец, то винить в этом он должен себя самого. Я же думаю о Куине постоянно. Он будет со мной всегда. И где бы он сейчас ни находился, я желаю ему удачи.

# Призраки

Вначале был Синькин.<sup>1</sup> Позже появился Велик, за ним Черни, а еще когда-то, давным-давно, нарисовался Желтовски. Желтовски привел его в профессию, научил уму-разуму, а когда состарился, Синькин занял его место. С этого все начинается. Место действия – Нью-Йорк, время – настоящее, и то, и другое – величины постоянные. Каждое утро Синькин приходит в свой офис и садится за стол в ожидании каких-либо происшествий. Долгое время ничего не происходит, а затем в офисе возникает человек по фамилии Велик, и с этого все начинается.

Дело кажется простым. Велик хочет, чтобы Синькин понаблюдал за неким Черни, чтобы он не спускал с него глаз до дальнейших распоряжений. Под началом Желтовски Синькин не раз выполнял филерскую работу, и это задание представляется ему не лучше и не хуже прочих, пожалуй, даже более легким.

Синькину нужна работа, поэтому он внимательно слушает Велика и не задает лишних вопросов. Про себя он заключает, что дело семейное и что перед ним – ревнивый муж. Велик в подробности не вдается. Ему нужен еженедельный отчет, напечатанный под копирку на листах определенного

---

<sup>1</sup> У автора: Blue, White, Black и т. д. (Здесь и далее примечания переводчика.)

формата и отправленный на такой-то абонентный ящик. В ответ Синькин будет еженедельно получать по почте чек. Велик сообщает, где живет Черни, описывает его внешность и так далее. И сколько же, интересуется Синькин, может тянуться это дело? Велик цедит что-то неопределенное. В свое время он обо всем проинформирует Синькина, а пока тот должен регулярно присылать отчеты.

Да, Синькин находит все это несколько странным, но нельзя сказать, что в тот момент у него возникли какие-то нехорошие предчувствия. Другое дело – кое-что в облике Велика бросается в глаза. К примеру, черная борода и необыкновенно кустистые брови. Да и кожа до того бела, словно напудрена. В маскараде Синькин знает толк, и на мякине его не проведешь. Ему было у кого учиться: в свое время Желтовски слыл одним из лучших профессионалов. Пожалуй, я ошибся, говорит себе Синькин, дело-то, похоже, не семейное. Но до конца додумать эту мысль некогда, так как инструктаж продолжается.

Все уже устроено. Велик снял квартиру через дорогу от Черни. В нее можно въехать хоть сегодня. Она будет числиться за Синькиным до окончания дела.

Это хорошо, вставляет Синькин. Лишняя беготня ни к чему.

Именно, соглашается Велик, оглаживая бороду.

Все решено. Синькин берется за это дело. Они обмениваются рукопожатием. В знак доверия Велик даже вручает

Синькину аванс – десять полусотенных в конверте.

Итак, все начинается рукопожатием молодого еще Синькина и человека с фамилией Велик, который явно выдает себя за другого. Не суть важно, решает Синькин после ухода Велика. Наверняка у него есть на то свои причины. Его проблемы. От меня требуется одно – выполнить работу.

На календаре 3 февраля 1947 года. Знал бы Синькин, что дело затянется на годы! Но ведь настоящее так же темно, как прошлое, и не менее загадочно, чем будущее. Так уж устроен мир: слово за словом, шагок за шагом. Синькин многого не знает и не может знать в данную минуту. Знания даются не сразу, и за них частенько приходится платить высокую цену.

Синькин поднимает трубку и набирает номер будущей миссис Синькиной.

Мне предстоит одно тайное расследование, сообщает он своей возлюбленной. Какое-то время мы не увидимся, но ты не расстраивайся, я думаю о тебе постоянно.

Синькин достает с полки серый ранец и кладет в него пистолет тридцать восьмого калибра, бинокль, тетрадь и так далее, весь джентльменский набор. Он наводит на столе порядок, запирает офис и отправляется напрямиком на квартиру, которую снял для него Велик. Адрес, в принципе, не важен, но, предположим, где-то в районе Бруклин-Хайтс. Какая-нибудь тихая улочка неподалеку от моста – скажем, Оранж-стрит. Здесь находилась типография, в которой вручную набирали первое издание «Листьев травы» Уолта Уитмена в

1855 году. Здесь в красной кирпичной церкви Генри Уорд Бичер произнес с кафедры свою обличительную речь против рабства. Для местного колорита этого будет достаточно.

Квартирка представляет собой маленькую студию на третьем этаже четырехэтажного дома из бурого песчаника. Синькин с удовлетворением отмечает, что тут есть все необходимое, причем новехонькое: кровать, стол, стул, ковер, постельное белье, кухонная утварь, – решительно всё. В стенном шкафу висит полный гардероб. Не будучи уверен, что эти вещи именно для него предназначены, Синькин решает их примерить и быстро убеждается: да, для него. Мне приходилось жить в квартирах и побольше, рассуждает он, но тут уютно, вполне уютно.

Он спускается вниз, переходит улицу и, войдя в дом, осматривает ряд почтовых ящиков. Вот он – Черни, третий этаж. Пока все идет хорошо. Он возвращается к себе и приступает к делу.

Раздвинув занавески, он видит в доме напротив Черни, сидящего за столом. Похоже, он что-то пишет. Взгляд в бинокль подтверждает это предположение. Конечно, линзы не настолько сильные, чтобы разглядеть слова, но в любом случае прочитать строчки вверх ногами едва ли было бы возможно. Ясно одно: Черни пишет в тетради, красной ручкой. Синькин достает собственную тетрадь и делает первую запись: «3 фев. 15. 00. Черни пишет за столом».

Время от времени Черни отрывается от работы и смотрит

в окно. В какой-то момент, решив, что его засекли, Синькин ныряет за штору. Дальнейшее наблюдение позволяет сделать вывод: это невидящий взгляд, характерный для работы мысли, взгляд, не различающий предметов. Иногда Черни встает из-за стола и исчезает (отошел в угол? скрылся в ванной?), но ненадолго. Это продолжается несколько часов, и ситуация яснее не становится. В шесть вечера Синькин записывает в тетради: «Это продолжается несколько часов».

Синькин испытывает – нет, даже не скуку, скорее это можно назвать обманутыми ожиданиями. Не имея возможности прочесть, что там пишет объект, он пребывает в полной растерянности. Может, этот Черни сумасшедший, решивший взорвать мир, и в тетради он выводит некую тайную формулу? Мысль настолько детская, что Синькину становится за нее стыдно. Время для выводов еще не пришло, говорит он себе. Лучше пока воздержаться от каких бы то ни было умозаключений.

Он думает о разных мелочах, пока не переключается на будущую миссис Синькину. Сегодня они должны были увидеться, и, если бы не Велик и это неожиданное задание, они бы сейчас сидели в китайском ресторане на 39-й стрит, незаметно держась за руки, а потом неуклюже орудовали палочками для еды. После ресторана они бы пошли в кино. Перед ним вдруг возникло ее лицо (опущенные глаза, смущенная улыбка), и он пожалел, что торчит в этой комнатенке, вместо того чтобы быть рядом со своей пассией. Может, хотя бы

поболтать с ней по телефону? Пожалуй, не стоит. Лучше не выказывать свою слабость. Дать ей понять, что он в ней нуждается, значит утратить изначальное преимущество, а это ни к чему. Мужчина должен выглядеть сильнейшим.

Между тем Черни, убрав письменные принадлежности, расчищает стол для ужина. Он медленно жует, рассеянно глядя в окно. При виде еды Синькин вдруг ощущает приступ голода. Пошарив в кухонном шкафчике, он останавливает свой выбор на тушенке и съедает ее, макая в соус белый хлеб. Сейчас хорошо бы прогуляться! Некоторая активность в комнате напротив вселяет в него определенную надежду, но все кончается тем, что Черни снова подсаживается к столу, на этот раз с книгой.

Горящий ночник позволяет лучше разглядеть его лицо. Синькину он кажется ровесником, иными словами, ему около тридцати. Довольно приятное лицо, которое, впрочем, ничем не выделило бы его из толпы. Синькин разочарован: втайне он надеялся увидеть перед собой безумца. В бинокль ему удастся разглядеть обложку книги: «Уолден» Генри Дэвида Торо. Название ни о чем ему не говорит, и он аккуратно записывает его в свою тетрадь.

Так проходит вечер: один читает, другой за ним подглядывает. Синькин кажется все более и более обескураженным. Это вынужденное безделье (а уже начинает смеркаться) действует ему на нервы. Человек дела, он привык быть в движении. Я не Шерлок Холмс, говаривал он Желтовски всякий

раз, когда надо было протирать штаны, выполняя какое-то задание. Мне бы что-нибудь посочнее, такое, чтобы вонзиться зубами. Теперь он сам себе босс, и вот, пожалуйста: совершенно пустое «дело»! А как это еще назвать, если твой клиент только пишет да читает? Чтобы уяснить для себя ситуацию, надо залезть в черепную коробку подопечного, понять ход его мыслей, а это пока не представляется возможным. Синькин вспоминает старые добрые времена, перебирает в памяти дела, которые они вели вместе с Желтовски, смакует их общие триумфы. То же «дело Краснера», когда они вывели на чистую воду банковского кассира, присвоившего четверть миллиона долларов. Тогда Синькин, выдав себя за букмекера, уговорил азартного кассира сделать ставку. Номера купюр совпали с украденными банкнотами, и жулик получил по заслугам. Еще интереснее было «дело Серова». Серов бесследно исчез, и после года бесплодных поисков жена уже готова была смириться с мыслью, что его нет в живых. Синькин отработал все версии и остался ни с чем. Однажды, готовя свой заключительный доклад, он столкнулся нос к носу с Серовым в баре, в каких-нибудь двух кварталах от его дома. Хотя теперь его звали Зеленин, Синькин сразу его узнал – как-никак три месяца повсюду носил с собой его фотокарточку. Это был случай амнезии. Синькин отвел бедолагу к жене, и он ее, разумеется, не узнал, но она ему очень понравилась, и через несколько дней он сделал ей предложение. Вторично расписавшись со своим мужем, госпожа Се-

рова стала госпожой Зелениной, и пусть новоиспеченный супруг совсем не помнил своего прошлого (хотя и утверждал, что у него прекрасная память), это ему не помешало вполне комфортно ощущать себя в настоящем. Бывший инженер прекрасно ощущал себя в новой роли. Смешивать напитки и болтать с посетителями, – о чем еще можно мечтать? Я прирожденный бармен, признался он Желтовски и Синькину на свадьбе, и, по большому счету, им нечего было на это возразить.

Да, есть что вспомнить, говорит себе Синькин, глядя, как в квартире напротив гаснет свет. Какие неожиданные повороты, какие занятные совпадения! Что ж, не все коту масленица. За светлой полосой следует темная.

Синькин, по натуре оптимист, просыпается на следующее утро в веселом расположении духа. За окном тихо падает снег, мостовые побелели. Его подопечный, съев завтрак и почитав «Уолдена», ненадолго скрывается из виду и появляется вновь, уже в пальто. На часах начало девятого. Синькин быстро одевается – шляпа, пальто, шарф, теплые ботинки – и выскакивает на улицу почти одновременно с Черни. Утро до того безветренное, что слышно, как снег падает на ветки деревьев. Улица безлюдна, и на припорошенном тротуаре отчетливо видна цепочка свежих следов. Синькин сворачивает за угол и видит удаляющегося человека, который радуется чудной погоде. Видя, что никуда сбегать он не собирается, Синькин сбавляет шаг. Пройдя два квартала, Черни вхо-

дит в бакалейную лавку и минут через десять выходит с двумя увесистыми бумажными пакетами. Не заметив Синькина, стоящего в дверях напротив, он поворачивает обратно. Запасается продуктами на случай заносов, мысленно отмечает Синькин и решает тоже заглянуть в лавку, рискуя при этом потерять своего подопечного. Конечно, тот может, свернув за угол, бросить пакеты и дать деру, но на ловушку это не похоже. Черни явно идет домой. Купив кое-какую еду, свежие газеты и журналы, Синькин возвращается на Оранж-стрит. Как и следовало ожидать, Черни уже сидит за столом у окна и что-то пишет в своей тетради.

Из-за плохой видимости (снегопад усиливается) Синькин с трудом понимает, что творится в квартире напротив, и даже бинокль ему не помощник. Сквозь тьму и метель слабо различается силуэт в оконном проеме. Приготовившись к долгому ожиданию, Синькин погружается в чтение. Большой поклонник «Хорошего детектива», он старается не пропускать ни одного выпуска. Он прочитывает ежемесячный журнал от корки до корки, даже рекламу и коротенькие сообщения на последних страницах, благо время позволяет. Среди – материалов о бандитах и секретных агентах одна статья привлекает особое внимание Синькина, и даже после того, как журнал отложен, она не выходит у него из головы. Двадцать пять лет назад в рощице под Филадельфией был обнаружен труп маленького мальчика. Несмотря на все старания полиции, никаких зацепок и тем более подозреваемых в де-

ле так и не появилось. Даже труп не опознали. Кто он, откуда, как здесь оказался – все эти вопросы остались без ответа. Активный розыск был в конце концов приостановлен, и если б не усилия коронера, делавшего вскрытие, дело похоронили бы. Этому человеку по фамилии Золотое загадочное убийство не давало покоя. Перед тем как тело мальчика было предано земле, он сделал посмертную маску. Каждую свободную минуту он занимался расследованием этой тайны. Через двадцать лет он вышел на пенсию и получил возможность посвятить ей все свое время. Но от всего этого было мало проку. Он ни на шаг не приблизился к разгадке преступления. И вот сейчас он предлагает вознаграждение в две тысячи долларов тому, кто сообщит любую информацию об убитом. К статье приложена неважного качества, подретушированная фотография мужчины, держащего в руках посмертную маску. В его глазах столько муки и мольбы, что Синькин не в силах отвести взгляда. Будучи уже сильно пожилым человеком, Золотов боится умереть, не раскрыв преступления. Синькин тронут до глубины души. Будь его воля, он бросил бы текущее дело и предложил свою помощь. Ведь таких людей, как Золотов, – раз-два и обчелся. Если бы мальчик был его сыном, тогда другое дело: мотив возмездия, все просто и понятно. Но совершенно посторонний человек?.. Никакой личной заинтересованности?.. Синькин потрясен. Золотов отказывается принять мир, в котором де-тоубийца не несет наказания, даже если он уже на том све-

те, и готов пожертвовать своей жизнью, чтобы исправить такое положение. Думая о мальчике, Синькин пытается себе представить, как все было и что испытывал погибший, и тут его осеняет, что убить его могли только сами родители или один из них, в противном случае они бы заявили в полицию об исчезновении ребенка. От этой мысли Синькину становится еще хуже, и, с горечью размышляя о том, что должен был все это время испытывать Золотов, он вдруг осознает, что двадцать пять лет назад сам был подростком и если бы мальчик не погиб, то был бы сегодня его, Синькина, ровесником. Это могло произойти со мной, говорит он себе. Я мог оказаться на его месте. Не придумав ничего лучше, он вырезает из журнала фотографию и прищипливает на стене над кроватью.

Так проходят дни. Один наблюдает. Другой, явно не догадываясь, что находится под наблюдением, пишет, читает, ест, иногда выходит на прогулку. Ничего существенного. Синькин старается этим себя не грузить. Видимо, Черни временно лег на дно и ждет Подходящего момента для активных действий. Но к чему тогда эта постоянная слезка? В конце концов, невозможно держать человека в поле своего зрения двадцать четыре часа в сутки! Иногда приходится отвлекаться на еду, на сон и проч. Если бы потребовалось круглосуточное наблюдение, Велик отрядил бы двух-трех агентов. А выполнить такую работу в одиночку никому не под силу.

Несмотря на все эти резоны, Синькина одолевает беспо-

койство. Слежка есть слежка. Объект нельзя упускать из виду ни на минуту, иначе какое же это постоянное наблюдение? В любой миг ситуация может измениться. Секундная утрата бдительности – и объект совершил свой чудовищный акт. А ведь таких мгновений каждый день – сотни, тысячи! Положение тревожное, тем более что выхода из него не видно. И это не единственное, что тревожит Синькина.

Он человек поступка, и это вынужденное безделье выбило его из колеи. Впервые в жизни предоставленный самому себе, он не знает, за что ухватиться, дни сливаются в один серый поток. Он всегда подозревал о существовании внутреннего мира, но для него это нехоженые тропы, темный лес. Сколько Синькин себя помнил, он всегда скользил по поверхности, мысленно фиксировал предмет, так сказать, оценивал его – и тут же переходил к следующему. Он просто получал удовольствие от окружающего мира, не задавая лишних вопросов: каков есть, таков есть. До сих пор все предметы, четко очерченные под ярким солнцем, недвусмысленно говорили «вот мы такие», каждый был самим собой, и ничем другим, так что ему не было нужды особенно его разглядывать. Сейчас, когда внешний мир, по сути, свелся к призрачной тени по имени Черни, он впервые задумывается о вещах доселе неведомых, и это тоже вызывает у него беспокойство. Хотя «задумывается» – это, пожалуй, перебор; точнее будет сказать – «спекулирует», в изначальном смысле этого слова, от латинского *speculatus* — «наблюдаемый». Шпионя за че-

ловеком в доме напротив, Синькин как будто смотрит в зеркало, в котором видит не только Черни, но и себя. Жизнь замедлилась до такой степени, что вдруг открылись вещи, прежде ускользавшие от его внимания. Траектория светового луча, блуждающего по комнате. Отблеск снега на потолке. Стук сердца. Шум дыхания. Движение ресниц. Эти мелочи автоматически фиксируются в его сознании, и, как бы Синькин ни старался игнорировать их, они все равно остаются в памяти, как какая-нибудь абсурдная, многократно повторенная фраза. Проще всего от нее отмахнуться, но понемногу в ней начинает открываться какой-то смысл. У Синькина рождаются неожиданные гипотезы – по поводу Черни, по поводу Велика и порученного ему задания. Помимо того, что эти фантазии помогают скоротать время, они еще доставляют ему удовольствие. Можно предположить, что Велик и Черни – братья и что на кону стоят большие деньги, к примеру наследство или совместный капитал, вложенный в общее дело. И вот Велик хочет доказать недееспособность Черни и упрятать его в психушку, чтобы прибрать к рукам семейный бизнес, а тот, смекнув, чем пахнет, решил скрыться до лучших времен. По другой гипотезе, они соперничают в некой области – скажем, научные исследования, – и Велик устанавливает наблюдение за конкурентом, дабы тот не обошел его на повороте. Еще вариант: Велик, уволенный агент ФБР или какой-то шпионской организации, возможно иностранной, затеял собственное расследование, не санкциони-

рованное начальством. Перепоручая дело Синькину, он сохраняет в тайне свое участие в слежке и продолжает спокойно заниматься своими делами. Перечень историй удлиняется с каждым днем. Иногда Синькин возвращается к более ранней гипотезе, чтобы добавить каких-то красок и деталей, или же выстраивает совершенно новые версии: заговор с целью убийства... похищение с последующим выкупом... Чем дальше, тем очевиднее: нет предела для фантазий. Ведь кто такой Черни? Пустота, зияющая дыра, и заполнить ее можно какой угодно историей.

Синькин не любитель переливать из пустого в порожнее. Его интересует подлинная история Черни. Но ясно, что на ранней стадии требуется терпение. Продвигаться надо маленькими шажками. И, с каждым днем чувствуя себя все увереннее, он настраивается на длинную дистанцию.

К сожалению, его душевный покой то и дело нарушают мысли о будущей миссис Синькиной. Чем сильнее он по ней скучает, тем больше ему кажется, что их идиллии пришел конец. Объяснить это интуитивное ощущение он не может. В целом его устраивает все, что касается Черни и самого задания, но стоит ему задуматься о будущей миссис Синькиной, как его охватывает паника. В один момент от бывшего спокойствия не остается и следа. Ощущение такое, будто он проваливается в бездонную черную яму, из которой уже не выбраться. Каждый день он говорит себе: сними трубку, позвони, ее голос развеет мрачные предчувствия. Но время

идет, а воз и ныне там, и это тоже предмет для беспокойства. Когда с ним такое было? Он не может сделать того, что ему самому хочется! Со мной что-то происходит, констатирует он. Я на себя не похож. Это рассуждение его немного успокаивает, по крайней мере поначалу, чтобы затем еще больше напрячь. По ночам, лежа на спине с открытыми глазами, он мысленно, снизу вверх, реконструирует по частям будущую миссис Синькину: ступни и щиколотки, коленки и ляжки, живот и грудь – и, счастливо поблуждав по этим шелковистым лугам, снова спускается к ягодицам, взбирается по спине и, изогнувшись, к округлому улыбающемуся лицу. Чем она сейчас занимается? – спрашивает он себя. И что она думает обо всей этой ситуации? Ответа нет. Если в случае с Черни он, гордый на выдумки, умело подгоняет их под имеющиеся факты, то применительно к будущей миссис Синькиной все запутанно и неопределенно. Пришло время первого отчета. Синькин по этой части дока, и сочинить такую бумагу для него не проблема. Его принципы: держаться фактов; описывать события так, чтобы никто не усомнился в точности описания; ничего лишнего, только суть дела. Слова для него прозрачны, такие большие окна в окружающий мир. Иногда на стекле появляется мутное пятно, но стоит его протереть, подыскать нужное слово, и стекло обретает свой первоначальный вид. Опираясь на записи в тетради, чтобы освежить в памяти детали и выделить то или иное наблюдение, он рисует связную картину: главное расцветива-

ет, второстепенное опускает. Во всех отчетах, которые ему доводилось до сих пор писать, на первом плане всегда было действие. Например: «Объект проследовал от площади Колумба до Карнеги-Холла». Никаких ссылок на погоду или транспортную ситуацию, никаких попыток проникнуть в ход мыслей подопечного. Отчет ограничивается известными и проверяемыми фактами и за эти пределы не выходит.

Однако в данном случае проблема налицо. К огорчению Синькина, записи в тетради чрезвычайно скудны значимыми подробностями. Слова, вместо того чтобы выявить факты и, так сказать, утвердить их в своей весомости, на этот раз будто заставили их исчезнуть. Такого с Синькиным еще не бывало. Он поднимает глаза, чтобы проверить, что происходит в квартире напротив: его визави, как всегда, на посту, за письменным столом, тоже смотрит в окно. И Синькин вдруг понимает: старые подходы здесь не сработают. Улики, преследование жертвы, навыки сыскаря – все это ничего не даст. А что даст? А бог его знает! На данный момент более или менее понятно, на что это дело *не* похоже; а вот на что оно похоже, у Синькина нет даже отдаленного представления.

Синькин ставит на стол пишущую машинку и пытается собраться с мыслями. А что, если для пущей убедительности включить в отчет различные версии по поводу Черни, которые он сочинил на досуге? При скудости фактического материала эти экскурсии в мир фантазии придадут сухой сводке некоторую пикантность. Но, сознавая, что его домыслы,

в сущности, не имеют никакого отношения к объекту, Синькин тут же себя пресекает. Это не биография, резонно заключает он. Я пишу о нем, а не о себе.

Тем не менее искушение остается, и Синькину приходится бороться с собой, чтобы его преодолеть. Он возвращается к исходной позиции и медленно, шаг за шагом, восстанавливает картину истекшей недели. Решено, он сделает то, чего от него ждут! Со всей тщательностью он составляет классический отчет, препарировав каждую подробность с такой маниакальной скрупулезностью, что процесс растягивается на много часов. Перечитав текст, он убеждается: все точно. Тогда откуда это недовольство собой и внутреннее беспокойство по поводу написанного? Он вынужден признать: то, что на первый взгляд имело место, не передает сути происходящего. Впервые в своей практике он сталкивается с тем, что слова не работают: вместо того чтобы раскрыть что-то, они лишь напускают туману. Синькин оглядывается вокруг, фиксируя внимание на различных предметах. Он говорит вслух: Это лампа... это кровать... это тетрадь. Не называть же лампу кроватью, а кровать лампой! Слова, как перчатки, сшиты по мерке вещей, которые они обозначают, и это доставляет Синькину огромную радость: он как будто заново доказывает существование мира. Тогда он переводит взгляд на окно напротив. Оно темно. Черни спит. Вот в чем загвоздка, говорит себе Синькин в поисках точки опоры. Он там, но я его не вижу. А когда вижу, кажется, что выключен свет.

Он запечатывает отчет, выходит на улицу и бросает конверт в почтовый ящик на углу. Да, наверно, я не самый проныцательный человек, думает он про себя, но я делаю все, что в моих силах. И для пущей убедительности повторяет: я делаю все, что в моих силах.

На глазах меняется погода, тает снег. Утром Синькина будут яркое солнце и веселый щебет воробьев.

Слышно, как с деревьев и карнизов стекает вода. Запахло весной. Еще две-три недели, и снег сойдет.

По этому случаю Черни совершает дальнюю прогулку, а сыщик не без удовольствия составляет ему компанию. Синькин рад возможности немного размяться, и, следуя по пятам за своим подопечным, он надеется разогнать застоявшуюся от долгого сидения кровь. Как нетрудно предположить, он всегда был заядлым ходяком, и сейчас, пружинисто отталкиваясь от асфальта и вдыхая полной грудью свежий воздух, он испытывает подлинное счастье. Их маршрут пролегает по узким улочкам Бруклин-Хайтс. Черни все больше удаляется от дома, что не может не радовать сыщика. Но вскоре его приподнятое настроение улетучивается. Объект начинает подниматься по лестнице на Бруклинский мост... не иначе как хочет броситься вниз! Не он первый, не он последний. Через пару минут посмотрит сверху на этот прекрасный мир и сиганет в воду, костей не соберешь. От одной этой Мысли становится жутковато, но Синькин начеку. Если ситуация станет критической, он вмешается как обычный прохожий.

Смерть Черни ему не нужна – сейчас, во всяком случае.

Синькин сто лет не пересекал пешком Бруклинский мост. Последний раз он ходил здесь подростком, вместе с отцом, и его вдруг настигают воспоминания. Они идут, держась за руки, а под ними по стальному полотну несутся машины, и он говорит отцу: Слышишь? Как будто растревожили огромный улей! Слева – статуя Свободы, справа – Манхэттен. Высоченные небоскребы кажутся фантомами. Отец, ходячая энциклопедия, рассказывает ему истории про то и это с нескончаемыми подробностями: архитекторы, даты, политические интриги. Оказывается, Бруклинский мост одно время был самым высоким сооружением во всей Америке. Старик родился в тот самый год, когда закончилось строительство моста, и в голове мальчика эти два события неразрывно соединились, как будто мост воздвигли в честь отца. Они шли тогда все по тому же дощатому настилу, и Синькин-старший поведал сыну трагическую историю о Джоне Реблинге, проектировщике моста, – историю, которую младший Синькин запомнил на всю жизнь. Чуть ли не на следующий день после того, как Реблинг закончил чертежи, при посадке на паром его нога угодила между пристанью и бортом. Меньше чем через три недели он умер от гангрены. Этой смерти, по словам Синькина-старшего, можно было избежать, если бы не упрямство Реблинга, не соглашавшегося ни на какое другое лечение, кроме совершенно бесполезной гидротерапии. У Синькина-младшего это не укладывалось в голове: чело-

век, соорудивший мосты через реки, дабы снасти других от водной стихии, свято верил, что именно вода является панацеей от болезней. После безвременной кончины Джона Реблинга главным инженером проекта стал его сын Вашингтон, и с ним была связана другая любопытная история. На тот момент ему был всего тридцать один год, и, хотя серьезно-го опыта он не имел (не считать же таковым деревянные мосты, спроектированные им в период Гражданской войны), он показал себя еще более блестящим архитектором, чем его отец. Вскоре после начала строительства Бруклинского моста случился пожар, и Вашингтон на несколько часов оказался запертым в одной из подводных камер, откуда вышел с тяжелой кессонной болезнью. Чудом выжив, он остался инвалидом и уже никогда не покидал пределы комнаты на верхнем этаже дома в Бруклин-Хайтс, где он поселился со своей женой.

В течение многих лет Вашингтон Реблинг часами просиживал у окна, следя в подзорную трубу за ходом строительства. Каждое утро он посылал жену с инструкциями и подробными цветными чертежами для иностранных рабочих, не знавших английского. Бруклинский мост уже существовал в его голове, весь до последнего болтика, а к концу строительства, пускай ему и не суждено было ступить ногой на это чудо, мост крепко врос в него своими опорами.

Идя по Бруклинскому мосту через Гудзон, на почтительном расстоянии от Черни, Синькин вспоминает отца и свое

детство. Старик был полицейским, прежде чем стать детективом в 77-м участке. Все складывалось для него хорошо – во всяком случае, до «дела Руссо» в двадцать седьмом, когда ему в голову вогнали пулю. С тех пор миновало двадцать лет. Синькин внутренне содрогается: как бежит время... Интересно, есть ли загробная жизнь, и если да, то встретится ли он там с отцом? Среди огромного количества журналов, прочитанных им за неделю, в одном, «Нарочно не придумаешь», был документальный рассказ, перекликающийся с его нынешними мыслями. Двадцать или двадцать пять лет назад во Французских Альпах пропал горнолыжник, видимо накрытый снежной лавиной. Тело его так и не нашли. Его маленький сын вырос и тоже встал на горные лыжи. Год тому назад он поехал кататься в места, где погиб его отец, о чем он даже не подозревал. Из-за постоянных смещений ледовых масс местный ландшафт за эти два с лишним десятилетия изменился до неузнаваемости. И вот высоко в горах, катаясь в гордом одиночестве, молодой человек наткнулся на труп мужчины, который сохранился в глыбе льда как живой. Парень нагнулся, чтобы получше его рассмотреть, и к ужасу своему увидел... себя. Дрожа от страха, он вгляделся, словно через толстое стекло, в знакомые черты, и всякие сомнения отпали: перед ним его родной отец, еще совсем молодой, моложе его. Оказаться лицом к лицу с отцом, который моложе тебя, – это так поразило воображение Синькина, что дочитывая рассказ, он с трудом сдерживал слезы. И

вот теперь, на мосту, снова нахлынуло. Кажется, все бы сейчас отдал, чтобы отец шел рядом и рассказывал свои истории! Я становлюсь сентиментальным, говорит себе Синькин. Странно, подобные мысли вроде никогда меня не посещали. Он даже испытывает чувство неловкости. Вот что происходит, когда не с кем словом перемолвиться.

Между тем мост остался позади, а значит, все опасения насчет Черни были ложными. О самоубийстве и головокружительных падениях в воду можно благополучно забыть. Объект, спустившись по лестнице вниз, все такой же веселый и беспечный, огибает Сити-Холл, поворачивает на север мимо суда и других муниципальных зданий, бодрым шагом проходит через Чайнатаун и, похоже, не думает останавливаться. Это шатание по городу продолжается уже не один час, и, при всем желании, обнаружить в нем некую цель Синькину не удастся. Объект просто наслаждается прогулкой, так сказать, проветривает легкие, и впервые за неделю детектив ловит себя на том, что испытывает к своему подопечному теплые чувства.

В какой-то момент Черни решает заглянуть в книжный магазин, и сыщик заходит за ним следом. Около получаса объект листает разные тома и отбирает несколько заинтересовавших его книг. От нечего делать Синькин тоже листает что попало, стараясь при этом не попадаться на глаза объекту. Поглядывая исподтишка за своим подопечным, сыщик не может отрешиться от впечатления, что где-то он его раньше

видел, но где? Глаза кажутся ему знакомыми, но дальше дело не идет. Видел ли он его прежде – большой вопрос, бесспорно же одно: нельзя привлекать внимание к своей персоне.

Неожиданно Синькин наталкивается на томик Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» 1942 года издания в серии классики. Переворачивая страницы, он с удивлением обнаруживает, что издателя зовут Уолтер Черни. Это его озадачивает. Быть может, в этом совпадении кроется некий потаенный смысл и, если его разгадать, все повернется по-другому? Но, пораскинув мозгами, он отказывается от такого предположения. Все-таки Черни – достаточно распространенная фамилия, к тому же его подопечный не Уолтер. Может, издатель – его родственник или даже отец? С учетом последнего обстоятельства детектив решает купить книгу. Раз уж нельзя прочесть, что Черни пишет, хотя бы надо узнать, что тот читает. Шансы извлечь отсюда пользу, понятно, минимальны, и все же вдруг книжка подскажет ему, какие мысли бродят в голове этого человека?

Пока все хорошо. Черни оплачивает свои покупки, Синькин свою, и прогулка по городу продолжается. Сыщик ждет знака, какой-то зацепки, которая позволила бы пролить свет на тайну Черни. Но он слишком честен с самим собой, чтобы строить иллюзии, а из имеющихся в его распоряжении фактов шубы не сошьешь. Нельзя сказать, чтобы это его особенно напрягало. Наоборот, его это скорее радует. Приятно находиться в неведении, не знать, что будет дальше. Это дер-

жит тебя в тонусе, разве плохо? Не расслабляешься, ко всему готов, не ц дашь застигнуть себя врасплох.

Не успевает Синькин подумать об этом, как дело принимает новый оборот. Свернув за угол, Черни проходит полквартила, затем, помедлив, словно уточняя адрес, возвращается назад и входит в ресторан. Детектив не придает этому особого значения – время обеденное, почему бы не поесть, – но минутное колебание Черни может означать, что объект здесь впервые, а значит, не исключена вероятность назначенного свидания. Внутри царит полумрак. Посетителей довольно много, кое-кто сидит у барной стойки, слышен оживленный гомон и лязг приборов. Ресторан, похоже, дорогой – деревянные панели, белоснежные скатерти, – и детектив заранее решает умерить свои аппетиты. Удачно расположившись за свободным столиком, он может издали наблюдать за своим подопечным, при этом не бросаясь тому в глаза. Черни жестом просит у официанта два меню и тут же расплывается в улыбке, увидев приближающуюся женщину. Она целует его в щеку и садится напротив. А женщина ничего, комментирует про себя Синькин, малость худосочна на его вкус, а так ничего. Ну вот, думает он, сейчас начнется самое интересное.

К сожалению, дама сидит к нему спиной, поэтому ее реакция на слова собеседника ему не видна. Налегая на стейк, Синькин обдумывает ситуацию. Пожалуй, его первая гипотеза была правильная: это «семейное дело». Он уже прики-

дывает, что напишет в своем следующем отчете, и даже смакует отдельные выражения, которыми опишет увиденное. Появление второго лица неизбежно диктует принятие определенных решений. Например: следовать и дальше за объектом или переключиться на женщину? Последний вариант вроде бы обещает какие-то подвижки, но зато можно упустить Черни с концами.

Иными словами, надо быстро понять: встреча объекта с женщиной – это нечто серьезное или просто отвлекающий маневр? Имеет она отношение к делу или не имеет? Является существенным фактором или случайным? Коротко поразмыслив, Синькин решает, что пока рано делать выводы. Все может повернуться и так и этак.

В середине обеда за дальним столиком разыгрывается какая-то драма. Лицо Черни делается невыразимо печальным, а женщина начинает плакать. По крайней мере, об этом говорят косвенные признаки: плечи опущены, склоненное лицо уткнулось в ладони, спина мелко вздрагивает. Конечно, это может быть и приступ хохота, но тогда почему объект сидит как в воду опущенный? Это вид человека, у которого земля ушла из-под ног. Через минутку дама отворачивается от своего собеседника, и сыщик видит ее профиль: слезы, которые она вытирает салфеткой, полоску потекшей туши на щеке. Она резко встает и уходит, вероятно в дамскую комнату. Без помех разглядывая печальное, чтобы не сказать потерянное лицо Черни, сыщик испытывает к нему подобие жа-

лости. Подопечный вдруг встречается с ним глазами, но он явно ничего не видит перед собой, а в следующую секунду он закрывает лицо руками. Синькин пытается понять, что происходит. Похоже, между ними все кончено. Хотя как знать, может, это просто размолвка.

Женщина возвращается, приведя себя в порядок, и какое-то время они сидят молча, не притрагиваясь к еде. Черни вздыхает разок-другой, уставившись куда-то вдаль, а затем просит принести счет. Синькин тоже расплывается и выходит за ними из ресторана. Объект берет свою спутницу под локоть – что это, примирение или просто рефлекс?

Они молча доходят до угла. Объект останавливает такси, открывает дверцу и запечатлевает на щеке женщины легкий поцелуй. В ответ она бодро улыбается, но оба продолжают хранить молчание. Она садится на заднее сиденье, он захлопывает дверцу, такси отъезжает.

Ненадолго задержавшись перед витриной турагентства, где его заинтересовало изображение Белых гор, Черни, в свою очередь, ловит такси. По счастью, Синькину тут же удастся поймать машину. Он велит таксисту следовать за Черни и поудобнее откидывается в кресле. Они медленно ползут в потоке машин – по центральным улицам, через Бруклинский мост и наконец оказываются на Оранж-стрит. Синькин приходит в ужас от показаний счетчика и мысленно корит себя за то, что не последовал за женщиной. Можно было предположить, что его подопечный вернется домой.

Но уже через минуту на душе становится гораздо веселее: в почтовом ящике его ждет письмо. Это может означать только одно. Поднявшись к себе, он вскрывает конверт и обнаруживает квитанцию – почтовый перевод на оговоренную сумму. Приятная пунктуальность. Озадачивает разве что анонимность оплаты. Почему Велик не выписал персональный чек? Похоже, он действительно из бывших агентов, вот и замечает следы, стараясь не оставлять никаких документальных свидетельств. Сняв пальто и шляпу, Синькин растягивается на кровати. Он ловит себя на том, что несколько разочарован отсутствием реакции на его отчет. Разве его труд не заслужил хотя бы двух слов одобрения? Сам факт присылки денег говорит о том, что Велик им доволен. И все же от молчания, пусть даже красноречивого, мало проку. Что ж, значит, так тому и быть, ничего, привыкнем.

И снова бегут дни, серые в своем однообразии. Черни пишет, читает, ходит за покупками, навещает почту, иногда совершает небольшие прогулки. Женщина больше не появляется, и путешествий на Манхэттен он не предпринимает. Синькин готов к тому, что в любую минуту дело закроют. Объект с женщиной не встречается – стало быть, инцидент исчерпан? Ничего подобного. На подробнейшее описание сцены в ресторане Велик не отреагировал, и чеки продолжают приходить каждую неделю, как по часам. Вот тебе и любовный треугольник! Женщина явно не связана с «делом», то была ничего не значащая встреча...

В этот период Синькин пребывает в состоянии полной раздвоенности. В какие-то моменты между ним и Черни возникает полная гармония, они как один человек, и, чтобы предвосхитить действия своего подопечного, понять, останется ли тот дома или выйдет на улицу, ему достаточно заглянуть в себя. По целым дням он даже не смотрит в окно, а если, выглянув, видит, что Черни собрался на улицу, он со спокойным сердцем отпускает его восвояси. Больше того, он теперь позволяет себе прогулки в одиночестве, точно зная, что его подопечный не сойдет со своего насиженного места. Откуда такая уверенность, для него самого загадка, только не было случая, чтобы он ошибся, поэтому он без всяких колебаний и даже тени сомнения доверяется собственной интуиции. Хотя бывают и другие минуты. Время от времени ему кажется, что между ним и Черни пропасть, непреодолимая бездна, и в такие мгновения он теряет ощущение самого себя. Он заперт в клетке одиночества наедине с ужасом, которому нет названия. Эти быстрые переходы из одного состояния в другое сбивают бы с толку кого угодно, вот и он, постоянно впадая в крайности, перестает понимать, где истинное, а где ложное.

После череды особенно тоскливых дней, почувствовав острую тягу к общению, он пишет Желтовски подробное письмо, в котором излагает порученное ему дело и спрашивает совета. Выйдя на пенсию, Желтовски переехал во Флориду и там рыбачит с утра до вечера. Понимая, что расчи-

тывать на скорый ответ не приходится, Синькин тем не менее ждет письма от своего старшего товарища с нетерпением, граничащим с манией. Каждое утро за час до прихода почтальона он садится у окна, чтобы не пропустить момент, когда тот появится из-за угла. Все свои надежды он связывает с ответом Желтовски. Чего, собственно, он от него ждет, не вполне понятно. Синькин ни о чем его не спрашивал. Видимо, он рассчитывает услышать какие-то особенные слова, возвышенные, просветляющие, слова, которые вернут его в мир нормальных людей.

Письмо все не приходит, и разочарование сменяется болезненным, иррациональным отчаянием. Но даже оно меркнет в сравнении с ударом, полученным непосредственно от письма. Желтовски вообще никак не отреагировал на ситуацию. «Рад был получить от тебя весточку, – пишет он, – Приятно слышать, что ты при деле. Задание вроде интересное. Лично я по работе не скучаю. Здесь у меня есть все, что только можно пожелать: рыбалка, жена, книжка на досуге, послеобеденный сон на солнышке... что еще надо! Одного не могу понять: о чем я раньше думал?»

Письмо на нескольких страницах продолжается в том же духе, и ни слова по поводу озабоченности и душевных терзаний Синькина. Что это, как не предательство, ведь он считал Желтовски своим вторым отцом! Синькин чувствует себя раздавленным, опустошенным. Я один, подытоживает он, мне не на кого рассчитывать. Несколько часов он пребывает

в состоянии глубокого уныния и жалости к себе, даже мелькает мысль, а стоит ли дальше тянуть эту лямку. Но в конце концов ему удастся взять себя в руки. У Синькина есть характер, и он, может быть, меньше других подвержен депрессии, а если и случаются минуты, когда мир кажется ему омерзительной клоакой, кто первым бросит в него камень? К вечеру он уже способен взглянуть на ситуацию с позиций оптимиста. Пожалуй, это его главный талант: не впадать в отчаяние надолго. Может, оно и хорошо, решает он. Лучше выстоять в одиночку, чем полагаться на кого-то. Поразмыслив на эту тему, Синькин еще больше укрепляется в своем выводе. Он уже не ученик, для которого существуют непрекаемые авторитеты. Я сам себе голова, говорит он, и отчитываюсь только перед самим собой. Вдохновленный этим новым взглядом на жизнь, он наконец решает позвонить будущей миссис Синькиной. Он набирает ее номер, но никто не берет трубку. Он, конечно, разочарован, но не обескуражен. Что ж, попробует застать ее как-нибудь в другой раз.

Время идет. Синькин снова попадает в резонанс с Черни, пожалуй, даже более гармоничный, нежели прежде. Он открывает для себя неотъемлемый парадокс этой ситуации: чем теснее их внутренняя связь, тем меньше его мысли заняты Черни. Иными словами, чем сильнее он вовлечен, тем он свободнее. Кстати, это растворение в другом его не напрягает; наоборот, его больше волнуют моменты отчуждения. Именно в те дни, когда Черни по каким-то причинам от него

отдаляется, он вынужден сокращать расстояние между ними, а это требует времени и усилий, не говоря уже о душевной борьбе. Зато когда эта близость возникает, он, можно сказать, чувствует себя независимым человеком. Поначалу он позволяет себе немного, но и это уже своего рода победа, если хотите, акт смелости. Например, короткие одиночные прогулки. Вроде бы малость, но какое же это счастье! Прохаживаясь взад-вперед по Оранж-стрит в прекрасный весенний день, он испытывает давно забытую полноту жизни. В одном конце – река, гавань, мосты, небоскребы Манхэттена. Иногда он позволяет себе присесть на скамейку и полюбоваться на снующие по реке кораблики. В другом конце – церковь с уютным зеленым двориком и бронзовой статуей Генри Уорда Бичера, чьи ноги обнимают два раба, словно умоляя дать им свободу. А сзади на стене – фарфоровый барельеф Авраама Линкольна. Есть во всем этом что-то одухотворенное. Всякий раз при взгляде на эти лица Синькина посещают высокие мысли о достоинстве человека. Мало-помалу он делается смелее в своих вылазках. На дворе сорок седьмой год, «Доджеры» на коне, ведомые своим черным лидером Джеки Робинсоном, и детектив внимательно следит за его игрой, понимая, после созерцания скульптурной группы в церковном дворе, что это нечто большее, чем просто бейсбол. Однажды погожим майским днем Синькин решает съездить на стадион «Эббетс-Филд». Он спокойно оставляет подопечного за письменным столом, будучи уверен, что по возвраще-

нии застанет его там же. Он едет в переполненном метро, чтобы потом смешаться с толпой болельщиков в предвосхищении большой игры. Заняв место на трибуне, он отмечает про себя сочность окружающих цветов: зеленая трава, коричневое поле, белый мяч, голубое небо. Какая контрастность, какая геометрическая простота дизайна, какая мощь! Наблюдая за игрой, Синькин не в силах отвести глаз от темнокожего Робинсона. Какая же нужна отвага этому одиночке, чтобы делать свое дело на глазах у огромной толпы, половина которой наверняка хотела бы видеть его покойником! Синькин непроизвольно встречает каждый удачный маневр черного атлета одобрительными криками. Когда тот первым прибегает на базу в третьем иннинге, он вскакивает на ноги, а в седьмом, когда Робинсон успевает добежать до второй базы после отскока мяча от левой стены, он от радости хлопает по спине своего соседа. «Доджеры» вытягивают матч в девятом иннинге, после того как баттер делает самоубийственную свечу, и, покидая стадион вместе с разгоряченной толпой, Синькин ловит себя на том, что за все это время он ни разу даже не вспомнил про Черни.

Дальше – больше. Вечерами, когда сыщик чувствует, что можно оставить подопечного без присмотра, он выбирается в соседний паб с барменом по фамилии Краснофф, до жути похожим на своего коллегу Зеленина, бывшего Серова, фигуранта давнишнего «дела о пропавшем муже». Там частенько сиживает популярная шлюшка Фиолетта с нарумяненны-

ми щеками, и пару раз, напоив барышню, Синькин приводит ее на казенную квартиру. Определенно он ей нравится, поскольку она не берет с него денег, но это, конечно, не любовь. Она называет его «солнышком», и тело у нее большое и мягкое, одна беда: стоит ей немного перебрать, как она начинает рыдать, и приходится ее успокаивать, так что Синькин уже втайне подумывает, стоит ли овчинка выделки. Особой вины перед будущей миссис Синькиной он не испытывает, а в оправдание своей интрижки сравнивает себя с солдатом на войне. Мужчине, который каждый день рискует головой, требуется маленькое утешение. И вообще, он же не каменный.

Но если уж на то пошло, бару Синькин предпочитает киношку в нескольких кварталах от дома. С наступлением летней жары приятно после душегубки, в которую после полудня превращается его тесная комнатенка, посидеть в прохладном зрительном зале. Кино привлекает Синькина не только занимательными историями и красивыми актрисами, он еще любит эту темноту и то, что экранные картинки напоминают мелькающие под зажмуренными веками образы. По большому счету ему безразлично, что смотреть, комедию или драму, черно-белый фильм или цветной, но по понятным причинам он питает слабость к детективному жанру, и эти сюжеты его особенно захватывают. Ему удалось посмотреть несколько таких фильмов: «Женщина в озере», «Падший ангел», «Темный переход», «Тело и душа», «Прокатим-

ся на розовой лошадке», «Отчаявшийся» и тому подобное. Но один из них произвел на него такое впечатление, что на следующий день он пришел посмотреть его еще раз.

Картина называется «Из прошлого». Роберт Митчум, бывший детектив, желает начать новую жизнь под вымышленным именем в маленьком захолустном городке. Он купил автозаправку, там ему помогает глухонемой парнишка Джимми, а живет с ним симпатичная деревенская девушка Энн. Но его настигает прошлое, от которого нет спасения. Много лет назад ему, частному детективу, – поручили найти некую Джейн Грир, любовницу гангстера Керка Дугласа, но он перевыполнил задание, у него с Джейн начался роман, и они, бежав, поселились в укромном месте. После разных драматических событий – кража денег, убийство – до Митчума наконец доходит, с кем он связался, и бывший детектив бросает свою пассию. И вот теперь, спустя годы, Дуглас и Грир шантажируют его, побуждая совершить преступление. На самом деле это подстава, на него хотят навесить чужое убийство, о чем ему становится известно. Разворачивается сложная игра, в которой Митчум делает все, чтобы выскокить из капкана. В какой-то момент он возвращается в свой захолустный городок – рассказать Энн, что он невиновен, и заверить ее в своей любви. Но уже ничего не исправишь, и он это понимает. Ближе к концу он убеждает Дугласа сдать Грир – это на ней висит убийство, – но тут она неожиданно появляется и, спокойно вытащив пистолет, укладывает

Дугласа на месте. Она убеждает Митчума, что они созданы друг для друга, и он, кажется, согласен с этим. Они решают покинуть страну, но, пока Грир собирает вещи, Митчум звонит в полицию. Они уезжают, но дорога уже перекрыта. Поняв, что ее переиграли, Грир разряжает пистолет в Митчума, а затем сама погибает в перестрелке с полицейскими. Последняя сцена разворачивается на следующее утро в захолустном Бриджпорте. На скамейке перед автозаправкой сидит глухонемой парнишка. Появляется Энн и садится рядом. Скажи мне одну вещь, Джимми, обращается она к мальчику, я должна знать: он ударился в бега вместе с ней? Парнишке надо сделать трудный выбор между правдой и состраданием. Что важнее: сохранить верность своему другу и патрону или пощадить чувства девушки? Все это происходит в считанные секунды. Глядя девушке в глаза, он кивает головой, словно говоря: да, он любил Грир. Энн, похлопав мальчика по руке, благодарит его за откровенность, теперь она готова вернуться к своему прежнему бойфренду, местному полицейскому, простому и прямолинейному парню, который откровенно презирал Митчума. А Джимми, отсалютовав автозаправке, на которой значится имя патрона, уходит прочь — единственный, кто знает всю правду, но никому ее не скажет.

Синькин снова и снова мысленно возвращается к этой истории. Хорошо, что картина так заканчивается. Тайна похоронена вместе с Митчумом, и даже после смерти его репутация останется незапятнанной. Он ведь хотел такой малости:

поселиться в неприметном городке, жениться на обыкновенной девушке и зажить себе тихо и мирно. Кстати, вымышленное имя Митчума – Джефф Бейли – напомнило Синькину персонаж другого фильма, который он смотрел год назад вместе с будущей миссис Синькиной, – Джорджа Бейли в картине «Жизнь прекрасна». Тоже история про жизнь в маленьком американском городке, но с противоположным посылом: терзания человека, не чающего выбраться из провинциальной дыры. И все же к нему приходит понимание того, что жизнь прожита не зря и что он все делал правильно. Джефф Бейли, в некотором смысле, оказался на месте Джорджа Бейли, и псевдоним не помог, да и не мог помочь, поскольку нельзя выпрыгнуть из собственной шкуры. Если уж ты меченый, то прошлого не отменишь. То, что случилось однажды, будет преследовать тебя вновь и вновь. Причина приведет к следствию, и тут ничего не попишешь. Эти мысли преследуют Синькина. Для него они своего рода предупреждение, послание самому себе, и, как он ни старается отогнать эти мрачные мысли, они его не покидают.

Однажды Синькин решает наконец открыть «Уолдена». Давно пора. Книга оказывается крепким орешком. Он словно попал в другой мир. Продираясь через болота с зарослями ежевики, карабкаясь вверх по каменистым осыпям и предательским скалам, он кажется себе военнопленным на изнурительном марше, загнанным доходягой, мечтающим о побеге. Этот словесный поток нагоняет на него тоску, он не в

состоянии сосредоточиться. Дойдя до конца очередной главы, он понимает, что в голове ничего не осталось. Зачем надо удаляться от мира и жить отшельником в лесу? К чему выращивать бобы и отказываться от мяса и кофе? И эти бесконечные описания птиц, зачем они? Синькин ждал истории или нечто похожее на историю, а получил словоизвержение, разглагольствования обо всем и ни о чем.

Не будем судить его слишком строго. Кроме газет и журналов да еще приключенческих романов в детстве, он ведь ничего не читал. Эта книга не давалась людям с гораздо большим опытом и интеллектом. Эмерсон, не кто-нибудь, записан в своем дневнике, что Торо привел его в состояние тревоги и уныния. К чести Синькина, он не сдается и со второго захода как-то въезжает в текст. В третьей главе он натывается на фразу, которая многое ему объясняет: книги надо читать так же неторопливо и вдумчиво, как они писались. Вот и эту вещь надо распробовать не спеша, смакуя слова, а не пробегая их глазами, как он привык. В известной степени этот совет помогает ему уяснить некоторые моменты: пассаж про одежду в начале, описание битвы красных и черных муравьев, аргументацию против необходимости трудиться. И все же чтение дается Синькину тяжело, и, запоздало признавая, что этот Торо не так уж глуп, как кажется с первого взгляда, в душе он злится на Черни, который подверг его таким мучениям. Ему невдомек, что, если бы у него хватило терпения прочесть книгу так, как она того требует, это мог-

ло бы в корне изменить его жизнь, он бы понемногу прояснил для себя ситуацию, в которой оказался, – все связанное с Черни, Великом, с этим расследованием и непосредственно с ним, Синькиным. Но упущенные возможности, равно как использованные, составляют неотъемлемую часть нашей жизни, а рассказ не может вестись в сослагательном наклонении. С отвращением отбросив книгу, Синькин надевает пальто (на дворе уже осень) и выходит подышать свежим воздухом. О том, что это начало конца, он даже не догадывается. Вот-вот что-то должно случиться, и после этого обратного хода уже не будет.

Отправляясь пешком на Манхэттен, подальше от Черни, он надеется вымотаться физически и таким образом выпустить пар. Он движется на север, погруженный в свои мысли, не глядя по сторонам. На 26-й стрит он вынужден нагнуться, чтобы завязать шнурок на ботинке, и тут, можно сказать, небеса разверзлись. Прямо на него, держась обеими руками за локоть мужчины, которого он видит впервые в жизни, и вся светясь от слов своего спутника, идет – кто бы вы думали? – будущая миссис Синькина! Замешательство сыщика столь велико, что он не знает, то ли ему еще ниже пригнуть голову, то ли, наоборот, встать во весь рост и поздороваться с той, кто уже наверняка (так с треском захлопывают перед тобой дверь) никогда не станет его женой. В результате, не сделав ни того, ни другого, он опускает голову и тут же поднимает, чтобы его узнали, но, видя, что она увлечена разго-

вором, он вырастает перед самым ее носом, как черт из табакерки. Бедняжка вскрикивает от неожиданности, но узнает его только после того, как он обращается к ней по имени глухим, каким-то чужим голосом. Женщина застывает, но первоначальный шок быстро сменяется приступом ярости.

– Ты! Ты! – только и может выдавить она из себя.

Прежде чем он успевает открыть рот, она начинает молотить его кулаками в грудь, выкрикивая, как помешанная, обвинения, одно страшнее другого. Он же просто повторяет ее имя, словно заклинание, призванное отделить ту, которую он любит, от этой обезумевшей, готовой его убить фурии. Ощущая свою полную беспомощность, он даже радуется этому граду ударов, воспринимая их как справедливое возмездие за свои прегрешения. Когда в дело вмешивается ее спутник, у Синькина мелькает мысль, что не худо бы ему врезать, но, пока он раскачивается, мужчина уводит несостоявшуюся миссис Синькину прочь, всю в слезах, и этим все кончается.

Эта короткая уличная сцена перевернула его душу. Придя в себя, он поворачивает домой с ощущением, что выбросил свою жизнь на помойку. Его бывшая пассия не виновата. Он бы и рад навесить на нее какое-нибудь обвинение, да не получается. Столько времени не давать о себе знать... она могла решить, будто с ним случилось самое страшное, а ей хочется жить, что на это скажешь? У Синькина на глаза наворачиваются слезы, но это не печаль, а злость – он зол на себя за собственную глупость. В его руках был билетик под

названием «счастье», и он его потерял, – это ли не начало конца!

По возвращении домой Синькин ложится поверх одеяла, чтобы еще раз проанализировать ситуацию. В какой-то момент он поворачивается к стене, и взгляд его падает на фотографию Золотова, коронера из Филадельфии. Он размышляет о давящей пустоте нераскрытого дела, о маленьком трупе в безымянной могиле, о Черни. Нельзя ли все же подобраться к нему, не выдав себя при этом? Должен ведь существовать какой-то план, может, даже не один. Хватит прохлаждаться, пора переходить к активным действиям.

Послезавтра надо отправлять очередной отчет, и он решает заняться им прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. В последние месяцы его отчеты напоминали своего рода шифровку – один-два абзаца, голые факты. Не отступая от этого принципа, на этот раз, однако, он делает в конце туманную приписку, такой пробный шар в расчете получить от Велика хоть какой-то отклик: «Кажется, Черни серьезно болен. Возможно, он умирает». Заклеивая конверт, он говорит себе: все еще только начинается...

Спустя два дня Синькин с утра пораньше отправляется на Бруклинский почтамт, настоящий замок, откуда хорошо виден Манхэттенский мост. Все свои отчеты он отправляет на абонентный ящик 1001, и сейчас, словно невзначай пройдя мимо, он незаметно заглядывает в прорезь. В тесном ящике под наклоном в сорок пять градусов лежит белый конверт.

Сомневаться не приходится, это его письмо. Кружа по залу, он поглядывает на ряды пронумерованных, хранящих свои секреты под индивидуальным шифром ящиков, твердо рассчитывая дождаться Велика либо его посланца. Люди приходят и уходят, открывают и закрывают свои ящики, а Синькин продолжает наматывать круги, делая время от времени короткие остановки. Все вокруг выдержано в желто-коричневой гамме, как будто осень со своими красками заполонила помещение. Приятно пахнет сигарным дымом. Так проходит несколько часов. Он проголодался, но упорно игнорирует требования желудка, говоря себе: сейчас или никогда. Всякого, кто оказывается в непосредственной близости от ящика 1001, он изучает с пристрастием, прекрасно понимая, что, помимо самого Велика, за корреспонденцией может прийти кто угодно – пожилая женщина, подросток, – а значит, никого нельзя сбрасывать со счетов. Но его версии мало чего стоят, так как к ящику никто не подходит. И после наспех сочиненных историй про потенциальных посланцев, их вероятную связь с Великом и/или Черни, их роль в этом деле и т. д. и т. п. один за другим все кандидатуры отпадают, уходят туда, откуда пришли.

Сразу после полудня, когда на почте становится тесновато, – пользуясь обеденным перерывом, люди спешат отправить письма, купить марки, да мало ли что, – в зал входит мужчина в маске. Сей факт поначалу остается незамеченным, так как аноним смешивается с толпой, но стоит ему

очутиться неподалеку от абонентных ящиков, как Синькин делает стойку. В таких резиновых масках, изображающих монстров с рассеченным лбом, сочащимися кровью глазницами и жуткими клыками, разгуливают дети на Хэллоуин. В остальном мужчина ничем не отличается от других посетителей (серое твидовое пальто, красный шарф, обмотанный вокруг шеи), и у сыщика создается впечатление, что под маской скрывается не кто иной, как Велик. Это впечатление лишь усиливается, когда аноним оказывается в непосредственной близости от заветного ящика. А вдруг это плод расстроенного воображения? Может, один я вижу его, думает сыщик, и больше никто? Но нет, люди начинают смеяться и показывать пальцем на человека в маске. К лучшему это или к худшему, пока сказать трудно. Мужчина подходит к № 1001 и, повертев колесики шифра, открывает ящик. Так вот кого он так долго дожидался! Синькин направляется к анониму, еще не зная, что собирается предпринять, – скорее всего, сорвет с него маску. Но мужчина начеку: спрятав конверт в карман и закрыв ящик, он быстро озирается вокруг и, заметив Синькина, бросается к дверям. Сыщик – за ним, но у выхода форменная давка, и, пока ему удастся протиснуться наружу, человек в маске, перемахнув через десяток ступенек, припускает по улице во весь дух. Синькин кидается следом и даже, кажется, начинает нагонять мужчину, но на углу тот успевает вспрыгнуть на подножку отъезжающего автобуса, и сыщик остается с носом, тяжело дыша и ощущая

себя круглым идиотом в глазах множества зевак.

Через два дня приходит чек, к нему приложена коротенькая записка: «Давайте без глупостей». Не бог весть что, но Синькин рад и этой малости: наконец ему удалось пробить брешь в стене молчания, которой окружил себя Велик. Только вот непонятно, относятся эти слова к его последнему отчету или к инциденту на почтамте. В сущности, решает он, разницы никакой. В любом случае главное – действовать. Вносить, по возможности, сумятицу в привычный ход вещей, подкапывать гнилой фундамент под всем этим нагромождением загадок, пока искусно выстроенное здание не зашатается, чтобы в конце концов рухнуть, обратиться в пыль.

Синькин еще несколько раз приходит на почтамт в надежде увидеть там Велика, но все напрасно. Либо ящик уже пуст, либо никто не является за отчетом. Абонентский зал открыт двадцать четыре часа в сутки, а это значит, что шансов у Синькина, прямо скажем, не много. Второй раз «маска» в ловушку не угодит. Ей надо лишь дожидаться, когда детектив уйдет. Не станет же он торчать в зале сутки напролет! Одним словом, Велика ему больше не подловить...

В целом же картина гораздо сложнее, чем он себе представляет. Почти год Синькин пребывал в убеждении, что он свободный человек. Хорошо ли, плохо ли делал свое дело, изучал Черни, оптимистично смотрел вперед в надежде на прорыв и ни разу за все время не задумался о тылах. Теперь же, после случая с человеком в маске и возникших ослож-

нений, он не знает, что и думать. Кто поручится, что за ним самим не следят, что его не пасут точно так же, как он пасет Черни? Но если так, то он не свободен. С самого начала его окружили со всех сторон. По странному совпадению эта ситуация заставляет его вспомнить «Уолдена», и он листает свою тетрадь в поисках записанных цитат. «Мы большей частью находимся не там, где мы есть, но в ложном положении, – читает он. – Таково несовершенство нашей природы, что мы выдумываем положение и ставим себя в него и оказываемся, таким образом, в двух положениях сразу, так что выпутаться из них трудно вдвойне». С этим трудно не согласиться, и, хотя Синькину становится немного страшно, он уговаривает себя, что, может, еще не поздно соскочить с подножки.

Проблема в том, чтобы уяснить суть проблемы как таковой. Для начала, кто представляет для него большую угрозу, Велик или Черни? Если разобраться, Велик выполнил условия договора, чеки приходили регулярно, каждую неделю, поэтому ополчиться против него означало бы укубить руку, которая тебя кормит. А с другой стороны, именно Велик заварил эту кашу – фактически запер в четырех стенах и погасил свет. С тех пор он, Синькин, блуждает в темноте, ошупью ища выключатель, жертва собственного расследования. С виду вроде все нормально, одно непонятно: зачем это Белику? И тут мозг Синькина отказывается соображать. Этот простой вопрос ставит его в тупик.

Теперь Черни. До настоящего момента он был порученным ему «делом», источником всех его бед. Но если истинная цель Велика – расправиться с ним, Синькиным, а вовсе не с Черни, тогда, возможно, последний ни при чем, невинная жертва. В этом случае ситуацию нетрудно представить себе как зеркальную: Черни выступает в роли наблюдающего, а он, Синькин, в роли наблюдаемого. А что, очень может быть. Возможен и другой вариант: Черни с Великом одна шайка, и они сговорились его прикончить.

И чем это – пока – для него обернулось? В сущности, ничем, по большому счету. Они обрекли его на безделье, абсолютную пассивность, когда жизнь почти на нуле. Пустота – вот все его ощущения. Так, наверно, чувствует себя человек, приговоренный безвылазно сидеть в четырех стенах с одной книжкой в руках. Не странно ли, гореть вполнакала, воспринимая мир через печатное слово, живя чужой жизнью? Но если книжка интересная, может, все не так уж и плохо? Увлечется чьей-то историей да и забудет о себе? Вот только *эта* книга ничего ему не дает. В ней нет ни историй, ни сюжета, ни действия – сидит человек за столом и пишет книгу. Всё. И Синькин решает: с меня хватит! Но как выйти из игры? Как выйти из «комнаты» или «книги», которая пишется до тех пор, пока он остается в комнате?

Постоянно видя перед собой пишущего Черни, Синькин уже сомневается в достоверности картины.

Человек год сидит за столом и что-то строчит, – может, это мираж? Тогда за кем он следовал по пятам в самые отдаленные места, с кого он часами не сводил глаз, пока они не начинали слезиться? Разве не удивительно, что Черни практически не выходит из дому, ну разве только в соседний магазин, или в кино, или подстричься? Чаше же – но все равно крайне редко – бесцельно слоняется, глаза по сторонам на клочки пейзажа, парадные подъезды, крыши домов. Или это могут быть городские скульптуры, пароходики на реке, уличные вывески. Ни с кем двумя словами не обмолвится, никого не пригласит, если не считать той давнишней встречи с плачущей женщиной в ресторане. Синькин, можно сказать, знает про Черни всё – от мыла и одежды, которыми тот пользуется, до газет, которые тот читает, и вся эта информация скрупулезно заносится в тетрадь. Он узнал про него тысячи мелких подробностей, доказывающих лишь то, что ничего не известно. Ибо остается главная закавыка: этого не может быть по определению. Такой Черни в принципе не должен существовать.

В результате в голову Синькина закрадывается мысль, что это розыгрыш, инсценировка: Велик платит Черни за то, чтобы тот сидел у окна и ничего не делал. И его писанина, все эти сотни изведенных страниц, вероятно, сплошное надувательство: может, он переписывает имена из телефонного справочника, или словарные статьи из энциклопедии в алфавитном порядке, или того же «Уолдена». А может, это даже

и не слова, а бессмысленные каракули, произвольные отметины на бумаге, неразбериха, помноженная на абсурд. Тогда настоящий писатель – Велик, а Черни – всего лишь дублер, шарлатан, актеришка, который сам по себе ничто. Иногда, в русле этих рассуждений, Синькин додумывается до единственного логического вывода: Черни много. Два, три, четыре близнеца разыгрывают перед Синькиным роль Черни, каждый проводит на сцене сколько-то времени, а затем возвращается к домашнему очагу и уюту. Эта мысль до того чудовищна, что Синькин старается поскорей отогнать ее. Почти год прошел в этом подвешенном состоянии, и вот он, крик души: я задыхаюсь, это конец, я погибаю...

На дворе сорок восьмой год, середина лета. Наконец Синькин решил действовать. Он открывает баул с тряпьем на все случаи жизни и начинает подбирать подходящую личину. Забрав несколько вариантов, он останавливается на образе старика Розена из своего детства – этот нищий побирался в их квартале. Итак, он облачается в костюм бродяги: шерстяные обноски, схваченные бечевкой развалившиеся башмаки, потрепанная сумка через плечо со всеми пожитками и довершающие маскарад запущенная седая борода и такие же седые длинные патлы, делающие его похожим на ветхозаветного пророка. В отличие от старика Розена у него вид не столько чахоточного бомжа, сколько мудрого шута или блаженного, живущего на задворках общества, малость тронутого, но безобидного. От него веет приятным безраз-

личием к миру: после всего, что он пережил, ничто не может выбить его из колеи.

Синькин занимает удобное место на противоположной стороне улицы, достает из кармана осколок разбитой лупы и начинает изучать измятую вчерашнюю газету, выуженную из соседней урны. Двумя часами позже из дому выходит Черни и, спустившись по ступенькам, направляется в его сторону. Погруженный в свои мысли, Черни нищего не видит или не желает замечать, поэтому Синькин окликает его приятным голосом:

Мистер, у вас не найдется немного мелочи?

Черни притормаживает, чтобы разглядеть всклокоченного старика, и, убедившись, что от того не исходит никакой опасности, расплывается в улыбке. Он достает монету и вкладывает ее в ладонь нищего.

Вот, держите.

Да благословит вас Господь.

Спасибо, отвечает Черни, тронутый словами старика.

Будьте покойны. Господь благословляет всех.

Черни приветственно трогает поля шляпы и продолжает путь.

На следующий день, снова облаченный в лохмотья, Синькин занимает свою точку в расчете завязать настоящий разговор после того, как он сумел расположить к себе Черни. Но ломать голову ему не приходится, так как тот сам неожиданно останавливается. Дело клонится к вечеру, освещение

медленно меняется, и на играющей под солнцем кирпичной кладке здесь и там уже ложатся тени. После сердечного приветствия Черни подает оборванцу монету и, мгновение поколебавшись, словно не будучи уверен, стоит ли заводить этот разговор, обращается к нему с такими словами:

Вам не говорили, что вы очень похожи на Уолта Уитмена?

Уолта кого? – переспрашивает Синькин, помня о своей роли.

Уолта Уитмена, знаменитого поэта.

Не помню, чтобы я с ним встречался.

Само собой. Его давно нет в живых. Но сходство поразительное.

Знаете, как говорят? У каждого человека где-то есть двойник. Моим двойником мог быть покойник.

Самое смешное, Уитмен работал на этой самой улице. Неподалеку отсюда он напечатал свою первую книгу.

Надо же, в задумчивости покачивает головой Синькин. Вот оно как в жизни-то бывает, а?

С Уитменом связано несколько странных историй. Черни жестом приглашает Синькина присесть на приступку, что тот и делает, и вот они сидят рядком на солнышке, как два старых приятеля, болтающих о том о сем. Любопытных историй, повторяет он, наслаждаясь минутами счастливой праздности. Например, о его мозге. Уитмен увлекался френологией... вы знаете, чтение по выпуклостям головы.

Первый раз слышу.

Неважно. Одним словом, Уитмен проявлял интерес к мозгу и строению черепа. Считал, что по ним можно исчерпывающе судить о характере человека. И когда он умирал у себя в Нью-Джерси, лет пятьдесят или шестьдесят назад, он согласился на вскрытие после смерти.

Как он мог соглашаться после смерти?

Справедливое замечание. Я неточно выразился. Он согласился на вскрытие, еще когда был жив. Заранее дал понять, что не возражает, если его труп разрежут. Это было, можно сказать, его пожелание на смертном одре.

Его «последние слова».

Именно. Многие считали его гением, и им хотелось взглянуть, нет ли в его мозге чего-то особенного. И вот на следующий день после его смерти прозектор извлек мозг Уитмена и отправил в Американское антропометрическое общество, где его должны были обмерить и взвесить.

Как капусту, вставляет Синькин.

Точно. Большой серый кочан. И вот здесь следует интересный поворот. В лаборатории, еще до начала работы, кто-то из ассистентов роняет мозг на пол.

И он разбивается?

И он разбивается. Мозг штука хрупкая. Дзынь – и от него остаются одни осколки. Мозг величайшего американского поэта сметают в совок и выбрасывают на помойку.

Синькин, не выходя из роли, смеется с громким присвистом, этакий чудной старикан. Черни тоже заливается. Ат-

мосфера самая что ни на есть приятельская, как будто встретились два закадычных дружка.

Бедняга Уолт, говорит Черни. Лежит один в могиле, без мозгов.

Точно как Страшила.

Вот-вот. Как Страшила в «Волшебнике Изумрудного города».

Есть повод снова дружно посмеяться, после чего Черни продолжает:

Или вот тоже хорошая история. Как в гости к Уитмену пришел Торо.

Тоже поэт?

Не совсем. Но тоже замечательный писатель. Долго жил один в лесу.

А, этот, кивает головой Синькин, посчитав, что невежество не может быть безгранично. Кто-то мне про него рассказывал. Большой любитель природы, да?

Он самый. Генри Дэвид Торо. Он приехал из Массачусетса и нанес визит Уитмену в его бруклинском доме. А накануне он побывал здесь, на Оранж-стрит.

И чего он тут не видал?

Плимутскую церковь. Захотел послушать проповедь Генри Уорда Бичера.

Красивое место, говорит Синькин, вспоминая приятные часы, проведенные в зеленом дворике. Я тоже туда захожу.

Туда многие великие заходили. Авраам Линкольн, Чарльз Диккенс. Шли по этой улице, сидели в церкви.

Призраки.

Да уж, вокруг нас призраков хватает.

А история?

История довольно заурядная. Торо и его друг Бронсон Элкотт пришли к Уитмену на Мёртл-авеню, и его мать отправила их в мансарду, где Уолт жил вместе со своим слабоумным братом Эдди. Знакомство прошло хорошо. Они обменялись рукопожатиями и только сели, чтобы поговорить о высоких материях, как взгляды их упали на доверху наполненный ночной горшок посреди комнаты. Уолт, человек экспансивный, не обращал на него внимания, но его гостей горшок с экскрементами не вдохновлял на серьезную беседу. В конце концов они спустились в гостиную и там продолжили разговор. Вроде пустяк, да? Но встреча двух великих писателей – это историческое событие, и тут важна каждая подробность. Этот ночной горшок чем-то напоминает мне разлетевшийся мозг. Если задуматься, между ними есть формальное сходство. Выпуклости и изгибы. Мозг и кишки – человеческие внутренности. Мы часто говорим: чтобы лучше понять писателя, надо проникнуть в его нутро. Но при ближайшем рассмотрении мы там не обнаружим ничего особенного, во всяком случае ничего такого, чего нет у простых смертных.

Чего вы только не знаете, говорит Синькин, начинающий терять нить его рассуждений.

Это мое хобби, объясняет Черни. Я пытаюсь понять, как живут писатели, особенно американские писатели. Это помогает мне уяснить другие вещи.

Ясно, отзывается Синькин, которому ничего не ясно. Чем больше разглагольствует его собеседник, тем меньше он понимает.

К примеру, Готорн, продолжает Черни. Хороший друг Торо и, вероятно, первый настоящий писатель в Америке. После колледжа он вернулся в материнский дом в Салеме и на двенадцать лет затворился в своей комнате.

А что он там делал все это время?

Писал рассказы.

И больше ничего? Только писал?

Писательство – удел одиночек. Оно подчиняет себе твою жизнь. В каком-то смысле у писателя нет своей жизни. Он там, но его там нет.

Тоже призрак.

Совершенно верно

Звучит загадочно.

Пожалуй. Но Готорн действительно писал отличные рассказы, и, хотя прошло уже больше ста лет, мы продолжаем их читать. В одном из них человек по имени Уэйкфилд решает подшутить над своей женой. Сказав ей, что на несколько дней уезжает по делам из города, он вместо этого снимает комнату в доме за углом и решает посмотреть, что будет дальше. Зачем он это делает, он и сам не знает, но остано-

виться не может. Проходит три или четыре дня, но он чувствует, что еще не готов вернуться домой. Бегут недели, месяцы. Однажды Уэйкфилд, проходя мимо своего дома, видит траурные ленты. Это жена, точнее, вдова оплакивает его уход. Проходят годы. Иногда их пути пересекаются, как-то раз в толпе он даже задевает ее плечом, но она его не узнает. А годы бегут, вот уже больше двадцати лет миновало, он состарился. Однажды дождливым осенним вечером, оказавшись возле своего дома, он заглядывает в окно, видит уютно, по-домашнему горящий камелек и говорит себе: «А хорошо бы сидеть сейчас там, в мягком кресле перед камином, вместо того чтобы мокнуть под дождем». Без лишних раздумий он поднимается по ступенькам и стучит в дверь.

Ну а дальше?

Всё. Конец истории. Дверь отворяется, и Уэйкфилд с лукавой улыбочкой скрывается в доме.

И мы так и не узнаем, что он сказал жене?

Нет. Рассказ окончен. Точка. Но мы понимаем, что он вернулся, чтобы быть любящим супругом.

Между тем начинает темнеть, надвигается ночь. На западе еще видны розовые полосы, но день, можно сказать, уже отошел. Восприняв темноту как намек, Черни встает и протягивает руку Синькину:

Спасибо за приятную беседу. Я и не думал, что мы так засиделись.

Это вам спасибо, отвечает Синькин с облегчением. Еще

немного, и его борода начала бы отклеиваться из-за этой жары и повышенного потоотделения на нервной почве.

Черни, говорит Черни, пожимая ему руку.

Джимми, говорит Синькин. Джимми Розен.

Этот разговор мне запомнится надолго, Джимми.

Мне тоже. Есть над чем поразмыслить.

Храни вас Бог, Джимми Розен.

И вас, сэр.

Еще раз пожав друг другу руки, они расходятся в разные стороны, думая каждый о своем.

Позже, у себя в комнате, Синькин решает похоронить Джимми Розена, избавиться от него раз и навсегда. Старый бродяга свое дело сделал, и дальше эксплуатировать его было бы неразумно.

Хотя сыщик, в принципе, рад тому, что пошел на контакт с объектом, встреча в целом не дала желаемого результата и к тому же стала для него сильной встряской. На первый взгляд разговор был никак не связан с «делом», но у Синькина осталось ощущение, что он состоял из сплошных намеков, – говоря загадками, объект как будто хотел ему сообщить нечто такое, о чем не решался сказать прямо. Да, Черни был более чем дружелюбен и приятен в обращении, но сыщик не мог отделаться от мысли, что он у Черни под колпаком. Выходит, объект состоит в заговоре, иначе зачем бы он стал вести с ним эти душевные беседы? Не от одиночества же, в самом деле. Вот уж о чем не стоит даже говорить,

если воспринимать Черни всерьез. Вся его нынешняя жизнь подчинена продуманному плану, который как раз в том и состоит, чтобы оставаться одному, поэтому глупо было бы видеть в его общительности попытку вырваться из тисков одиночества. Об этом как-то поздновато говорить после того, как прошел год с лишним со дня его добровольного заточения. А если бы даже объект вдруг захотел прервать свое отшельничество, неужели он выбрал бы в собеседники какого-то бомжа? Нет, Черни знал, с кем имеет дело. А если так, то ему известно, чем Синькин занимается. Тут двух мнений быть не может, говорит себе сыщик. Он знает про меня всё.

Когда приходит время очередного отчета, перед Синькиным встает дилемма. Его контакты с объектом никем не санкционировались. Велик поручил ему наблюдать за Черни, только и всего, и теперь естественно возникает вопрос, не превысил ли он свои полномочия. Упоминание уличного эпизода может вызвать негативную реакцию. С другой стороны, замалчивание этого эпизода при условии, что Черни работает на Велика, сразу даст последнему понять, что ему лгут. Синькин долго обдумывает создавшуюся ситуацию, но так ни к чему и не приходит. При любом раскладе он в проигрыше, это ясно. Под конец он решает не включать в отчет уличный эпизод, ведь еще остается призрачная надежда на то, что Велик и Черни друг с другом не связаны. Этому слабому ростку оптимизма суждена недолгая жизнь. Через три дня после отправки усеченного отчета он получает конверт с

еженедельным чеком и короткой запиской: «Почему вы лжете?» Все точки над «і» поставлены, сомнения развеяны. Теперь Синькин точно знает, что он идет ко дну.

На следующий вечер он отправляется за Черни в Манхэттен на метро, без всякого маскарада, не таясь. Выйдя на Таймс-сквер, объект бесцельно бродит среди шумной и пестрой толпы, освещенной яркой иллюминацией. Сыщик держится сзади, в каких-нибудь трех-четыре шагах, и не спускает с него глаз, как будто от этой прогулки зависит вся его жизнь. В девять часов объект входит в вестибюль отеля «Алгонкин», и следом за ним сыщик. Ресторан полон, свободных мест почти не осталось, поэтому, когда Черни занимает только что освободившийся угловой столик, вскоре подходит и Синькин и естественным образом спрашивает, нельзя ли составить ему компанию. Объект не возражает и безразличным движением плеча показывает на противоположный стул. В ожидании заказа они сидят молча, разглядывая проходящих дам в летних платьях, вдыхая разлитые в воздухе ароматы духов. Сыщик никуда не спешит – пусть все идет своим чередом. Но вот появляется официант и спрашивает, что им будет угодно. Черни заказывает виски со льдом, «Черное и белое», и Синькин воспринимает это как тайный намек: дескать, сейчас начнется самое интересное. Каков, однако! Это ведь открытый вызов, граничащий с глупостью. Да он просто помешанный. Ради симметрии Синькин заказывает то же самое, при этом поглядывая на своего визави. Никакой ре-

акции. Взгляд Черни ничего не выражает, эти мертвые глаза словно говорят: «Не ищи скрытого смысла, ты все равно тут ничего не найдешь».

В какой-то момент все же лед тронулся, и начинают они с обсуждения достоинств разных сортов виски. Одна тема сменяется другой, и вот уже они болтают о неудобствах летнего сезона в Нью-Йорке, об интерьерах отеля, об алгонкинских индейцах, которые когда-то населяли леса и пустоши, огромную территорию будущего мегаполиса. Синькин понемногу вживается в роль разбитного хвастуна по имени Сноу, страхового агента из Кеноши, штат Висконсин. Коси под дурачка, говорит себе сыщик. Хоть он и знает, кто я такой, не объявлять же об этом во всеуслышание. Будем играть в прятки до конца.

Прикончив первую порцию виски, они заказывают по второй и по третьей, обсудив разные страховые случаи, затрагивают тему продолжительности жизни в зависимости от профессии, и тут реплика Черни резко разворачивает беседу в иное русло:

Ну, моя-то профессия у вас, я думаю, не слишком высоко котируется.

Да? – простодушно вырывается у Синькина, не ожидающего подвоха. И чем же вы занимаетесь?

Я частный детектив, в открытую говорит Черни, спокойно и невозмутимо, и Синькин, точно ошпаренный этой наглостью, готов плеснуть ему в физиономию свое виски.

Ух ты! – быстро взяв себя в руки, восклицает он с притворным изумлением простака. Частный детектив, настоящий, ну надо же. То-то жена удивится. Я сижу в ресторане с переодетым сыщиком! Да она мне просто не поверит...

Я хочу сказать, перебивает его словоизлияния Черни, что мне отпущено, вероятно, не так уж много. По вашей статистике.

А хоть бы и так, с горячностью возражает Синькин. Зато сколько интересного! Не все же небо коптить. Да половина американцев отдали бы десять лет тихой жизни на пенсии, чтобы только поменяться с вами местами. Распутывать дела, решать интеллектуальные задачки, соблазнять красивых женщин, делать из злодеев дырявое решето... есть чему позавидовать!

Это всё киношники придумали. Настоящая работа детектива – довольно скучное занятие.

В каждой профессии есть своя рутина. По крайней мере, в вашем деле долгое и кропотливое расследование непременно заканчивается какой-нибудь неожиданностью.

Иногда – да, но чаще – нет. Возьмите мое текущее дело. Я занимаюсь им уже больше года, и ничего скучнее нельзя себе представить. Порой мне кажется, что от скуки я схожу с ума.

Как это?

Судите сами. Я должен наблюдать за человеком, самым что ни на есть заурядным человеком, и каждую неделю посылать об этом отчет. Всё. Наблюдать и писать отчеты. Боль-

ше ни-че-го.

И что же тут ужасного?

А то, что ни черта не происходит. Он целыми днями сидит в своей комнате и пишет. Есть от чего свихнуться.

Может, он вас так заманивает в ловушку. Усыпит вашу бдительность, а потом такое выкинет!

Сначала я тоже так думал. А теперь уверен: ничего не будет, никогда. Нутром чую.

Обидно, сочувствует Синькин. Может, вам отказаться от этого дела?

Уже подумываю. Или вообще завязать со всем этим, заняться чем-нибудь другим. Сменить профессию. Пойти в страховые агенты или поступить в цирк.

Вот уж не думал, что такое бывает, качает головой Синькин. А почему вы сейчас не наблюдаете за своим подопечным? Разве вы не должны за ним следить?

Зачем? – отвечает Черни вопросом на вопрос. В том-то все и дело. Я так долго за ним наблюдал, что успел изучить его лучше, чем самого себя. Мне достаточно о нем подумать, и я уже все про него знаю: где он, чем занимается. Я могу наблюдать за ним с закрытыми глазами.

И где же он сейчас?

Дома, где же еще. Сидит за столом и пишет.

О чем он пишет?

Точно не знаю, но догадываюсь. Думаю, о себе. Историю своей жизни. Это единственно возможный ответ. Другие ва-

рианты просто не проходят.

Тогда из-за чего весь сыр-бор?

Не знаю. Впервые в голосе Черни слышатся эмоциональные нотки.

Тогда все сводится к одному, правильно? Забыв о своей роли, Синькин смотрит в упор на собеседника. Он знает, что вы за ним наблюдаете?

Черни отворачивается, не в силах выдержать этого испытующего взгляда, голос его дрогнул:

Конечно, знает. А как же? Должен знать, иначе все лишается смысла.

Почему?

Потому что я ему нужен, отвечает Черни, по-прежнему глядя в сторону. Как постоянный свидетель. Как доказательство того, что он существует.

По щеке Черни скатывается слеза. Синькину надо бы что-то сказать, попытаться извлечь выгоду из этой ситуации, но Черни вдруг встает и со словами, что ему надо позвонить, поспешно выходит из зала. Синькин ждет его десять или пятнадцать минут, уже зная, что напрасно теряет время. Черни не вернется. Разговор окончен, и сколько тут ни сиди, ничего уже не высидишь.

Расплатившись за выпивку, Синькин едет назад в Бруклин. Проходя по Оранж-стрит, он поднимает глаза на темные окна Черни. Ничего, говорит он себе, скоро вернется. Это еще не финал. Самое веселое впереди. Шампанское

будет литься рекой.

Дома Синькин ходит из стороны в сторону, обдумывая свои действия. Наконец его подопечный допустил ошибку – или это только так кажется? Хотя факты сопротивляются, он не может отделаться от ощущения, что все было подстроено. Черни его как будто подманил или заманил и теперь подталкивает к некой им задуманной развязке.

И все же совершен прорыв, впервые с начала этого «дела» он сдвинулся с мертвой точки. В других обстоятельствах Синькин отпраздновал бы эту маленькую победу, но нынче ему как-то не до того. Ему грустно, он чувствует себя опустошенным, разочарованным. Факты вещь упрямая, и трудно отрицать, что по большому счету он проигрывает: как ни крути, а в этом «деле» он тоже жертва. Он подходит к окну; в квартире напротив загорелся свет.

Он ложится на кровать и думает: гуд-бай, мистер Велик или как вас там! Нет никакого Велика и не было. И тут же: Черни, бедняга, тоска без биографии. Тяжелеют веки, наваливается сон, а в голове: у каждой вещи свой цвет, у всего, что мы видим и что мы трогаем, странно, да? Чтобы не уснуть, он начинает мысленно загибать пальцы. Начнем с синего. Синица, синяя птица. Васильки и барвинки. Синяя дымка над Нью-Йорком, синий отлив Тихого океана. Голубика. Посинеть от холода или от злости. Голубая орденская лента и голубая кровь. «Голубые» мальчишки. Синева неба и синева под глазами. Синюшный младенец. Голубые горы.

Синяя униформа полицейского. Синька. Синькин. Больше ничего не приходит на ум, и он берется за белый цвет. Белые чайки и лебеди, журавли и попугаи. Стены этой комнаты и постельное белье. Белая фата. Белые лилии, белая акация, белые хризантемы. Белый флаг капитуляции и белые траурные одежды индусов. Материнское молоко и отцовское семя. Зубы и белки глаз. Белуга и заяц-беляк. Белила. Белый дом. «Белая смерть». Белый танец и белое безмолвие. Без перехода он переключается на черный цвет. Чернокнижники. Черный рынок. Черная рука. Чернота ночи. «Черные пантеры». Черника и черная смородина. Черная ворона и черный воронок. Черная оспа. «Черный вторник». Черные дни. Чернуха. Чернец. Чернильница. Черные разводы туши. Черный мир слепого. В глазах чернеет, и, запутавшись в этом лабиринте, он засыпает. Ему снятся дела минувших дней. Среди ночи он просыпается, как от толчка, и снова бороздит комнату с мыслями о необходимости что-то срочно предпринять.

Поутру Синькин затевает новый маскарад. Испытанный трюк. Он в роли разносчика. Следующие два часа уходят на изменение внешности: лысина, усы, морщины у рта и мешки под глазами.

Сидя перед маленьким зеркальцем, он гримируется, как опытный комедиант перед выходом на сцену. Двенадцатый час. Он берет чемоданчик со всевозможными щетками и выходит на улицу. Открыть замок парадной двери дома напротив – для него пара пустяков. Приятное возбуждение, как

в старые добрые дни. Он поднимается по лестнице. Никаких силовых акций. Цель визита – осмотреться, оценить обстановку на будущее. Но эмоции захлестывают. Это ведь не просто знакомство с жилищем, это ощущение того, что ты «там», делишь с ним одно пространство, дышишь одним воздухом. После сегодняшнего дня ход событий станет необратимым. Сейчас откроется дверь, и Черни поселится в нем навеки.

Он стучит, дверь открывается, и вдруг исчезает всякая дистанция – мысль об объекте и сам объект сливаются воедино. На пороге стоит Черни, вооруженный авторучкой, он производит вид человека, застигнутого посреди работы, но его глаза говорят о том, что он ждал Синькина и готов услышать жесткую правду, более того, ему это до лампочки.

Синькин скороговоркой, показывая на чемоданчик, сообщает о щетках на продажу, извиняется, просит разрешения войти, всё на одном дыхании, с профессиональными ухватками коммивояжера, сотни раз апробированными. Черни спокойно его впускает. Он вроде бы не прочь купить зубную щетку, но Синькин уже впаривает ему щетку для волос и платяные щетки, язык мелет что придется, отвлекает хозяйку от главного, а тем временем взгляд обшаривает комнату, фиксируя каждую мелочь.

Комната, в общем, такая, какой он ее себе представлял, разве что еще более аскетичная. Совершенно голые стены – это неожиданность, он ожидал увидеть какие-то картин-

ки, пейзаж или фотографию близкого человека, что-нибудь, способное оживить унылое однообразие. Синькина давно мучило любопытство, что он увидит и какой ключ к разгадке это ему даст, и только сейчас, в виду голых стен, до него доходит, что иначе и быть не могло. А в остальном – никаких расхождений. Именно такой он представлял себе эту монашескую келью: в одном углу аккуратно заправленная кровать, в другом кухонька, все чистенько, ни крошки. Посреди комнаты, ближе к окну, деревянный стол и такой же стул с жесткой спинкой. Карандаши, ручки, пишущая машинка. Бюро, ночной столик, лампа. Книжный шкаф с десятком книг: «Уолден», «Листья травы», «Дважды рассказанные истории» и еще несколько. Ни телефона, ни радио, ни журналов. На столе ровные стопки бумаги – чистые, исписанные от руки, отпечатанные на машинке. Сотни, может, тысячи страниц. Это не жизнь, думает про себя Синькин. Это черт знает что. Голый остров. Последнее пристанище перед концом света.

Черни выбирает красную зубную щетку. Затем они переходят к платяным щеткам, и Синькин на себе демонстрирует их действие. Вам, человеку аккуратному, говорит он, без такой не обойтись. До сих пор как-то обходился, отвечает Черни. Тогда, может быть, щетку для волос? Они смотрят образцы, обсуждают формы и размеры, разные виды щетины и тому подобное. Дело-то, по сути, уже сделано, но Синькин продолжает по инерции, чтобы все было без дураков, даже

если его усилия пройдут вхолостую. Черни оплачивает покупки, и, пока Синькин складывает свой чемоданчик, он не может удержаться от вопроса.

Вы писатель? Он показывает на письменный стол.

Да, отвечает Черни.

Большая книга, уважительно говорит Синькин.

Да, снова соглашается Черни. Я несколько лет над ней работаю.

И когда думаете закончить?

Скоро, следует задумчивый ответ. Это дело такое. Вроде пошел на коду – и тут вдруг понимаешь, что упустил важную вещь, приходится возвращаться назад. Я сплю и вижу, когда уже поставлю точку. Хорошо бы поскорее.

Надеюсь когда-нибудь прочесть, говорит Синькин.

Может быть, отзывается Черни. Но сначала я должен ее дописать. Иногда мне кажется, что я до этого дня не доживу.

Что мы знаем? Синькин философски кивает головой. Сегодня ты жив-здоров, а завтра дашь дуба. Все мы смертны.

Это уж точно, соглашается Черни. Все мы смертны.

Они стоят в дверях, и Синькина так и подмывает отпустить еще какое-нибудь бессмысленное замечание. Отчего бы не повалить дурака. Одновременно есть желание поиграть в кошки-мышки, показать, что ни одна мелочь не ускользнула от его внимания, ибо в глубине души ему хочется дать понять своему визави: я, Синькин, ничуть не глупее тебя и готов это доказать по каждому пункту. Но, удерж-

жавшись от соблазна, он вежливо благодарит хозяина за покупки и откланивается. Вскоре почившего в бозе торговца щетками выбрасывают в тот же мешок, где покоятся останки Джимми Розена. Больше маскарадные костюмы не понадобятся. Следующий шаг неизбежен, и вопрос только в том, чтобы выбрать подходящий момент.

Но через три дня, когда подвернется благоприятный случай, Синькин смалодушничает.

В девять вечера Черни выходит из дома и исчезает за углом. Синькин воспринимает это как сигнал, как прямое приглашение к действию, хотя, конечно, это может быть и ловушкой, и его, еще минуту назад абсолютно уверенного в себе, можно сказать, раздувавшегося от собственного всемогущества, в последний момент охватывает очередной приступ сомнений. С чего бы это он должен вдруг довериться Черни? Какие у него есть основания полагать, что они теперь по одну сторону баррикад? Что такого произошло, что он готов послушно следовать за дудочкой вчерашнего противника? И тут же, с бухты-барухты, совсем другая мысль: уж не сбежал ли объект? Просто взял и слинял? От этой возможности, которую Синькин покрутил в голове и так и эдак, его начинает бить озноб, он испытывает вместе ужас и восторг, как раб, перед которым замаячила свобода. Он видит себя далеко отсюда, в лесу, размахивающего топором. Вольный как птица, сам себе хозяин. Он отстроит жизнь заново, эмигрант, пилигрим, первооткрыватель Нового Света. Этим все заканчива-

ется. Едва успев сделать несколько шагов в девственном лесу, он понимает, что где-то рядом находится Черни, прячется за деревьями, крадется следом под прикрытием густых зарослей, ждет, когда он приляжет и закроет глаза, чтобы подкрасться и перерезать ему горло. Какой-то непреходящий кошмар. Если он не разберется с Черни прямо сейчас, этому не будет конца. Древние называли это роком, герой принимает его как неизбежность. Выбора нет, делать можно только то, что уже выбрано за тебя. Но Синькин отказывается это признавать. Он отвергает рок, сопротивляется, мучительно ищет выход. Не потому ли, что понял: да, надо мной навис рок, и сражаться с ним значит признать его, и говорить ему «нет» значит сказать ему «да». В конце концов Синькин приходит в чувство и осознает необходимость действовать. Но это вовсе не значит, что он не боится. Отныне вся его жизнь проходит под знаком страха.

Драгоценное время упущено, и теперь надо бежать в отчаянной надежде, что еще не все потеряно. Вряд ли Черни скрылся, скорее притаился за углом и ждет подходящей минуты. Синькин перебегает улицу и, поднявшись на крыльцо дома напротив, ковыряется в замке парадной двери, при этом нервно озираясь. Проникнув внутрь, он поднимается на третий этаж. С квартирным замком приходится повозиться, хотя по идее нет ничего проще, даже для новичка раз плюнуть. Таким неуклюжим может быть лишь человек, не владеющий собой, теряющий контроль над ситуацией, и хо-

тя Синькин это сознает, от него мало что зависит, остается надеяться, что мандраж сам собой пройдет и руки перестанут дрожать. Как бы не так. Едва он переступает порог, как в глазах у него темнеет, такое ощущение, будто ночь придавила его к земле, проникла во все поры, а голова увеличилась, словно накачанный воздухом шар, и вот-вот оторвется от тела и улетит. Он делает еще шаг, другой и, потеряв сознание, грохается оземь, как труп.

При падении его часы остановились, и, когда Синькин приходит в себя, ему остается только гадать, сколько же он был в отключке. Он медленно возвращается к жизни с ощущением, что был здесь раньше, быть может очень давно, и, когда он смотрит на развевающиеся занавески и странные хитросплетения теней на потолке, ему мерещится, будто он лежит в своей кроватке, в далеком детстве, не в силах уснуть из-за страшной летней духоты, и стоит ему напрячь слух, как он услышит родительские голоса в соседней комнате. Но уже через мгновение, почувствовав тупую боль в затылке и сильную тошноту, он вдруг осознает, где находится, и его снова охватывает паника. Как пьяный, пошатываясь, он встает, говоря себе, что надо уносить отсюда ноги, и чем скорее, тем лучше. Он уже хватается за дверную ручку, но, вспомнив, зачем пришел, достает из кармана фонарик и включает кнопку; световой луч, заметавшись по комнате, наконец утыкается в аккуратно сложенную стопку бумаги на краю стола. Не раздумывая, он подхватывает свободной рукой всю стопку –

«неважно, сойдет для начала» – и направляется к выходу.

Вернувшись домой, Синькин наливает себе стакан бренди и садится на кровать. Надо успокоиться. Он вроде бы пьет понемногу, но вскоре приходится повторить. Паника почти прошла, осталось чувство стыда. Я все запорол, выносит он себе приговор, и тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Впервые за свою профессиональную карьеру Синькин поступил неадекватно, и осознание того, что он неудачник и в глубине души трус, действует на него как ледяной душ.

Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, он берет украденные бумаги. Но это только усугубляет дело: перед ним его собственные отчеты, черным по белому, ничего больше. Еженедельные сводки в хронологическом порядке, ничего не значащие, ни о чем не говорящие, столь же далекие от сути «дела», как чистый лист. У Синькина из груди вырывается стон, внутри все опускается, а мгновением позже его разбирает смех, сначала тихий, затем все громче, все мощнее, пока он не начинает задыхаться, давиться от хохота, словно желая таким образом извести себя. Сгребая в кучу исписанные страницы, он швыряет их к потолку и смотрит на этот бумажный водопад бессмыслицы.

Трудно сказать, сумел ли Синькин оправиться от потрясения. В любом случае несколько дней после того памятного вечера он ходит сам не свой. Он не бреется, не переодевается, не выходит из комнаты. Очередной отчет он посылает куда подальше. Некогда исписанные страницы он в сердцах

топчет ногами. Хватит. Чтобы я еще раз взялся за перо!

Весь день он валяется на кровати или ходит взад-вперед. Потом вдруг остановится перед фотографиями и картинками на стене – и разглядывает их в сотый раз. Вот Золотов, коронер из Филадельфии, с посмертной маской убитого мальчика. Вот заснеженный склон, а в правом верхнем углу, в рамочке, лицо французского горнолыжника. Вот перед Бруклинским мостом двое Реблингов, отец и сын. Вот отец Синькина в парадной форме получает медаль из рук мэра Нью-Йорка Джимми Уокера. А вот он же в повседневной одежде обнимает за плечи жену, мать Синькина, оба молодые, беззаботные, широко улыбаются в камеру. Здесь же Синькин с Желтовски перед входом в офис – фотография, сделанная в тот день, когда они стали партнерами по бизнесу. Ниже динамичный снимок – Джеки Робинсон буквально въезжает на вторую базу. Рядом портрет Уолта Уитмена. А слева от поэта – вырезка из киношного журнала: Роберт Митчум выставил перед собой пушку с таким затравленным видом, словно на него ополчился весь мир. Кого здесь нет, так это несостоявшейся миссис Синькиной, но всякий раз, когда он любуется своим маленьким вернисажем, его взгляд утыкается в пустое место, словно там висит ее портрет.

Несколько дней он даже не выглядывает в окно. Он полностью погружен в себя, и для Черни здесь нет места. Сейчас разыгрывается драма Синькина, а Черни, катализатор этой драмы, сыграл свою роль, произнес свои реплики и покинул

сцену. Более не в силах мириться с самим фактом существования Черни, Синькин теперь попросту его отрицает. После того как сыщик проник в квартиру своего объекта, побывал, так сказать, в святая святых его одиночества, он ужаснулся этому мраку и противопоставить ему может лишь собственное одиночество. Заглянув в душу Черни, он заглянул в себя и понял, что больше нигде не в состоянии находиться. Но как раз здесь-то и засел Черни, хотя Синькин об этом не догадывается.

Однажды, вроде бы случайно, он подходит к окну, впервые за много дней, и, постояв в раздумье, как бы в память о прошлом, раздвигает занавески и выглядывает на улицу. Первый, кого он видит, это Черни, который сидит не в своей комнате, а на ступеньках дома, и взгляд его обращен на окна Синькина. Значит ли это, что объект сломался, спрашивает себя сыщик. Что все закончилось...

Синькин приносит бинокль и наводит на Черни. Несколько минут сыщик деталь за деталью изучает его лицо – глаза, губы, нос и так далее – и, разобрав лицо на части, снова соединяет их в единое целое. Глубина этой печали, эта безнадега в глазах не может не тронуть, и, застигнутый врасплох, вопреки собственному желанию, Синькин чувствует, как в его душе растут сострадание и жалость к этому горемыке, торчащему на улице.

Хочется же ему совсем другого, ему хочется (достало бы только смелости) зарядить пистолет, хорошо прицелиться и

всадить пулю в голову этому Черни, который даже не успеет понять, что с ним произошло, душа его попадет на небеса раньше, чем его тело отбросит на ступеньки. Проиграв эту сценку в голове, Синькин тут же гонит ее от себя. Нет, во-все не этого ему хочется. Но тогда чего? Борясь с приливом теплых чувств и бормоча вслух «оставьте меня в покое, дайте мне пожить тихо и мирно, больше я ничего не хочу», он вдруг ловит себя на том, что думает он, стоя у окна, совсем о другом: не может ли он чем-то помочь Черни, протянуть ему руку помощи. Это полностью перевернуло бы ситуацию. А почему нет? Почему не сделать то, чего от тебя не ждут? Постучать в дверь, стереть все, что между ними было, – чем это абсурднее всего прочего? Если уж говорить начистоту, у Синькина на борьбу просто не осталось пороуху. Равно как и желания. То же, судя по всему, можно сказать и о Черни. Посмотри на него. Ты когда-нибудь видел более жалкого человека? И тут до Синькина доходит, что эти слова с тем же успехом относятся к нему самому.

Черни давно ушел в дом, а Синькин все смотрит на пустое место. А между тем дело идет к вечеру. Он отворачивается наконец от окна и впервые замечает, во что превратилось его жильё. Целый час он занимается квартирой: перемыивает грязную посуду, заправляет кровать, убирает в шкаф разбросанную одежду, подбирает с пола бумаги. Затем он долго стоит под душем, бреется, надевает свежее бельё и свой лучший синий костюм. Для него начался новый отсчет времени,

вот так вдруг, неожиданно и бесповоротно. Нет больше ни страха, ни озноба. Только спокойная уверенность и ощущение правильности того, что он собирается сделать.

Вскоре после наступления сумерек, в последний раз поправив перед зеркалом галстук, он спускается вниз, пересекает улицу и входит в дом напротив. Он знает, что Черни дома, так как в квартире горит ночник, и, поднимаясь по лестнице, он пытается себе представить выражение лица объекта, когда тот услышит, зачем он пришел. Он вежливо стучит, тук-тук, и слышит голос Черни: входите, дверь не заперта.

Трудно сказать, чего ожидал Синькин, но явно не этого. Черни сидит на постели в маске, той самой, что тогда засветилась на почтамте, и его револьвер тридцать восьмого калибра, из которого с пяти шагов можно сделать из человека решето, нацелен гостю точнехонько в лоб. Синькин стоит как вкопанный. И это называется – перевернуть ситуацию с головы на ноги? И это называется – зарыть томагавк?

Сядьте. Черни показывает револьвером на единственный стул.

У Синькина нет выбора, и он подсаживается к столу. Хотя они сидят лицом к лицу, его позиция слишком неудобна, чтобы броситься на противника и попытаться выбить у того из рук оружие.

Я вас давно жду, говорит Черни. Рад, что наконец пожаловали.

Я догадывался, что вы меня ждете, отзывается Синькин.

Удивились?

Да нет. Если и удивляюсь, то только собственной глупости. Я ведь к вам пришел как друг.

Ясное дело. В голосе Черни звучит легкая издевка. Мы с вами друзья. С первого дня – не разлей вода.

Если вы так встречаете своих друзей, мне остается порадоваться, что я не числюсь вашим врагом.

Очень смешно.

Да, такой вот я смешной. Со мной не соскучишься.

Про маску не спросите?

Зачем? Вам нравится ходить в маске – это ваше личное дело.

Разве вам не хочется за нее заглянуть?

К чему все эти вопросы, если вам заранее известны ответы?

Абсурдная ситуация, да?

Еще бы не абсурдная.

И жутковатая.

Да уж.

А вы мне нравитесь, Синькин. Я с самого начала понял, что мы пара. Ей-богу, вы мне по сердцу.

Может, и я бы испытал к вам подобные чувства, если бы вы перестали размахивать своей пушкой.

Ничего не попишешь. Слишком поздно.

В каком смысле?

Вы, Синькин, мне больше не нужны.

От меня будет не так-то просто избавиться. Вы втянули меня в это дело, и теперь мы повязаны.

Ошибаетесь. Все кончено.

Послушайте, бросьте эту демагогию.

Всё. Игра сделана, пора ставить точку.

Игра сделана?

Сейчас. Сию минуту.

По-моему, вы не в своем уме.

Я в своем уме, и даже слишком. Мой ум завел меня слишком далеко, и назад уже нет возврата. Да вы это и сами знаете, Синькин, и даже лучше меня.

Тогда почему вы не нажмете на спуск?

Всему свое время.

И оставите здесь мой труп? Нет, этот номер у вас не пройдет.

Вы, Синькин, ничего не поняли. Мы уйдем вместе. Вместе, как всегда.

Вы, кажется, забыли одну мелочь.

А именно?

Главного вы мне не рассказали. Разве не этим должно закончиться – вы мне все рассказываете и мы делаем друг другу ручкой?

Вы и так все знаете, разве нет? Вы это знаете наизусть, Синькин.

Тогда зачем было городить огород?

Не надо глупых вопросов.

А я? Зачем вам понадобился я? Смеха ради?

Вы были нужны мне с самого начала. Без вас, Синькин, я бы с этим не справился.

Для чего я был вам нужен?

Чтобы постоянно напоминать мне о том, что я должен сделать. Всякий раз, когда я поднимал глаза, вы были на месте – мой сторож, мой соглядатай, мой василиск. Вы были для меня целым миром, Синькин, и я сделал вас своим палачом. Вы – единственная постоянная величина, тогда как все вокруг способно меняться до неузнаваемости.

И вот теперь все кончено. Вы написали свою предсмертную записку, и нам не о чем больше говорить.

Именно.

Шут, вот вы кто. Шут гороховый.

Пожалуй. Но не больше, чем другие. Уж не собираетесь ли вы тут доказывать, что вы умнее меня? По крайней мере, я знал, что делаю. Мне дали задание, и я его выполнил. А вы как сразу заблудились в трех соснах, так до сих пор и блуждаете.

Ну так стреляй, ублюдок! Синькин в ярости вскакивает и с вызовом стучит себя в грудь. Стреляй, и покончим с этим!

Он делает шаг к противнику, не дождавшись пули – второй шаг, и третий, и четвертый, продолжая кричать «стреляй!» человеку в маске, безразличный к собственной участи. Подойдя вплотную, он вскидывает револьвер и, ухватив Черни за шиворот, одним рывком ставит его на ноги. Тот отби-

вается, пытаясь сопротивляться, но Синькин, и без того более крепкий, вошел в раж от праведного гнева, в него словно бес вселился, он молотит своего противника куда придется, и тот бессилен перед этим натиском. Через пару минут он лежит на полу бездыханный, а Синькин все никак не угомонится: стучит безвольной головой об пол, пинает тело ногами, обрушивает на него удар за ударом. Дав выход своей ярости, Синькин приглядывается к Черни, пытаясь обнаружить признаки жизни. Сняв с жертвы маску, он прикладывает ухо к губам лежащего – дышит, не дышит? Вроде что-то слышно, но поди пойми, чье это дыхание. Если он и жив, говорит себе Синькин, то часы его сочтены. А если мертв, туда ему и дорога.

Расхристанный, в изорванном костюме, Синькин поднимается на ноги и начинает собирать со стола страницы рукописи. На это уходит несколько минут. После чего он гасит лампу и покидает квартиру, не удостоив Черни прощальным взглядом.

Домой Синькин возвращается за полночь. Положив рукопись на стол, он идет в ванную и смывает кровь. Потом он переодевается и со стаканом виски садится читать рукопись Черни. Время поджигает. В любой момент за ним могут прийти, и тогда будет не до чтения. Но сейчас он гонит от себя эти мысли.

Он прочитывает книгу не отрываясь, от начата до конца. Светает. Запела пичуга, донеслись шаги прохожего, по

Бруклинскому мосту пронеслась машина. Черни оказался прав: я знал все это наизусть.

Но история еще не закончилась. Точка будет поставлена лишь после того, как Синькин покинет эту комнату. Так уж устроен мир: ни убавить, ни прибавить. Сейчас он встанет, наденет шляпу и выйдет через эту дверь – тогда и наступит конец.

Куда он потом направит свои стопы, не суть важно. Не стоит забывать, что все это случилось тридцать с лишним лет назад, мы еще пешком под стол ходили. Так что возможен любой поворот. Мне почему-то кажется, что он сел на поезд и уехал на Запад, чтобы там начать новую жизнь. А может, Америкой дело не ограничилось. Втайне я надеюсь, что он купил билет на теплоход и оказался в Китае. Пусть будет Китай, и закроем тему. А в данный момент Синькин встает, надевает шляпу и выходит через эту дверь. Дальнейшее нам не известно.

# Запертая комната

## 1

Сколько я себя помню, рядом со мной всегда был Феншо. Для меня он точка отсчета, и если я что-то о себе знаю, этим я обязан ему. Еще не умея говорить, мы вместе ползали по траве в подгузниках, а позднее, лет шести, уколов себе пальцы булавкой, мы на всю жизнь стали кровными братьями. Всякий раз, когда я вспоминаю детство, я вижу Феншо. Он всегда рядом, мой поверенный, мой неизменный спутник.

Но это давняя история. Мы выросли, разъехались, отдалились друг от друга. Ничего удивительного. Жизнь куда-то тащит нас, беспомощных, пока мы не растеряем ее по дороге. Вот так, убывая в день по капле, она в нас и угаснет.

Ровно семь лет назад, в ноябре, я получил письмо от некой Софи Феншо. Начиналось оно так: «Вы меня не знаете. Извините за столь внезапное вторжение в вашу жизнь, но в моих нынешних обстоятельствах выбирать не приходится». Будучи замужем за Феншо, она знала, что он мой друг детства, а так как ей попадались мои статьи в журналах, она также знала, что живу я в Нью-Йорке.

Цель письма, без обиняков и предисловий, разъяснялась во втором абзаце. Полгода назад Феншо исчез, и с тех пор

о нем не слышно. Где он, что с ним – ничего не известно. Ни полиции, ни нанятому ею частному детективу не удалось выйти на его след. Хотя нельзя ничего утверждать наверняка, сам собой напрашивается вывод: Феншо нет в живых, а значит, рассчитывать на его возвращение не приходится. В свете сказанного ей хочется обсудить со мной нечто важное, и она спрашивает, не соглашусь ли я с ней встретиться.

Для меня это письмо было как удар током, точнее, как несколько электрических разрядов. Я не мог сразу переварить столько информации, разнонаправленные силы разрывали меня на части. Феншо выскочил из небытия, как черт из табакерки. Выскочил – и снова исчез, осталось одно имя. Он женился, он жил в Нью-Йорке, и все это прошло мимо меня! Чисто эгоистически я воспринял это как щелчок по носу. Мог бы и объявиться. Позвонить или прислать открытку. Посидели бы в баре, вспомнили прошлое. Трудно, что ли? Но моей вины было ничуть не меньше. Если бы я так уж хотел увидеть Феншо, давно бы связался с его матерью и узнал его координаты. Я сам отпустил его от себя. Его жизнь закончилась для меня в ту минуту, когда наши пути-дороги разошлись, и теперь он принадлежал моему прошлому, а не настоящему. Он превратился в призрак, который существовал во мне, в доисторическое существо, в нечто нереальное. Я попытался вспомнить нашу последнюю встречу, но все было словно в дымке. Моя память погрузилась в темные воды и ничего не выудила, если не считать того дня, когда умер его

отец. Мы были тогда старшеклассниками, то есть нам было лет по семнадцать.

Я позвонил Софи Феншо и сказал, что с радостью увижусь с ней в удобное для нее время. Мы договорились встретиться на следующий день, в ее голосе прозвучали нотки благодарности, хотя я ей объяснил, что от Феншо у меня нет никаких известий и о его местонахождении я ничего не знаю.

Она жила в районе Челси, в старом кирпичном многоквартирном доме с мрачными пожарными лестницами, отступавшем от красной линии. Взобравшись на пятый этаж в сопровождении орущих радиоприемников, громких семейных разборок и характерных звуков спускаемой в унитаз воды, я немного отдышался, перед тем как постучать. В дверном глазке промелькнул человеческий глаз, лязгнули запоры, и в проеме появилась Софи Феншо с младенцем на руке. Она улыбнулась и пригласила меня в дом. Ребенок все пытался вцепиться в ее длинные каштановые волосы, она же осторожно увертывалась, а когда ей это надоело, она перехватила его обеими руками и развернула ко мне лицом. Это Бен, сказала она, Феншо-младший, нам три с половиной месяца. Я сделал вид, что в восторге от младенца, который размахивал ручками и пускал слюну, но меня больше интересовала его мать. Счастливчик Феншо! Красавица жена с темными умными глазами, словно насквозь пронзающими собеседника. Худенькая, невысокая, с замедленными движениями, делавшими ее одновременно чувственной и насторожен-

ной, как будто она смотрела на мир бдительным внутренним оком. Ни один нормальный мужчина не оставил бы эту женщину по собственной воле, тем более беременную, это было ясно как божий день. Еще стоя на пороге, я сделал вывод: Феншо нет в живых.

У него была квартира-пенал, четыре скромно обставленные комнатки: кабинет с книгами и рабочим столом, гостиная и две спальни. Общую картину убогости скрашивал образцовый порядок, создававший ощущение уюта. Сразу было видно, что в добывании денег хозяин квартиры не преуспел. Но не мне было смотреть на все это сверху вниз. Сам я жил в условиях еще более стесненных и неказистых и знал не понаслышке, что значит каждый месяц наскребать на квартплату.

Усадив меня на стул, Софи Феншо, опять же с ребенком на одной руке, сделала мне кофе и, усевшись на потертый синий диван, рассказала историю исчезновения мужа.

Они с Феншо познакомились в Нью-Йорке три года назад. Через месяц они съехались и меньше чем через год поженились. Человек он, по ее словам, непростой, но она его любила и имела все основания считать, что он ее любил. Они не ссорились, оба были счастливы, и он с нетерпением ждал рождения ребенка. Как-то в апреле он сказал, что съездит на полдня к матери в Нью-Джерси, – и не вернулся. Когда поздно вечером Софи позвонила своей свекрови, выяснилось, что Феншо у нее не был. Раньше ничего подобного не

случалось. Софи решила запастись терпением и не уподобляться женам, которые, чуть что не так, впадают в панику; она хорошо знала, что ее мужу, больше чем кому-либо, иногда необходимо побыть одному. Она даже сказала себе, что, когда он объявится, не станет задавать никаких вопросов. Но прошла неделя, и еще одна, и пришлось обратиться в полицию. Как она и предполагала, там не сильно озаботились ее проблемой. Если нет признаков, что совершено преступление, стражи порядка умывают руки. Каждый день мужа уходят от своих жен, и большинство из них не горят желанием, чтобы их разыскали. В полиции сделали несколько рутинных проверок, ничего не нарыли и посоветовали ей нанять частного детектива. Свекровь сказала, что оплатит расходы, и Софи обратилась к человеку по фамилии Квинн. Честно отпахав пять или шесть недель, он не захотел зря тянуть из нее деньги и взял самоотвод. По его мнению, Феншо скорее всего был в Америке, живой или мертвый. Квинн не производил впечатления шарлатана. Приятный в общении, он искренне хотел помочь, и с его вердиктом, вынесенным во время их последней встречи, трудно было не согласиться. Сделать ничего нельзя. Если бы Феншо решил уйти от нее, он бы не улизнул вот так, не сказав ни слова. Он не боялся взглянуть правде в глаза, не избегал неприятных объяснений. Поэтому его исчезновение могло означать только одно: произошло непоправимое.

И все же Софи продолжала надеяться на чудо. Ей прихо-

дилось читать о людях с амнезией, и на какое-то время с отчаяния она уверовала, что это тот самый случай. Она рисовала себе картину: Феншо блуждает по каким-то улицам, не помня, кто он и откуда, но он жив и, кто знает, быть может, в любую минуту он снова станет самим собой. А время бежало; не за горами был конец ее беременности. До родов оставался месяц, а то и меньше, мало-помалу все ее помыслы свелись к будущему ребенку, и в ней просто не осталось места для Феншо. Так буквально она выразилась: «Во мне не осталось места для Феншо», – а потом добавила, что, несмотря на трагизм случившегося, она затаила обиду на Феншо, не могла ему простить, что осталась одна, пусть в этом и нет его вины. Суровая прямота ее признания поразила меня. Я никогда не слышал, чтобы человек говорил о своих чувствах с такой беспощадностью, с таким пренебрежением к общепринятым условностям, и только сейчас, поверяя это бумаге, я осознаю, что вовсе не месяц или два спустя, а именно тогда, в нашу первую встречу, подо мной разверзлась земля и я провалился туда, где прежде никогда не был.

Однажды Софи очнулась от тяжелого сна с мыслью, что Феншо не вернется. Это было внезапное озарение из тех, которые не ставятся под сомнение. Всю неделю она прорыдала так, будто оплакивала покойника. Но когда слезы высохли, она поняла, что вместе со слезами из нее ушли последние сожаления. Феншо был мне дан на время, сказала она себе, и это время закончилось. Теперь лишь одно имеет значение

– ребенок. Наверно, это звучало несколько напыщенно, но так она чувствовала, и это помогало ей выжить.

Я задавал ей вопросы, и она отвечала на них спокойно и взвешенно, словно нарочно избегая эмоциональных оценок. Я расспрашивал про их жизнь, про его работу, про те годы, что мы с Феншо не виделись. Когда младенец начал выказывать признаки недовольства, Софи, не прерывая разговора, расстегнула блузку и принялась его кормить, сначала одной грудью, потом другой.

О жизни Феншо до их знакомства она имела весьма смутное представление. Знала, что он проучился в колледже только два года, что ему удалось получить отсрочку от призыва в армию, что какое-то время он плавал на корабле – то ли танкере, то ли сухогрузе. После этого он несколько лет жил во Франции, сначала в Париже, затем работал сторожем на какой-то южной ферме. Подробностей она не знала, поскольку Феншо не любил распространяться о своем прошлом. В Америку он вернулся месяцев за десять до их встречи. Они буквально столкнулись лбами в книжном магазине в Манхэттене, где оба пережидали сильный ливень. С этого момента вплоть до исчезновения Феншо они практически не расставались.

По словам Софи, у Феншо никогда не было постоянной работы или того, что можно назвать настоящей работой. К деньгам он относился с безразличием и предпочитал о них не думать. До знакомства с Софи чего только он не перепро-

бовал: был и моряком на торговом судне, и рабочим на складе, и репетитором, и литературным негром, и официантом, и маляром, и мебельным грузчиком, но надолго его не хватало, и всякий раз, скопив на пару месяцев, он брал расчет. Когда они съехались, Феншо был безработный. Софи преподавала музыку в частной школе, и жили они на ее деньги. Особо не разгуляешься, но на еду хватало, и никто не жаловался.

Я ее не прерывал, понимая, что это только затравка, небольшая прелюдия, за которой последует то, ради чего она меня пригласила. Что бы там Феншо ни сотворил, вряд ли это имело хоть какое-то отношение к его случайным заработкам. Я это сразу понял, еще до всех подробностей. Как-никак речь шла не о ком-нибудь, а о Феншо, человеке, которого я слишком хорошо знал. В конце концов, не так уж много времени прошло с тех пор, как мы виделись.

Видя, что я просчитываю ситуацию на пару ходов вперед и жду, когда же она перейдет к главному, Софи улыбнулась. По-видимому, на это она и рассчитывала, и ее предположения оправдались, так что если у нее и были какие-то сомнения, приглашать меня в гости или не приглашать, то сейчас они окончательно развеялись. Я все понимал, и это давало мне право сидеть напротив и слушать ее историю.

– Он продолжал писать, – вставил я, воспользовавшись паузой. – Он стал писателем, да?

Софи кивнула. Я попал в десятку... или почти в десятку. Но тогда почему я ничего о нем не слышал? Если Феншо стал

писателем, я не мог не наткнуться на его имя в каком-нибудь литературном журнале. Это была сфера моих интересов, и уж кто-кто, а Феншо точно мимо меня не проскочил бы. Может, он не сумел найти издателя? Вопрос напрашивался сам собой, и я его, конечно, задал.

Но все оказалось сложнее. Он даже не пытался печататься. По молодости он робел показывать свои вещи, считая их слишком слабыми, но и позднее, когда пришла уверенность в своих силах, он предпочитал держаться в тени. Поиски издателя отвлекли бы его, объяснял он свою позицию жене, так не лучше ли было сосредоточиться на творчестве? Софи такое безразличие огорчало, но в ответ на все ее попытки вернуться к этой теме он лишь пожимал плечами: дескать, куда торопиться? Рано или поздно он этим займется.

Она уже подумывала о том, чтобы взять это дело в свои руки, и пару раз втайне чуть было не послала его рукопись в издательство, да так и не решилась. Есть правила в семейной жизни, которые нельзя нарушать, и сколь бы ошибочной ни казалась его позиция, она обязана была с ней считаться. А написано им было порядочно, и Софи, конечно, бесило, что все это лежит мертвым грузом в чулане, но, как преданная жена, она старалась помалкивать.

Однажды, месяца за три или четыре до своего исчезновения, Феншо сделал компромиссный жест. Он дал ей слово в течение года связаться с издателем и в доказательство серьезности своих намерений попросил: если почему-либо он

не выполнит своего обещания, пусть она свяжется со мной и передаст все рукописи в мои руки, с тем чтобы я как его душеприказчик распорядился литературным наследством по своему усмотрению. Если я сочту его произведения достойными публикации, он согласится с моим вердиктом. И добавил: если за это время с ним что-то случится, Софи должна сразу же передать все рукописи и предоставить мне возможность предпринять необходимые шаги с условием, что я буду получать двадцать пять процентов от будущих гонораров. Если же я найду его сочинения недостойными публикации, я должен буду вернуть ей рукописи, чтобы она их уничтожила, всё, до последнего листочка.

По словам Софи, высокопарность речи, которой разродился Феншо, стала для нее полной неожиданностью, и она с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. Это было на него не похоже. Она даже подумала: может, на него так повлияло известие о том, что она забеременела? Возможно, его отрезвила мысль о будущем отцовстве, пробудив доселе дремавшее чувство ответственности. Возможно, он перестарался в своем стремлении продемонстрировать благие намерения. Как бы там ни было, эта перемена ее только обрадовала. В последующие месяцы, пока рос ее живот, она даже начала втайне мечтать о финансовом успехе мужа, что позволило бы ей уйти с работы и воспитывать ребенка, не думая о хлебе насущном. Однако все повернулось по-другому: в сумбуре, сопутствовавшем исчезновению Феншо, ей было не до руко-

писей, а позднее, когда жизнь вошла в колею, она тоже не спешила выполнять его инструкции – из суеверия, что это окончательно перечеркнет призрачную надежду увидеть его живым. Но в конце концов она сдалась: слово Феншо для нее закон. Вот почему она написала мне письмо. Вот почему я сидел сейчас перед ней.

Откровенно говоря, я не знал, как реагировать на услышанное. Это предложение застигло меня врасплох, и минуту или две я сидел, молча переваривая то, что на меня обрушилось. Я не мог взять в толк, какие такие причины заставили Феншо выбрать именно меня для этой роли. Мы с ним не виделись больше десяти лет, удивительно, что он меня еще помнил. Так как же я мог взвалить на себя такую ответственность – выступить этаким судьей, который должен решить, ни много ни мало, была ли жизнь Феншо прожита не зря? Софи попробовала внести некоторую ясность. Да, Феншо не давал о себе знать, но он часто про меня рассказывал, и каждый раз, когда всплывало мое имя, он отзывался обо мне как о своем лучшем друге, единственном друге, который у него когда-либо был. Он, кстати, следил за тем, что я пишу, покупал журналы с моими статьями, иногда даже зачитывал ей вслух отдельные куски. Если верить Софи, он восхищался всем, что я делаю, гордился мной и предрекал мне большое будущее.

Я был смущен этими славословиями. В голосе Софи звучал такой напор, как будто ее устами говорил сам Феншо.

Признаюсь, я чувствовал себя польщенным, что было вполне естественно в моем положении. Я переживал трудные времена и, надо сказать, не разделял его высокого мнения о моих достижениях. Да, я напечатал кучу статей, но это был еще не повод собой гордиться, тем более – поживать на лаврах. С моей точки зрения, все это мало отличалось от обычной поденщины. Когда-то я был полон радужных надежд, я видел себя романистом, я собирался написать нечто такое, что будет брать людей за душу, переворачивать их представления о жизни. Но время шло, и мало-помалу я стал свыкаться с мыслью, что этому не бывать. Такой книги, даже в замыслах, не существовало, и в какой-то момент я честно сказал себе, что пора расстаться с иллюзиями. Пиши статьи одну за другой, будь чернорабочим, зарабатывай на жизнь и находи утешение в том, что видишь свое имя напечатанным. Все могло сложиться гораздо хуже, если на то пошло. В неполных тридцать лет я уже завоевал определенную репутацию. Начал я с обзоров поэзии и прозы, а со временем стал браться за все подряд и делал свое дело вполне достойно. Фильмы, пьесы, художественные выставки, концерты, книги, бейсбольные игры – я выполнял любой заказ. Во мне все видели способного молодого человека, подающего надежды критика, сам же я казался себе старым и выдохшимся. Все, чего я до сих пор добился, не стоило ломаного гроша. Так, дорожная пыль, которую сметет первый же порыв ветра.

Вот почему похвала Феншо вызвала во мне смешанные

чувства. С одной стороны, я знал, что он ошибается. А с другой (тут все зыбко) – хотелось верить, что он прав. Может, я сужу себя излишне строго? Стоило мне ступить на эту дорожку, как я начал плутать. Но кто упустит свой шанс реабилитироваться? Кто настолько силен, чтобы отказаться от надежды? В голове промелькнула мысль: «В один прекрасный день я вырасту в собственных глазах», – и, спустя годы, после долгих лет молчания, мое дружеское расположение к Феншо вдруг вспыхнуло с новой силой.

Вот такая история. Я купился на лестный отзыв, похвалу человека, который был то ли жив, то ли мертв, и в минуту слабости сказал «да». Я выразил готовность прочесть произведения Феншо и пообещал сделать все, что будет в моих силах. Софи ответила улыбкой – было это радостью или разочарованием, не знаю, – и с ребенком на руках перешла в другую комнату. Перед высоким дубовым шкафом она остановилась и со словами «вот, пожалуйста» распахнула дверцы настежь. Полки ломились от коробок, папок, скоросшивателей, тетрадей, что стало для меня, полной неожиданностью. Помнится, я выдавил из себя смущенный смешок и попытался отшутиться. Перейдя к делу, мы обсудили, как мне лучше унести все это богатство, и остановились на двух больших чемоданах. Около часа мы складывали и сортировали рукописи и кое-как все упихнули. Да, сказал я, в один присест это не прочтешь. Софи извинилась за то, что взвалила на меня такой труд, а впрочем, спешить некуда. Я заявил, что на ее

месте я бы тоже исполнил последнюю волю Феншо. Все это прозвучало мелодраматично до смешного. Аккуратно положив младенца на ковер, очаровательная Софи крепко обняла меня в знак благодарности и поцеловала в щеку. Мне даже показалось, что она сейчас заплачет, но слез не последовало. Я с трудом сволок тяжеленные чемоданы вниз. На улице мне пришло в голову: «Если сложить все рукописи вместе, по весу как раз получится взрослый мужчина».

## 2

Все не так просто, как мне бы того хотелось. Я любил Феншо, он был моим ближайшим другом, я знал его как облупленного – все правда, и никакие слова не смогут этого умапить. Но здесь не более чем отправная точка, потому что, когда я пытаюсь восстановить картину во всей ее полноте, я понимаю, что не был с ним вполне откровенен, что безотчетно сторонился его. Пожалуй, в его присутствии я никогда не чувствовал себя комфортно, особенно в последние годы. Сказать, что я ему завидовал, было бы, наверно, слишком сильно, – я подозревал, я предчувствовал, что Феншо, по большому счету, лучше меня. В то время я на этом не заикливался, и мне трудно привести конкретный пример. Просто было ощущение, что природой ему отпущено больше великодушия, чем всем нам, что в нем горит неистощимый огонь и что таким цельным, как он, мне никогда не быть.

Его влияние стало проявляться довольно рано, причем даже в мелочах. Если Феншо сдвигал пряжку ремня на бедро, я моментально следовал его примеру. Если он появлялся на детской площадке в черных полукедах, я тут же просил маму купить мне такие же. Если он доставал из портфеля «Робинзона Крузо», я, придя домой из школы, первым делом искал на полке эту книжку. Подобным образом вели себя и другие, но, пожалуй, я был самым рьяным последователем, безого-

ворочно признававшим его власть над нами. Сам Феншо об этом даже не задумывался, и оттого его авторитет лишь еще больше упрочился. Внимание других к его персоне было ему безразлично, он спокойно занимался своими делами и никогда не использовал свое влияние, чтобы манипулировать другими. Он не принимал участия в наших шалостях и проказах, не попадался учителям на крючок. И никто из сверстников не ставил это ему в вину. Феншо стоял особняком, но он же нас и спланивал, к нему мы приходили как к главному арбитру, который беспристрастно разрешал наши мелкие ссоры. Он чем-то притягивал к себе, и хотелось быть с ним рядом, в его поле, от него заряжаться. Он был свой в доску и при этом недосыгаем. В нем угадывалась тайная сердцевина, непроницаемая для окружающих, никому не ведомая заповедная зона. Копируя его, ты некоторым образом причащается этой тайне, но и понимал, что никогда по-настоящему ее не узнаешь.

Я сейчас говорю о нашем раннем детстве, когда нам было лет пять-семь. Многое быльем поросло, а что помнится, частенько предстает в фальшивом свете. И все же навряд ли я ошибусь, если скажу, что сумел сохранить ауру тех дней, и, насколько нам дано пережить заново наше прошлое, я не думаю, что мои нынешние чувства меня обманывают. То, каким Феншо в результате стал, сдается мне, своими корнями уходит туда, в наше детство. Быстро сформировавшись, он уже к первому классу был личностью. В то время как все

мы были аморфными существами в состоянии постоянного возбуждения и, как новорожденные котята, слепо двигались вперед, он привлекал внимание вполне осмысленным поведением. Я не хочу сказать, что Феншо рано повзрослел – он не казался старше своих лет, – просто он, будучи еще ребенком, стал самим собой. По тем или иным причинам бури, которые переживали все мы, обошли его стороной. Его драмы были иного порядка – более закрытыми, наверняка более жестокими – и не сопровождались резкими перепадами в проявлении характера, коими было отмечено наше общее становление.

Один случай вспоминается особенно ярко. Связан он с празднованием дня рождения нашего сверстника из первого или второго класса, то есть речь идет о самом начале временного отрезка, о котором я могу рассуждать вполне определенно. Дело было весной, в субботу, и в гости мы отправились вместе с нашим общим другом Деннисом Уолденом. Жизнь у Денниса была не чета нашей: алкоголичка мать, вкалывающий на двух работах отец, целый выводок братьев и сестер. Пару раз я оказался у них в доме, больше напоминавшем мрачные руины, и хорошо помню, какой страх нагнала на меня его мамаша – ни дать ни взять ведьма из страшной сказки. Дни напролет она проводила в своей комнате, одетая в один и тот же старый халат, и время от времени из приоткрытой двери выглядывало мертвенно-бледное лицо в жутких морщинах, чтобы наорать на детей. В тот день, когда

мы втроем отправились на день рождения, у нас с Феншо были приготовлены подарки для именинника, завернутые в цветную оберточную бумагу и перевязанные ленточкой, все как положено. А вот Деннис шел с пустыми руками и ужасно переживал по этому поводу. Я попытался его успокоить. дескать, в суматохе никто не заметит, и вообще, не бери в голову, всем на это наплевать. Всем, но не Деннису, и Феншо это сразу просек. Без всяких объяснений он отдал ему свой подарок: «На, держи. Я скажу, что забыл подарок дома». В тот момент я подумал, что Деннис откажется, что его оскорбит такое проявление жалости, но я ошибся. После секундного колебания, осмыслив внезапный поворот фортуны, он молча кивнул головой, как бы признавая мудрость поступка. Это была не столько благотворительная акция, сколько жест справедливости, и поэтому в согласии Денниса принять дар не было ничего унижительного. На моих глазах, как по мановению волшебной палочки, одно превратилось в другое, и этот фокус был проделан с той непринужденностью и убедительностью, на какую был способен только Феншо.

После гостей я вместе с Феншо зашел к нему домой. Его мать, сидевшая на кухне, поинтересовалась, как все прошло и понравился ли имениннику подарок. Феншо и рта открыть не успел, как я уже выпалил всю правду. У меня и в мыслях не было его подставлять, просто меня всего распирало. Жест Феншо открыл для меня целый мир: оказывается, можно настолько проникнуться чужими переживаниями, что твои

собственные станут уже неважными. Я впервые стал свидетелем истинно нравственного поступка и ни о чем другом говорить не мог. Что касается матери Феншо, то особого энтузиазма в ее голосе я не почувствовал. Признав, что он проявил доброту и великодушие, миссис Феншо сочла его поступок неправильным. Она купила этот подарок, а он, отдав его в другие руки, если можно так выразиться, украл у нее эти деньги. Мало того, явившись к имениннику без подарка, он проявил свою невоспитанность и этим бросил тень на нее, поскольку именно она, мать, несет ответственность за его действия. Феншо слушал и молчал, даже после того, как она закончила свое внушение. Она спросила, все ли он понял. Да, ответил он. Тем бы все и кончилось, но после короткой паузы он добавил, что все равно считает свой поступок правильным и, невзирая на ее недовольство, в следующий раз поступит точно так же. За этим последовала маленькая сцена. Возмущившись такой дерзостью, миссис Феншо обрушилась на него с обвинениями, но он гнул свое и не уступал ни в какую. Кончилось тем, что он был отправлен к себе наверх, а меня попросили уйти. Меня ужаснула такая несправедливость, но, когда я попробовал за него заступиться, миссис Феншо просто от меня отмахнулась. А тот, кто заварил эту кашу, не стал продолжать бессмысленный спор и молча удалился в свою комнату.

В этом эпизоде весь Феншо: спонтанное проявление великодушия, непоколебимая уверенность в собственной право-

те и молчаливое, почти безропотное смирение перед неизбежными последствиями. Он мог совершить необыкновенный поступок, а потом повести себя так, словно не имел к этому никакого отношения. Иногда это его качество, больше, чем что-либо другое, меня от него отпугивало. Мы сближались, я им восхищался, отчаянно за ним тянулся, и вдруг наступал момент, когда я понимал, что он мне чужой и что моя линия жизни с его внутренним миром несовместимы. Я хотел всего и сразу, меня раздирали самые разные желания, я был во власти сиюминутного – какое уж тут олимпийское безразличие! Для меня было важно находиться в числе первых, производить впечатление на окружающих своим безудержным честолюбием: хорошими отметками, письмами в студенческую газету, высокой оценкой результатов очередной недели. Феншо ко всему такому относился равнодушно – стоял себе в сторонке, как будто его это не касается. Если он успевал в учебе, то вопреки собственным устремлениям, без борьбы, без усилий; не делая на это ставку. Такая поза могла обескуражить кого угодно, и мне потребовалось немало времени, чтобы понять: что хорошо для Феншо, не обязательно годится для меня.

Впрочем, не стоит преувеличивать. Наши расхождения все-таки относятся к более позднему периоду, детство же запомнилось нашей пылкой дружбой. Мы были соседями, и наши дворы, не разделенные забором, выглядели общей лужайкой с гравиевыми дорожками и земляными площадками.

ми, как будто здесь жила одна большая семья. Наши матери – ближайšie подруги, наши отцы – постоянные теннисные партнеры, мы с Феншо – единственные дети... Идеальные условия, ничто не стояло между нами. Мы появились на свет с разницей в одну неделю, эту лужайку исползали на четвереньках вдоль и поперек, оборвали сообща кучу цветов, и свои первые самостоятельные шаги по этой траве мы сделали в один день. (Сохранились фотографии, запечатлевшие сей исторический момент.) Позже в этом общем дворе мы осваивали азы бейсбола и американского футбола. Мы строили форты, устраивали игры, придумывали собственные миры, за этим последовали вылазки в город, велосипедные кроссы, бесконечные разговоры. Мне кажется, невозможно знать другого человека лучше, чем я знал Феншо. В шесть лет мы были настолько привязаны друг к другу, что, по словам моей матери, как-то спросили ее, можно ли мужчине жениться на мужчине. Мы хотели никогда не разлучаться, вот в наших головах и родились матримониальные планы. Феншо собирался стать астрономом, а я ветеринаром. Мы фантазировали, как будем жить на большой ферме, днем ухаживая за животными, а по ночам разглядывая звездное небо.

Тот факт, что Феншо в результате стал писателем, сейчас, задним числом, я нахожу вполне логичным. Его духовный аскетизм, можно сказать, диктовал такой выбор. Уже в младших классах он сочинял короткие рассказы, писателем же считал себя с десяти лет. Поначалу все это, разумеется, вы-

глядело несерьезно. По и Стивенсон были его кумирами, и из-под пера выходили те еще пассажи: «В ту ночь, лета одна тысяча семьсот пятьдесят первого от Рождества Христова, споря с убийственной метелью, я продвигался к родовому поместью, замку моих предков, когда навстречу мне из снежной замети шагнул человек-призрак». Вычурные фразы, экстравагантные сюжетные повороты. В шестом классе, помнится, Феншо написал небольшой, страниц на пятьдесят, детективный роман, который с подачи учительницы он в десять приемов прочитал нам после занятий. Мы все гордились им: он читал как настоящий актер, вживаясь в каждый образ. О чем этот роман, я вам уже не скажу, помню только, что интрига поражала своей сложностью, а в финале разрешалась какая-то путаница между двумя парами близнецов.

Но Феншо никак нельзя назвать книжным червем. Неизменный участник спортивных игр и ключевая фигура нашего сообщества, он не мог стать затворником. В те годы складывалось впечатление, что все ему удавалось: он был первым на бейсбольном поле, в учебе, выделялся своей внешностью. Любое из этих преимуществ уже придало бы ему особый статус, а все вместе они превращали его в настоящего героя, отмеченного богами. И при этом, удивительное дело, он ничем среди нас не выделялся. Не гений, не вундеркинд. Никакого сверхъестественного дара, который бросался бы в глаза. Абсолютно нормальный подросток, я бы даже сказал, в квадрате, если такое возможно, в том смысле, что он был в

полной гармонии с собой, идеально нормальный, в отличие от всех нас.

Феншо, которого я знал, не отличался показной смелостью, тем сильнее поражала безоглядность, с какой он вдруг лез на рожон. За его внешним самообладанием скрывалась какая-то темная сила: потребность испытать себя, рискнуть, пройти по лезвию ножа. Мальчиком он обожал играть на стройках, забираться по лестницам и лесам, балансировать на мостках, перекинутых над бездной, где угадывались остовы машин, мешки с песком и грязная жижа. Пока Феншо выполнял эти трюки, я держался сзади и беззвучно умолял его остановиться (сказать это вслух я боялся, чтобы он, не дай бог, не загремел вниз). Со временем таких поползновений стало только больше. Он говорил мне о том, как важно «распробовать жизнь». Создавать искусственные преграды, стремиться к неизведанному – вот чего он жаждет, особенно с годами. Однажды, когда нам было по пятнадцать, он уговорил меня провести уикенд в Нью-Йорке: мы скитались по улицам, ночевали на вокзальных скамейках Пенн-Стейшн, общались с нищими, морили себя голодом. Помню, как в Центральном парке, в воскресенье, в семь утра, я так надрался, что меня вывернуло на зеленый газон. Для Феншо это было испытанием, очередной проверкой на прочность, а для меня – отвратительным инцидентом, жалкой попыткой сыграть не свою роль. Но я продолжал ему подыгрывать, одурманенная жертва, незадачливый спутник, юный Санчо

Панса, наблюдающий, не слезая с осла, как его собрат сражается в одиночку.

Через пару месяцев после памятного уикенда Феншо повел меня в бордель (этот визит организовал его приятель), и там мы оба потеряли невинность. Помню небольшой дом из бурого песчаника у реки в Верхнем Вест-Сайде и тесную квартирку с темной спальней, отделенной от кухоньки хлипкой занавеской. Нас встретили две темнокожие женщины: одна старая и толстая, другая молодая и хорошенькая. Поскольку никто не хотел иметь дело со старой, нам предстояло решить, кто пойдет первым. В прихожей мы бросили монетку. Феншо, разумеется, выиграл, и я остался в кухне с толстухой. Она называла меня «душкой» и не переставала повторять, что она готова, было бы у меня только желание. В ответ я нервно мотал головой, а из-за шторы доносилось учащенное дыхание моего друга. Я мог думать только об одном: что совсем скоро мой лысый окажется там, где сейчас резвился Феншо. Наконец пришел мой черед. Я впервые видел голую девушку (не знаю, как ее звали); она держалась естественно и мило, и все получилось бы само собой, если бы меня не отвлекали ботинки Феншо: они торчали из-под занавески, такие сияющие от света на кухне, живущие отдельной жизнью от их хозяина. Девушка помогала мне, как могла, но вся эта возня слишком затянулась, и настоящего удовольствия я так и не получил. Когда в наступивших сумерках мы с Феншо вышли на улицу, мне нечего было сказать.

А он шагал рядом вполне довольный, как будто в очередной раз «распробовал жизнь», тем самым еще раз проверив свою теорию. В ту минуту я понял, какой он ненасытный... в отличие от меня.

Мы вели уединенную загородную жизнь. Нью-Йорк, казалось бы, вот он, в каких-то двадцати, милях, но до него нашему замкнутому миру с его лужайками и деревянными домишками было как до Китая. К тринадцати-четырнадцати годам Феншо окончательно превратился в такого внутреннего эмигранта, который формально выполнял все, что от него требовалось, в душе презирая эту жизнь. Он не вступал в конфликты, не бунтовал, просто ушел в себя. Если мальчишкой он всегда был на виду, в центре всех событий, то в старших классах он как будто исчез, спрятавшись в темных кулисах, подальше от ярких огней рампы. Я знал, что Феншо серьезно пишет (хотя он перестал показывать свою прозу кому бы то ни было), но это был скорее симптом, чем причина. Он единственный из нашего десятого класса попал в школьную команду по бейсболу. Прекрасно отыграв несколько недель, он вдруг без видимой причины ушел. На следующий день я узнал от него подробности. После занятия он напрямик направился в тренерскую комнату – вернуть форму. Тренер, только что из душа, стоял возле стола в чем мать родила, если не считать бейсбольной кепки и сигары во рту. Феншо с удовольствием, не скупясь на детали, живописал всю нелепость этой сцены: голый крепыш, метр с той самой кепкой,

стоит на цементном полу в луже воды, ни дать ни взять полотно старых мастеров, – но тем все и ограничилось, броской картинкой, изящными словами, и ни намек на его, Феншо, присутствие. Его решение уйти из команды огорчило меня, я ждал серьезного обоснования, но он отделался одной фразой: «Бейсбол – какая скучища!»

Как это случается со многими одаренными людьми, пришел момент, когда Феншо больше не мог довольствоваться тем, что само плыло ему в руки. Рано усвоив азы, он совершенно естественно стал оглядываться в поисках задачек посложнее. А что могла ему предложить обычная провинциальная школа? Неудивительно, что эти задачки он стал задавать себе сам. Но кажется, тут было кое-что еще. Нельзя не сказать о событиях, происходивших в семье Феншо об эту пору. Оказали ли они существенное влияние, уже другой вопрос, но, думается, здесь мелочей нет. В сущности, каждая жизнь – это всего лишь сумма непредвиденных обстоятельств, хроника случайных пересечений, элементарного везения, беспорядочных событий, которые если что-то и доказывают, так это отсутствие внутренней целесообразности.

Когда Феншо было шестнадцать, у его отца обнаружился рак. Полтора года он наблюдал, как отец умирает. Семья медленно разваливалась. Для его матери удар оказался особенно чувствительным. Стоически не подавая виду, она занималась врачебными консультациями, финансовыми расчетами, домашними обязанностями – но при этом металась

между крайностями: то демонстрировала безудержный оптимизм, то впадала в отчаяние и ступор. По словам Феншо, она была неспособна принять неизбежное, даже когда оно смотрело ей в глаза. Она знала, что должно произойти, однако не имела мужества признать это и жила словно с задержанным дыханием. Ее поведение становилось все более эксцентричным: она могла ночь напролет одержимо заниматься стиркой или драить весь дом, она боялась оставаться одна (и периодически пропадала на несколько часов без всяких объяснений), она нафантазировала себе целый букет болезней (аллергические реакции, гипертония, головокружение). Под конец она увлеклась всякой заумью – астрологией, парапсихологией, спиритизмом, странствиями души, а любой разговор с ней превращался в бесконечную лекцию о распаде человека.

Отношения Феншо с матерью сделались напряженными. Она вела себя так, словно семейная боль была ее личной прерогативой, а у Феншо она искала поддержки, ему отводилась роль этакой надежной опоры – для него самого и для его двенадцатилетней сестры. Ситуация не из простых: после образовавшегося в семье вакуума Феншо стал для Эллен, девочки нервной и неуравновешенной, всем – отцом, матерью, кладезем премудрости и источником утешения. Понимая, что в этой зависимости нет ничего хорошего, изменить ситуацию он не мог, так как больше всего боялся нанести ей психологическую травму. Помню, как моя мама сокруша-

лась по поводу «бедной Джейн» (миссис Феншо) и ужасного положения «ребенка». Но я-то знал: если кто и был страдающей стороной, так это Феншо. Просто он этого не показывал.

Про отца Феншо мне трудно сказать что-то определенное. Он остался для меня загадкой – вроде бы добродушный мальчишка, которого я толком и не знал. Если мой отец старался больше времени проводить с семьей, особенно по выходным, то Феншо-старший в основном отсутствовал. Обычно, засиживаясь в своем офисе, он возвращался домой поздно вечером, а нередко прихватывал и уикенды. Известный юрист, он одно время ударился в политику, но все закончилось серией разочарований. Как обращаться с собственным сыном, он, судя по всему, не ведал; к детям он был равнодушен, о том же, что сам когда-то был ребенком, успел забыть. В своей закоренелой взрослости и абсолютной погруженности в «серьезные проблемы» мистер Феншо, скорее всего, воспринимал нас как каких-то инопланетян.

Он умер, не дожив до пятидесяти. Последние шесть месяцев, когда врачи уже махнули на него рукой, он провел в постели, в собственной спальне: поглядывал во двор, изредка что-то читал, принимал обезболивающее, спал. Феншо проводил с ним почти все свободное время, и, хотя это только мое предположение, мне кажется, отношения между ними потеплели. Во всяком случае, я знаю, сколько сил он к этому приложил: пропускал школу, чтобы побыть с отцом, всегда был на подхвате, ходил за ним, как за ребенком. Тяжелое ис-

пытание, наверно, даже слишком тяжелое, и, хотя он виду не показывал, обнаруживая свойственную одной лишь молодости жизненную силу, есть подозрение, что для него это не прошло бесследно.

Тут мне хотелось бы отметить еще одну вещь. Под занавес, когда в любой момент могла наступить развязка, мы с Феншо решили немного покататься после школы. Стоял февраль, и вскоре пошел легкий снежок. Мы бесцельно кружили по окрестным городкам, пока не оказались возле кладбища, милях в пятнадцати от дома. Ворота оказались открытыми, и мы, не особенно задумываясь, въехали на территорию. Дальше пошли пешком. Читая надписи на могильных плитах, мы пофантазировали, кто кем был при жизни, потом погуляли молча, еще немного поговорили, снова помолчали. Снег уже валил, вокруг все побелело. Вдруг мы очутились перед свежерытой могилой. Мы остановились и заглянули в нее. Помню, какая стояла тишина и какой далекой казалась цивилизация. После долгого молчания Феншо сказал, что хочет посмотреть, как оно там, внутри. Я крепко держал его за руку, пока он спускался. Добравшись до дна ямы, он посмотрел на меня снизу вверх, и губы его тронула улыбка. Он лег на спину, точно покойник. Эта картина врезалась мне в память: Феншо глядит в небо, часто моргая из-за снега, который залепляет ему глаза.

По ассоциации мне вспомнился эпизод, случившийся, когда нам было четыре-пять лет. Родители Феншо купили ка-

кую-то новую технику, кажется телевизор, и несколько месяцев пустая коробка простояла у него в комнате. Он всегда щедро делился со мной своими игрушками, но к этой чудо-коробке меня и близко не подпускал. По словам Феншо, когда он залезал в нее и закрывал верхнюю крышку, он мог переноситься в любое место по своему желанию, а если в коробку залезет кто-то другой, она потеряет свои волшебные свойства. Я жутко расстраивался, но, веря на слово, с просьбами больше не приставал. Мы играли в солдатиков или рисовали, и вдруг, ни с того ни с сего, он объявлял, что уходит в свою коробку. Я пытался как ни в чем не бывало заниматься своим делом. Напрасный труд. Я мог думать только об одном: что там сейчас с ним происходит. Я фантазировал, представляя себе его необыкновенные путешествия. Ничего конкретного я так и не узнал, поскольку по правилам игры рассказывать о своих приключениях он не имел права.

Нечто похожее происходило и с этой открытой могилой. Феншо лежал в ней один, весь в своих мыслях и переживаниях, а я, стоявший рядом, чувствовал себя как стеной отрезанным, словно меня там и не было вовсе. Я догадался, что в эти минуты Феншо воображает себя на месте умершего отца. Вот вам чистый случай: подвернулась вырытая могила, и он поддался внутреннему зову. Как однажды кто-то заметил, истории приключаются с теми, кто может их рассказать. Вероятно, точно так же опыт дается только тем, кто способен его пережить. Вопрос сложный, и ответов на него

у меня нет. В ожидании, когда Феншо вылезет из могилы, я пытался проникнуть в его мысли, увидеть все его глазами. В какой-то момент я задрал голову к потемневшему небу, но мне открылся лишь хаос густо валящего снега.

Когда мы возвращались к машине, солнце уже зашло. Мы молча преодолевали заносы, а метель все набирала силу, и казалось, ей не будет конца. С машиной нас поджидала неприятность. Задние колеса увязли в небольшой канаве, и все наши старания ни к чему не приводили. Мы и толкали, и раскачивали машину, но буксовавшие колеса лишь надрывно визжали в ответ. Промучившись около получаса, мы решили бросить машину. Еще часа два мы добирались авто-стопом, а когда наконец приехали домой, узнали, что в наше отсутствие Феншо-старший скончался.

### 3

Прошло несколько дней, прежде чем я собрался с духом открыть чемоданы. Я писал статью, ходил в кино, откликался на приглашения, от которых обычно отказывался. Кого я хотел обмануть? Я боялся разочарования, слишком многое зависело от моего ответа. Для меня сказать «уничтожьте его рукописи» было все равно что убить Феншо собственными руками. Я был облечен властью стирать живое с лица земли и вторично хоронить покойника. Положение аховое, и лучше умыть руки. Пока я не трогаю эти чемоданы, совесть моя чиста. С другой стороны, дав обещание, я не мог тянуть резину бесконечно. Именно в этот момент (пока я собирался с духом, готовя себя к неизбежному) мною овладел новый страх. Да, я боялся, что проза Феншо окажется плохой, но, как выяснилось, я в равной степени боялся, что она окажется хорошей. Мне это трудно объяснить. Конечно, сказывалось давнее соперничество, опасение, как бы меня не затмил блеск Феншо, но было также ощущение человека, угодившего в ловушку.

Я дал слово. Открыв чемоданы, я стану выразителем интересов Феншо: хочешь не хочешь, а придется говорить от его имени. Обе перспективы меня пугали. Объявить смертный приговор – хорошего мало, но работать на покойника – еще хуже. Несколько дней я метался, выбирая между двумя

этими страхами, и кончилось тем (кто бы сомневался!), что я открыл чемоданы. Но уже не столько из-за Феншо, сколько из-за Софи. Я должен был ее увидеть, из чего следовало: чем скорее я приступлю к работе, тем раньше у меня появится повод ей позвонить.

По существу дела мне почти нечего прибавить. Кто сегодня не знает прозы Феншо? Ее давно прочли и обсудили, ей посвятили статьи и исследования, она сделалась достоянием общественности: Одно скажу: все мои переживания можно было спрятать подальше, и, чтобы это понять, мне хватило часа или двух. Оценить текст, донести его до читателей, поверить в силу печатного слова – это перевешивает все, и даже собственная жизнь вдруг становится чем-то второстепенным. Не для того это говорю, чтобы похвастаться своей проницательностью или выставить себя в более выгодном свете. Я был первым, но это единственное, чем я отличался от любого другого. Окажись проза Феншо хуже, и моя роль была бы иной: надо полагать, более важной, даже решающей в плане конечного результата. А так я был всего лишь невидимым инструментом. Каменная глыба уже покатила с горы, и, даже если бы я это отрицал и делал вид, будто не открывал чемоданы, она бы все равно катилась вниз по закону инерции, сметая преграды на своем пути.

Около недели ушло у меня на то, чтобы все переварить и привести в порядок: отделить законченные произведения от набросков и расположить их в более или менее правильном

хронологическом порядке. Самая ранняя вещь, стихотворение, датировалась шестьдесят третьим годом (Феншо только исполнилось шестнадцать), а последняя была закончена в семьдесят шестом (за месяц до его исчезновения). Общим счетом там было за сотню стихотворений, три романа (два коротких, один большой) и пять одноактных пьес, плюс тринадцать блокнотов с незавершенными произведениями, набросками, зарисовками, заметками о прочитанных книгах и новыми идеями. Ни писем, ни дневников – ничего, что позволило бы заглянуть в частную жизнь. Этого я ожидал. Человек, который прячется от мира, умеет замечать следы. И все же я надеялся найти среди бумаг хоть что-то имеющее отношение ко мне – распорядительное письмо или дневниковую запись, где бы я назывался литературным душеприказчиком. Ни одного слова. Феншо словно говорил: решай сам.

Я позвонил Софи, и мы договорились на следующий день вместе поужинать. Я предложил модный французский ресторан (который был мне явно не по средствам), из чего, думаю, она могла догадаться о моей реакции на прочитанное. Но если не считать этого намека на маленькое торжество, я был предельно краток. Я хотел, чтобы события развивались сами собой, никаких резких движений, никаких преждевременных жестов. В прозе Феншо я был уверен, а вот делать первые шаги навстречу Софи побаивался. Слишком многое зависело от моих действий, одна оплошность – и все потеряно. Сознала это Софи или нет, но отныне мы с ней были

повязаны, по крайней мере как партнеры, продвигающие сочинения Феншо. Но я желал большего, и хотелось, чтобы так же этого желала Софи. Обуздывая нетерпение, я урезонивал себя, призывая мыслить стратегически.

Она вошла в ресторан (черное шелковое платье, миниатюрные серебряные сережки, убранные назад волосы, открывающие шею) и, увидев меня у стойки бара, одарила лукавой улыбкой заговорщицы, словно говорившей «я знаю, что хороша собой», но не только это: в ней еще сквозило отношение к неординарности ситуации, попытка оценить, насколько далеко нас может завести эта встреча. На мои слова, что сегодня она бесподобна, Софи ответила немного загадочно, что после рождения Бена это ее первый выход в свет и ей хотелось выглядеть «иначе». Я решил сразу перейти к делу, загнав свои эмоции подальше. Нас проводили за наш столик (белая скатерть, тяжелые серебряные приборы, красный тюльпан в элегантной вазе), и, когда она снова мне улыбнулась, я заговорил о Феншо.

Похоже, я ее ничем не удивил. Я не сказал ничего такого, чего бы она не знала, больше того, с этой мыслью она давно свыклась. И открывающиеся перспективы, как ни странно, ее не вдохновили. В ее поведении проглядывала смутившая меня настороженность, и несколько минут я пребывал в растерянности. Но постепенно я стал понимать, что ход ее мыслей мало чем отличался от моего. Феншо исчез из ее жизни, и у нее были все основания восставать против ноши, кото-

рую он на нее взвалил. Опубликовать Феншо, посвящать себя ушедшему человеку значило жить прошлым, и, как бы она ни пыталась выстроить новую жизнь, это будет омрачено навязанной ей ролью – официальной вдовы, музы ушедшего писателя, героини современной трагедии. Никто не желает быть персонажем литературной фантазии, особенно если эта фантазия становится реальностью. В свои двадцать шесть Софи была еще слишком молода, чтобы жить не своей жизнью, слишком умна, чтобы не думать о самостоятельной судьбе. И в данном случае не имеет значения ее любовь к мужу. Феншо больше нет на свете, и пришло время перевернуть страницу.

Вслух всего этого никто, разумеется, не произнес, но подтекст чувствовался, и игнорировать его было бы глупо. Честно говоря, я тоже не рвался в бой, и отчасти даже странно, что я выступил в роли факелоносца, но я понимал: если не возьму инициативу в свои руки, дело не сдвинется с мертвой точки.

– Вам не обязательно всем этим заниматься, – сказал я. – Я, естественно, буду обращаться к вам за консультациями, но это много времени не отнимет. Если вы хотите оставить все решения за мной, ради бога.

– Конечно за вами, – поспешила согласиться она. – Я в этом ничего не понимаю. Если бы я попробовала вникнуть, я бы через пять минут запуталась.

– Тут главное знать, что мы делаем общее дело, – сказал

я. – В конечном счете все сводится к одному: доверяете ли вы мне.

– Доверяю.

– Для этого у вас нет оснований. Пока, во всяком случае.

– Да, но я вам доверяю.

– Вот так просто?

– Вот так просто.

Она улыбнулась, и больше мы к Феншо не возвращались. Вообще-то я собирался обсудить с ней разные детали – порядок публикаций, круг возможных издателей, полезные контакты и т. п., – но увидел, что сейчас это будет не к месту. Софи явно не хотелось забивать себе голову такими вещами, и стоило мне успокоить ее на сей предмет, как к ней быстро вернулась былая непринужденность. После долгих испытаний впервые получив возможность переключиться хотя бы ненадолго, она настроилась в полной мере насладиться маленькими радостями – атмосферой, едой, уже просто тем, что выбралась из дома. Она хотела получить удовольствие, и мог ли я отказать ей в этом?

В тот вечер я был в ударе. Вдохновленный моей дамой, я пустился с места в карьер: шутил, травил байки, проделывал нехитрые фокусы со столовыми приборами. Сидевшая напротив женщина была так красива, что я не мог оторвать от нее взгляда. Хотелось разглядывать ее смеющийся рот, ее реакцию на мои слова, ее глаза, ее жесты. Одному богу известно, какую чушь я нес, но я стараюсь маскироваться, пря-

ча за внешней мишурой свои истинные мотивы. Это было самое трудное. Я знал, что Софи одинока, что ей не хватает физической близости, но просто переспать не входило в мои планы, а если бы я стал форсировать события, скорее всего этим бы все и ограничилось. Тогда, в самом начале, рядом еще витал дух Феншо, незримая сила, связующая нить, благодаря которой мы оказались вместе. Чтобы он исчез, требовалось время, и я был готов ждать.

Все это создавало восхитительное напряжение. Самая невинная реплика приобретала эротический оттенок, слова превращаясь в тайный шифр. Говорилось одно, а подразумевалось другое. Но пока мы избегали главной темы, чары не рассеивались. Мы и оба как-то незаметно втянулись в затейливый пинг-понг, и эта игра только набирала силу, поскольку никто не думал отказываться от замысловатых выпадов. Мы оба отлично знали, что происходит, но делали вид, будто этого не понимаем. Так началось мое ухаживание за Софи – издали, осторожно, едва заметными шажочками.

После ужина минут двадцать мы погуляли в сгустившихся ноябрьских сумерках, а закончили вечер в баре. Я курил сигарету за сигаретой, но это единственное, что могло выдать мое внутреннее волнение. О чем бы Софи ни рассказывала: о своей семье в Миннесоте и трех младших сестрах, о переезде в Нью-Йорк восемь лет назад, о преподавании музыки в школе, куда она собиралась вернуться через год, – к тому моменту мы уже так втянулись в свой шуточный спарринг,

что чуть не каждая фраза вызывала смех. Так могло продолжаться бесконечно, но пора было подумать о бэби-ситтере, и около полуночи мы наконец решили поставить точку. Я проводил ее до дому и там предпринял последнюю героическую попытку не дать волю своим чувствам.

– Спасибо, доктор, – сказала Софи. – Операция прошла успешно.

– Мои пациенты всегда выживают, – парировал я. – Это веселящий газ. Включил краник – и им сразу становится лучше.

– А не может возникнуть привыкания к газу?

– То-то и оно. Обычно пациенты возвращаются, и приходится проводить повторные операции. А откуда, вы думаете, у меня деньги, чтобы оплатить квартиру на Парк-авеню и лето во Франции?

– Так значит, вами движет...

– Ну да, корысть.

– У вас, наверно, большая практика.

– Была. Я почти отошел от дел. В настоящий момент у меня всего одна пациентка, и та, боюсь, больше не появится.

– Появится, – сказала Софи с застенчивой, совершенно неподражаемой улыбкой. – Можете не сомневаться.

– Приятно слышать. Я скажу своей секретарше, чтобы она вам позвонила и записала на следующий прием.

– Пусть не откладывает. При таком сложном лечении опасно терять время.

– Очень мудро. Надо будет пополнить наши запасы веселящего газа.

– Уж пожалуйста, доктор. Вы же видите – он пошел мне на пользу.

Мы оба улыбнулись. Я заключил ее в крепкие дружеские объятия и, быстро поцеловав в губы, поспешно ретировался.

Дома, поняв, что не усну, я посмотрел длинный фильм о Марко Поло и около четырех утра, посреди старого выпуска «Сумеречной зоны», в конце концов отрубился.

Перво-наперво я связался со Стюартом Зелениным, работавшим в одном крупном издательстве. Я знал его не очень хорошо, но наше детство прошло в маленьком городке, а его младший брат Роджер учился с нами в одной школе. Я надеялся, что Стюарт вспомнит Феншо и даст мне повод повернуть разговор в нужное русло. За последние годы я сталкивался с ним в разных местах; неизменно дружелюбный, он вспоминал «старое доброе время» и обещал при случае передать от меня привет Роджеру. Мне трудно было предвидеть реакцию Стюарта, но мой звонок, похоже, его обрадовал. Мы договорились встретиться на неделе у него в офисе.

Он не сразу сообразил, о ком идет речь. То есть имя было ему знакомо, но он не мог вспомнить, в связи с чем. Чтобы освежить в его памяти давние события, я назвал нескольких друзей его младшего брата, и прием сработал.

– Ну как же, – сказал он. – Феншо, маленький вундеркинд.

Будущий американский президент, как утверждал мой брат. – Он самый, – подтвердил я, после чего изложил суть дела. Стюарт отличался известной чопорностью, типичный выпускник Гарварда, носящий твидовый пиджак и галстук-бабочку, и, хотя в душе он был человеком компанейским, в издательском мире он слыл интеллектуалом-одиночкой. Он успешно продвигался по службе – в тридцать с небольшим уже старший редактор, по-настоящему крепкий и ответственный, такой далеко пойдет. Говорю это лишь затем, чтобы вы поняли: он был не из тех, кто готов сразу схватить наживку. Никакой романтики, в каждом шаге осторожность и деловой подход. Но у меня почему-то возникло ощущение, что он заинтересовался, а стоило мне углубиться в тему, как у него загорелись глаза.

Конечно, он ничего не терял. Если проза Феншо ему не понравится, он так мне и скажет, и все дела. Возвращать рукописи – часть его работы, и он бы не стал рассусоливать. С другой стороны, если Феншо оправдает авансы, которые я ему выдал, публикация его произведений может укрепить репутацию редактора. Он тоже окажется в лучах славы как человек, открывший для Америки неизвестного гения, и еще долго будет пожинать плоды этого успеха.

Я передал ему увесистую рукопись. Если уж печатать, говорю, то или ничего, или все: стихи, пьесы, еще две прозаические вещи, ну а знакомство с автором будет логичным начать с его главного труда. Речь, конечно же, шла о романе

«Небыляндия».<sup>2</sup> Название Стюарту понравилось, но, когда он попросил меня рассказать, о чем он, я не стал этого делать, мол, будет лучше, если он выяснит это сам. У Стюарта полезла вверх одна бровь (уж не в Оксфорде ли, где он отучился год, перенял он этот трюк?), что, по-видимому, означало: «Зачем играть со мной в эти игры?» Но это не была игра с моей стороны. Просто я не хотел на него давить. Книга говорила сама за себя, зачем же портить ему удовольствие? Пусть прочтет ее свежим глазом: без путеводителя, без компаса, без провожатого.

Через три недели он мне позвонил с новостями – не то чтобы хорошими, но и не плохими, скорее, обнадеживающими. По словам Стюарта, редакторы в целом готовы поддержать рукопись, но, прежде чем решить окончательно, они хотят взглянуть на другие произведения. Предвидя подобную реакцию (благоразумная осторожность, когда игрок прижимает карты к себе поближе), я пообещал Стюарту завтра же занести ему все остальное.

– Странная штука, – он показал на рукопись Феншо, лежавшую у него на столе. – Прямо скажем, нетипичный роман. Вообще нетипичная вещь. Не знаю, будем ли мы его печатать, но если да, то это, безусловно, риск.

– Пожалуй, – согласился я. – Тем интереснее.

– Жаль, что Феншо уже нет, а то бы я с ним поработал.

---

<sup>2</sup> Т. е. Neverland – волшебная страна-остров из «Питера Пэна» Д. М. Барри (1911). В русских переводах также называлась Нетинебудет, Гдетотам и др.

Кое-что изменили, кое-что подсократили. В результате, я уверен, книга только выиграла бы.

– Это в тебе говорит редактор. При виде рукописи ты хватаешься за красный карандаш. Мне кажется, те места, которые сейчас вызывают твои возражения, со временем тебя переубедят и ты еще порадуешься, что оставил все как есть.

– Посмотрим, – уклончиво ответил Стюарт, не желая сдаваться. – Но то, что парень владеет словом, это факт. Прошло уже больше двух недель, а кажется, будто вчера прочитал. Эта вещь не выходит у меня из головы. Постоянно к ней возвращаюсь, причем в самые неподходящие моменты. В ванной, на улице, перед сном – вдруг ловлю себя на том, что опять о ней думаю. Со мной такое бывает не часто. Когда читаешь столько рукописей, в голове все перемешивается. А эта вещь берет тебя и не отпускает. Что-то в ней есть, и, самое странное, я не понимаю – что.

– Может, это та самая лакмусовая бумажка? Со мной, между прочим, такая же история. Эта книга застряла у меня в мозгу, я не могу от нее избавиться.

– А как насчет остального?

– То же самое. Не выходят из головы. Стюарт покрутил головой, и впервые я увидел, что книга по-настоящему его захватила. Куда-то вдруг исчезли его высокомерие и позерство, и в это мгновение он был мне почти симпатичен.

– Кажется, мы на верном пути, – сказал он. – Если все так, как ты говоришь, то мы определенно на верном пути.

Еще бы. Действительность превзошла его прогноз. Еще до конца месяца издательство включило рукопись в план, а заодно приобрело права на остальные произведения. Четвертая часть аванса, которую я получил, дала мне возможность подготовить сборник стихотворений. Я также встретился с несколькими театральными режиссерами на предмет постановки пьес. Со временем это тоже дало результат: небольшой региональный театр запланировал выпустить три одноактовки через полтора месяца после выхода в свет романа «Небыляндия». Между тем, заручившись предварительным согласием редактора серьезного журнала, с которым я периодически сотрудничал, я написал материал о Феншо. Получилась большая и довольно экзотическая статья, может быть, лучшее из всего мною тогда написанного.

В журнале она должна была появиться за два месяца до выхода романа. В общем, завертелась карусель.

Признаюсь, меня это захватило. Одно влекло за собой другое, и не успел я оглянуться, как заработала целая индустрия. У меня голова шла кругом. Я чувствовал себя инженером-оператором, который нажимает на кнопки и переключает рычаги, бегаёт от клапанной камеры к распределительному щитку, отлаживает детали, совершенствует механизмы, прислушивается к пыхтению мотора и прочим шумам, безразличный ко всему, что не имеет прямого отношения к его детищу. Я был сумасшедшим ученым, создавшим чудо-машину, и чем больше она дымила и грохотала, тем счастливее

я становился.

Наверно, так было нужно: без толики безумия едва ли я сумел бы раскрутить этот маховик. Если в самом начале мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы внутренне примириться с этим проектом, то теперь мне оставалось только поставить знак равенства между успехом Феншо и моим собственным. Неожиданно появилась великая цель, которая утверждала меня в собственных глазах, придавала мне значимости, и, кажется, чем больше я весь уходил в амбиции, связанные с Феншо, тем отчетливее сам оказывался в фокусе. Это не оправдание, а констатация факта. Задним числом понимаю, что искал приключений на свою голову, но тогда я не отдавал себе в этом отчета. А хоть бы и отдавал, вряд ли это что-то изменило бы.

Разумеется, всеми моими действиями руководило желание быть возле Софи. Со временем для меня стало обычным делом звонить ей три-четыре раза в неделю, встречаться за ланчем, совершать прогулки по окрестностям вместе с ней и маленьким Беном. Я познакомил ее со Стюартом Зелениным и театральным режиссером, заинтересовавшимся пьесами Феншо, я нашел ей адвоката, который должен был заниматься контрактами и другими правовыми вопросами. Софи относилась к этому легко, для нее подобные встречи были скорее светскими, чем деловыми, и она сразу давала понять собеседникам, что здесь все решаю я. Не желая чувствовать себя чем-то обязанной мужу, она, видимо, сказала

себе: как бы все ни складывалось, держи дистанцию. Шальные деньги ее, конечно, радовали, но она как будто не связывала их напрямую с непосредственным виновником успеха. То был неожиданный подарок, выигравший лотерейный билет, манна небесная. Свистопляску вокруг имени Феншо она с самого начала не воспринимала всерьез. Вся трагическая нелепость ситуации лежала для нее на поверхности, а стремления разбогатеть, не упустить свою выгоду у нее не было, поэтому голову она не потеряла.

Я не прекращал ухаживаний. Прозрачность моих мотивов скорее работала на меня. Софи понимала, что я влюбился, и то, что я на нее не давил, не требовал каких-то признаний, должно было только убеждать ее в серьезности моих намерений. Но я не мог ждать бесконечно! Терпение вещь хорошая, в определенных пределах, в противном случае оно бывает фатальным. В какой-то момент я почувствовал, что мы больше не обмениваемся уколами, наши отношения сделались устойчивыми. Оценивая их сейчас, я, пожалуй, воспользуюсь традиционной терминологией: «любовь». Так и хочется прибегнуть к метафорам зноя, огня и преград, сгорающих в пожаре неудержимых страстей. Понимая всю напыщенность подобных сравнений, я тем не менее нахожу их достаточно точными. Для меня мир изменился, и слова, смысл которых я раньше не понимал, вдруг стали доступны. Это было откровением, и когда я в полной мере постиг его суть, то поразился, как могли так долго не доходить до меня простые

вещи. Я говорю не столько о самом физическом влечении, сколько об открытии, что через физическое влечение два человека способны создать нечто такое, чего не добиться порознь. Мне кажется, это новое знание меня изменило, сделало более человечным. Принадлежать Софи как будто означало принадлежать всем людям. Оказалось, мое истинное место в этом мире находится где-то вовне, а не внутри меня. Обнаружился крошечный зазор между «я» и «не-я», он-то и стал для меня центром мироздания.

Мне стукнуло тридцать. Софи, с которой к тому времени мы были знакомы уже три месяца, настаивала на том, чтобы это отметить. Поначалу я отнекивался, так как никогда не придавал значения таким вещам, но Софи сумела меня переубедить. Она преподнесла мне дорогое иллюстрированное издание «Моби Дика», устроила ужин в хорошем ресторане, а затем потащила в «Метрополитен» на «Бориса Годунова». В кои-то веки я плыл по течению, не гадая, чем это для меня закончится, не забегая вперед, не контролируя свои чувства. Возможно, мне передаюсь новообретенная отвага Софи; возможно, она дала мне понять, что она уже все для себя решила и нам поздно идти на попятный. Так или иначе, в этот вечер действительно все решилось, и вопрос, что будет дальше, сам собой отпал. Мы вернулись домой около половины двенадцатого, Софи расплатилась с сонной бэби-ситтершей, мы на цыпочках прошли в детскую и остановились у кровати. Я отчетливо помню, что мы не произнесли ни

слова и единственными звуками были тихие рулады, которые выдавай во сне Бен. Склонившись над оградкой, мы разглядывали маленький комочек: Бен лежал на животе, поджав под себя ножки и задрав кверху попу, два или три пальца он засунул в рот.

Прошло, наверно, не больше трех минут, а показалось – вечность. Вдруг мы оба выпрямились, как по команде, и начали целоваться. О том, что было дальше, словами не расскажешь. Такие вещи настолько плохо поддаются описанию, что не стоит и пытаться. Скажу одно: мы проваливались друг в друга, как в бездну, и это происходило так стремительно, что нас было уже не спасти. Ну вот, я опять прибегаю к метафоре. Впрочем, неважно. Есть у меня подходящие слова или нет, это никак не может повлиять на суть случившегося. А суть в том, что не было в моей жизни такого поцелуя и сомневаюсь, что еще когда-нибудь будет.

Я провел ночь в постели Софи и уже не мог там не остаться. Днем я работал дома, а вечером возвращался к Софи. Я сделался членом семьи: покупал продукты, менял Бену подгузники, выносил мусор. Тесное общение с женщиной было для меня в новинку. Шли месяцы, а я не переставал удивляться; я открыл в себе талант семьянина. Быть с Софи – наверно, это было мне на роду написано. Рядом с ней я становился сильнее, лучше. Удивительное дело: если бы не исчезновение Феншо, ничего бы этого не было. Это он свел нас. Я был его должником, но единственное, чем я мог ему отплатить, это популяризировать его творчество.

Моя статья в журнале, кажется, произвела нужный эффект. Мне позвонил Стюарт Зеленин и назвал ее «хорошим подспорьем»; понимай так, что он как человек, отвечающий за включение романа в тематический план, мог теперь чувствовать себя более уверенно. После интереса, который вызвала эта статья, Феншо уже не казался таким котом в мешке. Когда же роман вышел, все рецензии как на подбор были благожелательными, а некоторые так просто хвалебными. Такого мы не ожидали. Это была сказка, о которой мечтает всякий писатель; если честно, я даже немного растерялся. В реальном мире такого не бывает. Прошло лишь несколько недель после публикации, а продажи уже превысили расчет-

ные цифры на годовую перспективу. Запустили второй тираж, в газетах и журналах появились анонсы, и наконец права были проданы издательству, выпускающему романы в бумажной обложке. Я не хочу сказать, что книга Феншо стала бестселлером, а Софи – без пяти минут миллионершей, но если учесть, с какой серьезной и трудной для восприятия вещью мы имеем дело и как массовый читатель «любит» подобную литературу, то успех романа «Небыляндия» превзошел наши самые смелые прогнозы.

В сущности, здесь следовало бы поставить точку. Гений ушел молодым, но его творчество продолжает жить. А красавицу вдову спас от одиночества его друг детства, и этой счастливой паре суждена долгая-долгая жизнь. Вот, собственно, и все, актеры выходят на поклон. Но, как выяснилось, это было лишь начало. Все, что я до сих пор написал, не более чем краткий синопсис, прелюдия к главной истории. Не было бы ее, ничего бы не было, и не стоило бы тогда городить огород. Только тьма обладает силой, заставляющей человека открыть свое сердце миру, и я чувствую, как при одной мысли о случившемся тьма сгущается вокруг меня. Мне нужна смелость, чтобы об этом написать, если же умолчу, то у меня нет шансов на спасение. Но кто сказал, что я спасусь, даже если поведаю всю правду? История без конца обречена на то, чтобы длиться вечно, и тот, кто в нее вовлечен, должен умереть, не доиграв свою роль. Остается лишь надеяться, что у моей истории будет конец и в окружающей меня

тyme найдется просвет. Эту надежду я называю смелостью; есть ли у меня основания надеяться – уже другой вопрос.

Это случилось недели через три после премьеры пьес. Как всегда, я провел ночь у Софи, а утром отправился к себе, чтобы поработать. Мне надо было закончить обзорную статью, посвященную четырем или пяти сборникам поэзии, такой литературный винегрет, сплошное мучение, и, помнится, я никак не мог сосредоточиться. Мои мысли витали где-то далеко, и каждые пять минут я вставал из-за стола и прохаживался по комнате. Накануне Стюарт сказал мне странную вещь, и я не мог выкинуть это из головы. Пошли разговоры, что никакого Феншо не существует, все это большая мистификация: я его выдумал и приписал ему собственные книги. Моей первой реакцией был смех. Я пошутил, что, мол, Шекспир тоже не писал пьес. Однако по зрелому размышлению, не зная, воспринимать это как оскорбление или как комплимент, я начал задавать себе вопросы. Люди не верят, что я могу говорить правду? Тогда что, по их мнению, могло подвигнуть меня создать все эти произведения и отказаться от авторства? Наконец, главный вывод: меня считают способным написать такую сильную вещь, как «Небыландия»! Я вдруг понял: после того как все произведения Феншо будут опубликованы, я вполне мог бы написать парочку книг и выпустить их под его фамилией. Я, естественно, не собирался этого делать, но сама возможность подсказывала самые невероятные и увлекательные сюжеты: к ка-

ким последствиям может привести решение писателя поставить свое имя на обложку книги? почему писатель скрывается под псевдонимом? вообще, есть ли у писателя своя невымышленная жизнь? Мысль что-то написать под чужим именем, примерить на себя маску захватила меня, и я недоумевал, чем эта перспектива меня так привлекает. Одна идея тут же породила другую, и, пока они себя исчерпали, все утро пошло коту под хвост.

Как-то незаметно стрелка часов подобралась к одиннадцати тридцати, когда доставляли корреспонденцию; пришло время совершить ритуальное паломничество к почтовому ящику. Всякий раз для меня это было событием, и я не мог относиться к нему спокойно. Всегда есть надежда на хорошую новость – неожиданный чек, рабочий заказ, письмо, которое может перевернуть твою жизнь. Эта привычка – ожидание чуда – так укоренилась во мне, что при одном виде почтового ящика я ощущал прилив крови. Он был моим тайным прибежищем, единственным на свете местом, которое принадлежало мне, и только мне. И при этом он связывал меня с остальным миром, его магическая темнота обладала силой творить чудеса.

В тот день в ящике лежало только одно письмо. Обычный белый конверт с нью-йоркским штемпелем, без обратного адреса. Почерк мне ни о чем не говорил, да и не мог сказать, поскольку мое имя и адрес были написаны печатными буквами, так что я ведать не ведал, от кого письмо. Я

вскрыл конверт в лифте, и там, по пути на девятый этаж, мир рухнул мне на голову.

«Не сердись, – так начиналось послание. – Рискуя довести тебя до сердечного приступа, я решил написать, в первый и в последний раз, чтобы поблагодарить тебя за все, что ты сделал. Я не сомневался, что на тебя можно положиться, но ты превзошел мои ожидания. Ты раздвинул границы возможного, и я твой должник. Зная, что Софи и ребенок в надежных руках, я могу жить с чистой совестью.

Я не собираюсь объяснять свои действия. Я хочу, чтобы, невзирая на это письмо, ты считал меня мертвым. Самое главное, никто не должен знать, что ты получил от меня весточку. Меня все равно не найдут, так что, обнародовав эту новость, ты только создашь никому не нужные неприятности. И разумеется, ни слова Софи. Пусть она подаст на развод, а затем как можно скорее поженитесь. Верю, что ты так и поступишь, и даю тебе мои благословения. Ребенку нужен отец, и, кроме как на тебя, мне не на кого рассчитывать.

Нет, я не потерял рассудок. Хотя необходимые решения, которые я принял, кое-кому принесли страдания, мой уход был наилучшим и наигуманнейшим шагом.

День спустя семь лет после моего исчезновения станет днем моей смерти. Я вынес себе приговор, который обжалованию не подлежит.

Прошу, не ищи меня. Быть обнаруженным не входит в мои расчеты, и, как мне кажется, я имею право на то, чтобы

прожить остаток жизни по своему усмотрению. Терпеть не могу угроз, но у меня нет другого выхода, поэтому должен тебя предупредить: если каким-то чудом ты меня все-таки найдешь, я тебя убью.

Мне приятно, что мои сочинения вызывают такой интерес. У меня и в мыслях не было, что нечто подобное может случиться. Но сейчас я так далек от всего этого. Сочинительство осталось для меня в другой жизни, и сейчас все, что с ним связано, оставляет меня равнодушным. Я не собираюсь заявлять свои претензии на гонорары и с удовольствием отдаю их тебе и Софи. Писательство – это болезнь, которая слишком долго мучила меня, но теперь я излечился.

Можешь быть уверенным, больше ты меня не услышишь. Я избавляю тебя от своей персоны и желаю долгой и счастливой жизни. Как хорошо, что все закончилось именно так. Ты мой друг, и я очень надеюсь, что ты навсегда останешься таким, какой ты есть. Что касается меня, то это отдельная история. Пожелай мне удачи».

Подпись отсутствовала, и в ближайшие час или два я пытался убедить себя, что это розыгрыш. Если письмо действительно написал Феншо, почему он не подписался? Я цеплялся за это как за свидетельство обмана, отчаянно пытаюсь найти предлог, позволяющий закрыть глаза на случившееся. Но моего оптимизма хватило ненадолго, и постепенно я заставил себя обратиться к фактам. У адресата было достаточно причин ни разу не упомянуть своего имени, и чем боль-

ше я над этим размышлял, тем очевиднее становился вывод: именно эта деталь говорила в пользу подлинности письма. Какой-нибудь шутник непременно употребил бы его, и не один раз, но настоящий автор об этом просто не задумался бы: только тот, кто не замышляет обман, настолько в себе уверен, чтобы допустить столь явный ляп. И не забудем конец письма: «... ты останешься таким, какой ты есть. Что касается меня, то это отдельная история». Иными словами, Феншо стал другим человеком? Что он жил под чужим именем, сомнений не вызывало, но как и где? Почтовый штемпель Нью-Йорка вроде бы служил подсказкой. Хотя с таким же успехом мог быть обманным ходом, элементарной дезой, призванной сбить меня со следа. Феншо проявил большую осмотрительность. Я перечитывал письмо снова и снова, пытаюсь разобрать его по косточкам, подобрать ключ, прочесть что-то между строк, – пустой номер. Текст производил впечатление такой непрозрачной темной глыбы, что любая попытка проникнуть внутрь оборачивалась неудачей. В конце концов я сдался, расписавшись в своей беспомощности, письмо же спрятал в ящик стола с ощущением, что к прежней жизни возврата нет и не будет.

Больше всего меня удручала собственная глупость. Оглядываясь назад, я вижу, что все факты были налицо – уже в нашу первую встречу с Софи. Феншо, который годами не печатается, вдруг дает инструкции жене, что делать, если с ним что-то случится (связаться со мной, опубликовать его

труды), и исчезает. Куда уж яснее. Человек хотел уйти, и он ушел. В один прекрасный день взял и бросил свою беременную жену, а так как она ему безоговорочно верила и в страшном сне не могла себе представить, что он на это способен, ей ничего не оставалось, как принять версию о его смерти. Софи искренне заблуждалась, и ее легко можно понять. В отличие от меня. С первого дня я ни разу не дал себе труда проанализировать ситуацию. Я тут же клюнул, с удовольствием принял ее ошибочную трактовку событий, а затем попросту перестал думать на эту тему. Убивать надо за такие грехи.

Шли дни. Инстинкт подсказывал мне, что надо обо всем рассказать Софи, показать ей письмо, но я не мог себя заставить сделать это. Меня сковывал страх, я был слишком неуверен в ее реакции. В минуты твердости я убеждал себя: молчание – единственный способ оградить ее от неприятностей. Ну узнает она, что Феншо ее бросил, и какая ей от этого радость? Она станет корить себя за случившееся, а я не хотел причинять ей боль. Впрочем, за этим благородным молчанием скрывалось еще одно, замешанное на моих собственных страхах. Если Софи узнает, что Феншо жив, как это отразится на наших отношениях? Сама мысль, что она может захотеть его вернуть, казалась мне невыносимой, и я не мог набраться смелости проверить, так ли это. Наверно, это был мой самый большой провал. Будь я уверен в чувствах Софи ко мне, я бы рискнул чем угодно. Но тогда, похоже, у меня не было выбора, и я сделал так, как меня просил Феншо, –

не ради него, ради себя. Я запер в себе этот секрет, решив держать язык за зубами.

Еще несколько дней прошло, и я сделал Софи предложение. Разговоры на эту тему у нас были и раньше, но тут я решил перевести все на практические рельсы, дать ей понять серьезность моих намерений. Я понимал, что веду себя в не свойственной мне манере (излишне серьезно, негибко), но ничего не мог с собой поделать. Сколько можно жить в неопределенности, я должен был разрешить эту ситуацию раз и навсегда. Софи заметила произошедшую во мне перемену, но, так как истинная причина была ей неизвестна, она истолковала ее как издержки страсти – поведение нервничающего, чересчур пылкого мужчины, который хочет добиться своего во что бы то ни стало (это уж точно). Да, сказала Софи, она выйдет за меня замуж. А что, были сомнения на этот счет?

– И я хочу усыновить Бена, – сказал я. – Хочу, чтобы он носил мое имя. Он должен вырасти с мыслью, что я его отец.

Софи иначе это себе и не представляла. Это был 2 единственно правильный шаг – для всех троих.! – А еще я хочу поскорее покончить со всеми формальностями. В Нью-Йорке надо год ждать развода – слишком долго, столько я не выдержу. Но ведь есть другие места – Алабама, Невада, Мексика, да мало ли. Совершим маленькое путешествие, и по возвращении у тебя будет свобода выйти за меня.

Эта фраза – «свобода выйти за меня» – Софи понрави-

лась. Ради такого случая она была готова поехать со мной куда угодно.

– Если на то пошло, он пропал без малого полтора года назад, – сказал я. – Официально без вести пропавшего объявляют мертвым через семь лет. Что бы ни случилось, жизнь продолжается. Подумать только, мы с тобой почти год знакомы.

– Если уж совсем точно, ты переступил этот порог двадцать пятого ноября семьдесят шестого года. Через восемь дней будет ровно год.

– Ты запомнила?

– Как я могла не запомнить важнейший день в моей жизни?

Двадцать седьмого мы вылетели в Бирмингем, штат Алабама, и в начале декабря вернулись в Нью-Йорк. Одиннадцатого наш брак зарегистрировали в городской мэрии, после чего мы устроили пирушку с двумя десятками друзей. Свадебную ночь мы провели в отеле «Плаза», завтрак заказали в номер и в тот же день вместе с Беном улетели в Миннесоту к родителям Софи. Восемнадцатого декабря отгуляли свадьбу, а Рождество отмечали уже в Норвегии. Из снегов мы на полторы недели перенеслись в бермудскую жару, затем снова слетали в Миннесоту за Беном. По возвращении в Нью-Йорк мы планировали сразу же заняться поиском квартиры. В самолете на полдороге, где-то над Западной Пенсильванией, Бен, сидевший у меня на коленях, так напрудил в пам-

перс, что протекло на брюки. Когда я показал ему большое мокрое пятно, он радостно захлопал в ладоши и, глядя мне в глаза, впервые сказал «па».

Я с головой окунулся в настоящее. Шли месяцы, и мало-помалу стало возникать ощущение, что все образуется. Я отсиживался в одиночном окопе, но рядом были Софи и Бен, а это главное. Казалось, если не смотреть вверх, никакая опасность нам не грозит.

В феврале мы въехали в квартиру на Риверсайд-драйв. Устройство на новом месте затянулось до середины весны, и тогда мне было не до Феншо. Не то чтобы я совсем забыл о письме, но оно перестало таить в себе прежнюю угрозу. Теперь, когда мы с Софи были вместе, никто не мог нас разлучить – даже Феншо, тайный или явный. Так, во всяком случае, мне казалось, когда я о нем вспоминал. Сейчас, с большим опозданием, я понимаю, как сильно заблуждался. Мысль, по определению, есть нечто осознанное. То, что все это время я не прекращал думать о Феншо, что он постоянно был со мной, денно и нощно, тогда до меня просто не доходило. А если ты не отдаешь себе отчета в своих мыслях, можно ли утверждать, что ты с ними живешь? Эти мысли наверняка меня преследовали, возможно, я даже был ими одержим, но отсутствовали внешние признаки или сигналы, которые позволили бы мне понять, что со мной происходит.

Моя повседневная жизнь была заполнена. Я даже не замечал, что мои рабочие часы сократились до минимума. На

службу я не ходил, а так как Софи и Бен всегда находились рядом, найти предлог, чтобы оторваться от письменного стола, было несложно. Мой рабочий график оказался скомканным. Вместо девяти утра я добирался до своего маленького кабинета дай бог в одиннадцать, а дальше – само присутствие Софи в доме было для меня постоянным искушением. Среди дня она укладывала Бена спать на часок-другой, и в такие минуты если я о чем-то и мог думать, то исключительно об этом. И мы занимались любовью. Голод Софи мог поспорить с моим, и наша квартира быстро пропитывалась духом эроса, каждый квадратный метр обещал сексуальные приключения. Невидимое выходило на поверхность. Каждая комната обретала собственную память, каждый уголок пробуждал конкретное воспоминание, и в самый безмятежный момент будней какое-нибудь место на ковре или дверной порожек из неодушевленного предмета вдруг превращался в нечто чувственное, такое эротическое эхо. Мы вступили в мир желаний, полный парадоксов. Эта неутолимая жажда: чем больше пьешь, тем больше хочется.

Время от времени Софи заговаривала о поисках работы, но острой необходимости в ней ни она, ни я не чувствовали. На жизнь нам хватало, мы даже сумели отложить порядочную сумму. Издательство, запустив в производство следующий роман Феншо – «Чудеса», заплатило аванс посolidнее, чем предыдущий. Мы со Стюартом разработали план, согласно которому поэтический сборник должен был вый-

ти через полгода после «Чудес», затем самый ранний роман, «Помрачения рассудка», и наконец пьесы. Начиная с марта, когда поступили первые авторские за книгу «Небыляндия», чеки за ту или другую вещь стали приходить ежемесячно, и все проблемы с деньгами как-то сами собой отпали. Для меня это, как и все, что со мной происходило, было внове. Последние восемь-девять лет моя жизнь была беспрестанной борьбой за выживание, едва закончив одну жалкую статейку, я судорожно хватался за другую, и передышка в один или два месяца была уже счастьем. На моем лбу появилась печать озабоченности, неуверенность в завтрашнем дне всосалась в кровь, проникла в каждую клетку, я не знал, что значит дышать свободно, хотя бы не думая, как оплатить ежемесячный счет за газ. И вот впервые за время своей профессиональной деятельности я понял, что мне не надо забивать голову подобной ерундой. В одно прекрасное утро, когда я бился над заключительной фразой для очередной статьи и никак не мог поймать ее за хвост, до меня вдруг дошло: вот он, мой шанс! Отказаться от рутины и начать с нуля. К черту статьи, есть вещи поважнее. Я могу делать то, к чему лежит душа. Надо быть глупцом, чтобы не воспользоваться таким шансом.

Еще несколько недель прошло. Каждое утро я приходил в кабинет, да все без толку. Нельзя сказать, что у меня не было вдохновения: пока я не работал, в голове роились разные идеи, но стоило мне сесть за стол, как эти мысли куда-то уле-

тучивались. Я брал ручку, и все слова умирали. Ни один из начатых замыслов не двигался с места, и я их один за другим бросал. Я искал оправдания своему простою и без труда составил длинный перечень: переход к супружеской жизни, отцовские обязанности, тесноватый кабинет, привычка писать к определенному сроку, соблазнительность Софи, шквальный ветер за окном, и проч., и проч. Я уж было решил написать детектив, но забуксовал сюжет, и концы с концами не сходились. Мои мысли блуждали бесцельно, я себя уговаривал: праздность свидетельствует о накоплении сил, это знак того, что вот-вот случится прорыв. Все, что я сделал за месяц с лишним, это выписки из книг. Одну из них, из Спинозы, я прикрепил на стену: «И когда ему мнится, что он не хочет писать, ему не хватает силы воли помечтать о желании писать; а когда ему мнится, что он хочет писать, ему не хватает силы воли помечтать о нежелании писать».

Возможно, я бы и выплыл. До сих пор не знаю, всерьез ли я тонул или то была временная опасность. Интуиция подсказывает, что я по-настоящему растерялся, барахтаясь из последних сил, но ведь это еще не значит, что мое положение стало безнадежным. Слишком много всего происходило. Я попал в водоворот перемен, и не мне судить, куда бы он меня вынес. И вдруг – спасительный выход. Или, скажем так, компромисс. Впрочем, как ни называй, я особо не сопротивлялся. В минуту беспомощности трудно принять взвешенное решение. Это была моя вторая большая ошибка, прямое

следствие первой.

Во время ланча в Верхнем Ист-Сайде, неподалеку от издательства, Стюарт снова заговорил о слухах, будто Феншо – подставное лицо, и только сейчас до меня дошло, что ему в голову тоже закрались такие подозрения. Эта тема, похоже, его волновала, вот он и не удержался. Он вроде бы валял дурака, напустив на себя вид этакого заговорщика, но мне почудилось, что он пытается выудить из меня признание. Поначалу я ему подыгрывал, когда же эта игра мне надоела, я заявил, что единственный способ раз и навсегда покончить со слухами – это заказать мне биографию Феншо. Я просто так ляпнул (в качестве логического аргумента, а не реально-го предложения), но Стюарт от этой идеи пришел в восторг. Его словно прорвало: вот-вот, объяснить «миф Феншо», рассказать всю правду, ну конечно, как я сам не догадался! В считанные минуты все было решено. После того как читатели познакомятся с творчеством Феншо, выйдет моя книга о нем. Писать можно без спешки – два, три года, сколько потребуется. Это должна быть необыкновенная книга, вровень с романами самого Феншо, и, веря в меня, Стюарт не сомневался, что я напишу такую книгу. Застигнутый врасплох, я расценил это предложение как шутку, но Стюарт, настроенный серьезно, не желал слушать моих отговорок. Подумай на досуге, сказал он, а когда разберешься в своих ощущениях, я тебя выслушаю. Из вежливости, однако оставаясь при этом скептиком, я обещал ему подумать. Мы договорились, что в

конец месяца я дам окончательный ответ.

В тот же вечер я обсудил это с Софи, но, так как я не мог быть с ней вполне откровенен, разговор этот ничего мне не дал.

– Смотри, – сказала она. – Если у тебя к этому лежит душа, наверно, имеет смысл взяться за работу.

– И тебя это не напрягает?

– Нет. Вроде нет. Мне уже приходило в голову, что рано или поздно такая книга появится. Раз уж кто-то должен ее написать, лучше, если этим кем-то будешь ты.

– Мне придется писать о тебе и Феншо. Что, согласишься, довольно странно.

– А ты много не пиши. В любом случае мне, спокойнее, если это будет твой взгляд.

– Возможно, – сказал я, чувствуя, что зашел в тупик. – Проблема в чем? Хочу ли я постоянно думать о Феншо? Не пора ли ему раствориться в тумане?

– Тебе решать. Ясно одно: такую книгу лучше тебя никто не напишет. И это необязательно должна быть стандартная биография. Можно придумать что-нибудь поинтереснее.

– Например?

– Ну, не знаю. Что-нибудь личное, захватывающее. История вашей дружбы. Книга в равной степени о нем и о тебе.

– Гм. Интересно. Знаешь, что меня поражает? Как ты можешь быть такой спокойной?

– Очень просто: ты мой муж, и я тебя люблю. Если ты ре-

шишь писать эту книгу, то я «за». Я ведь не слепая. В том, что у тебя не ладится работа, наверно, есть и моя вина. Может, это как раз то самое, что поможет тебе снова войти в колею.

Втайне я рассчитывал, что Софи примет за меня решение, что она будет возражать и мы, один раз поговорив, поставим на этом точку. А вышло все наоборот. Я загнал себя в угол, и мужество оставило меня. Подождав пару дней, я позвонил Стюарту и сказал, что буду писать книгу. Меня еще раз угостили ланчем и после этого предоставили самому себе.

О том, чтобы рассказать всю правду, не могло быть и речи. О Феншо надо было говорить как о покойнике, иначе книга о нем не имела смысла. Никакого упоминания о письме; считай, что его не было. План моих действий лежал на поверхности, и к его исполнению я приступил с открытыми глазами и лживым сердцем. Я занимаюсь беллетристикой. Моя книга, хоть и основанная на фактах, есть не что иное, как обман. В тот момент, когда я подписал контракт, я продал душу дьяволу.

Несколько недель мои мысли блуждали в поисках ключа. Жизнь человеческая необъяснима, повторял я про себя. Сколько фактов и деталей ни приводи, все равно главного не выразишь. Сказать, что такой-то родился там-то и ходил в такую-то школу или колледж, что он делал то-то и то-то, что он женился на такой-то женщине и родил таких-то детей,

что он умер тогда-то, оставив после себя такие-то книги или мост или выиграв такую-то битву, – значит не сказать почти ничего. Мы хотим, чтобы нам рассказывали истории, и слушаем их точно так же, как в далеком детстве. Пытаясь за словами разглядеть реальный мир, мы ставим себя на место героя истории и делаем вид, будто способны его понять, – себя же мы понимаем! Обыкновенное заблуждение. Возможно, для себя мы существуем и время от времени даже приоткрываемся каким-то одним бочком, но сути, в конечном счете, нам не понять, и чем дольше мы живем, тем менее прозрачными для себя самих становимся, тем острее осознаем свою невнятность. Где уж нам пересечь границу чужого «я», если мы не способны добраться даже до собственного нутра?

Мне вспомнился случай восьмилетней давности. В июне семидесятого от безденежья и отсутствия всяких перспектив я временно подрядился на работу в Гарлеме. Нас было человек двадцать, команда волонтеров, призванных обойти всех, кто не откликнулся на присланный по почте опросный лист. После нескольких дней тренажа в пропыленной двухэтажной студии напротив кинотеатра «Аполлон», усвоив все анкетные нюансы и правила собственного поведения, мы разбрелись по своим кварталам с красными, белыми и синими заплечными сумками – стучаться в квартиры, задавать вопросы, собирать факты. Мое крещение состоялось в статистическом управлении. В дверную щель просунулась голова (в глубине пустой комнаты за длинными столами для пикника

трудились два десятка людей) и вежливо отказала мне в разговоре. И пошло-поехало. Следующим моим респондентом оказалась полуслепая женщина, чьи родители были рабами. Мы проговорили двадцать минут, и только тогда, осознав, что я не чернокожий, она захохотала. Оказывается, она с самого начала это подозревала из-за моего смешного акцента, однако сама себе не поверила. Я был первым белым человеком, переступившим ее порог. В другой квартире, где жили одиннадцать человек не старше двадцати двух лет, почти никого нельзя было застать дома. А тот, кто был на месте, отказывался разговаривать со мной даже через дверь. С наступлением лета жара и влажность сделались нестерпимыми, как это бывает только в Нью-Йорке. Начиная свой обход с утра пораньше, я тупо ходил из дома в дом, чувствуя себя каким-то инопланетянином. Наконец я решил посоветоваться с моим чернокожим начальником. Этот трепач в неизменном шелковом аскотском галстуке, с сапфировым перстнем на пальце и открыл мне глаза. Он получал свою долю от каждой сданной нами анкеты. От наших результатов зависел объем его карманов.

– Я тебе не советчик, – сказал он. – Если ты честно делал свое дело, твоя совесть должна быть чиста.

– Значит, махнуть на все рукой? – спросил я.

– А с другой стороны, – продолжил он философски, – правительственным чиновникам нужны заполненные анкеты. Чем больше анкет, тем лучше у них там настроение. А ты

парень неглупый, складывать умеешь. Если тебе не открыли дверь, это еще не значит, что там никто не живет, правильно? Вот и соображай, дружище. Мы же не хотим огорчать наше правительство?

После того разговора моя работа стала гораздо проще, но это была уже другая работа. Вместо беготни – протирание штанов, вместо дурацких опросов – свободное творчество. Раз в два дня, а то и каждый день я заходил в офис сдать заполненные анкеты и взять пачку пустых бланков; в остальное время я мог не выходить из дому. Не знаю, скольких людей я выдумал – сотни, тысячи? Сидя под вентилятором, с холодным мокрым полотенцем вокруг шеи, я заполнял анкеты со скоростью, на которую только был способен. Меня интересовали исключительно большие семьи – шесть, восемь, десять детей; особенно же я гордился умением приготовить сложный родственный коктейль из самых разных ингредиентов: родители и дети, кузены и кузины, дядюшки и тетушки, дедушки и бабушки, мужья и жены, пасынки и падчерицы, единокровные и единоутробные братья и сестры, друзья и подруги. Самым большим удовольствием было придумывать имена. Порой приходилось обуздывать свою фантазию, так и норовившую подсунуть какой-нибудь анекдотический вариант или каламбур или нечто неприличное, но в основном я держался в границах правдоподобия. Когда мое воображение истощалось, я прибегал к механическим подсказкам: цвета (Велик, Черни, Зеленин, Серов, Синь-

кин), президенты (Вашингтон, Адаме, Джефферсон, Филмор, Пирс), литературные персонажи (Финн, Стар-бак, Димсдейл, Бадд). Мне нравились фамилии, ассоциирующиеся с небом (Орвилл Райт, Амелия Эрхарт), с комиками эпохи немого кино (Китон, Лэнгдон, Ллойд), с бейсболом (Киллбрю, Мэнтл, Мейс) и с музыкой (Шуберт, Айвз, Армстронг).

Случалось, я извлекал на свет имена дальних родственников или школьных друзей, а однажды даже сочинил анаграмму из собственной фамилии.

С моей стороны это было ребячеством, но сомнения меня не мучили. И с оправданиями моих действий проблем не возникало. Мой начальник не возражал, равно как и мои респонденты (единственное, чего они хотели, это чтобы к ним в душу не лезли с расспросами, особенно белый парнишка); правительственные чиновники тоже не возражали: во-первых, то, о чем они не знали, не могло причинить им вреда, а во-вторых, ничто не сравнится с вредом, который они сами себе причиняли. Свою склонность «опрашивать» большие семьи я готов был защищать и с социальных позиций: чем выше цифры городской бедноты, тем очевиднее необходимость для властей расходовать деньги на эту статью. Я провоцировал аферу «мертвые души по-американски», и моя совесть была чиста.

В основе надувательства лежало простое объяснение: я ловил свой кайф. Мне доставляло удовольствие выхватывать имена откуда ни попадя, изобретать биографии, которых не

было и никогда не будет. Это было похоже на придумывание персонажей для будущего рассказа, только масштаб крупнее и ситуация драматичнее. Рассказ – это все-таки вымысел. Какое бы впечатление он на нас ни производил, мы знаем, что это неправда, даже если нам открываются истины, каких больше нигде не найдешь. В отличие от писателя, я свои творения предлагал непосредственно реальному миру, на который, казалось, они способны реально воздействовать и со временем даже могут стать частью этого мира. Какой писатель вправе на такое рассчитывать!

Все это вспомнилось, когда я взялся за биографию Феншо. Когда-то я породил на свет тысячи эфемерных душ. Теперь, восемь лет спустя, я собирался закопать живого человека. На этих фальшивых похоронах я был за священника и главного плакальщика, от меня ждали правильных слов, и я готовился их произнести. Мои поступки, давний и нынешний, по сути противоположные, а формально идентичные, отражались друг в друге, как в зеркале. Слабое утешение. Первый обман был легкомысленной выходкой молодости; второй, мрачновато-серьезный, меня пугал. Как ни крути, я сделался могильщиком, и временами, казалось, сам себе рою могилу. Жизнь бессмысленна, рассуждал я. Человек живет и умирает, а то, что происходит в промежутке, лишено смысла. Я вспомнил историю Лашера, солдата, принимавшего участие в одной из ранних французских экспедиций в Америку. В 1562 году некто Жан Рибо оставил небольшой

отряд в Порт-Рояле (неподалеку от Хилтон-Хеда, Южная Калифорния) под командованием Альбера де Пьерра, взбалмошного негодяя, державшего солдат в повиновении с помощью страха и насилия. «Барабанщика, вызвавшего его гнев, он повесил своими руками, – пишет Фрэнсис Паркман. – А рядового Лашера высадил на необитаемом острове в девяти милях от форта и тем самым обрек на голодную смерть». Взбунтовавшиеся подчиненные убили тирана и вызволили с острова своего полумертвого товарища. Кто-то решит, что отныне Лашеру больше ничто не угрожает, что после того, как он вышел живым из такой передраги, никакие катаклизмы ему уже не страшны. Если бы! Судьбу не обманешь, человеческое невезение беспредельно, и каждый раз мы абсолютно не готовы к новым ударам. Дела у первопоселенцев шли худо. Люди проигрывали в борьбе с дикой природой и голодом, их мучила ностальгия. Пользуясь кустарными инструментами, они построили корабль, «до-318 стойный Робинзона Крузо», с тем чтобы вернуться во Францию. В Атлантике их поджидала новая беда: не было попутного ветра, кончились запасы воды и пищи. Люди ели свои башмаки и куртки, одни от отчаяния пытались утолить жажду морской водой, другие погибали. Наконец скатились к неизбежному: каннибализму. «Кинули жребий, – пишет Паркман, – и в неудачниках оказался Лашер, тот самый бедолага, которого чуть не уморили голодом на острове. Товарищи его убили и с жадностью поделили тело между собой. Кровавое пирше-

ство позволило им продержаться до вожделенного дня, когда вдали показалась суша; вконец обессиленные, они даже не могли управлять своим суденышком и просто отдались на волю прибоя. Их подобрал британский барк: самых слабых моряки бросили на берегу, а остальных пленников доставили к королеве Елизавете».

Историю Лашера я вспомнил просто как пример. Его судьба, если разобраться, не так уж оригинальна – он двигался по прямой. Но чаще человек идет зигзагами, спотыкаясь, налетая на препятствия, корчась от боли. Выбрав направление, он на полдороге резко сворачивает в сторону, неожиданно останавливается и, потоптавшись на месте, снова пускается в путь. Ориентиров нет, так что в результате мы приходим вовсе не туда, куда собирались. Будучи первокурсником Колумбийского университета, я каждый день проходил мимо бюста Лоренцо Да Понте. Я смутно помнил, что он либреттист Моцарта, и вдруг узнаю: он был первым итальянским профессором в моей альма-матер. Одно как-то не вязалось с другим, и я решил разобраться, как могло получиться, что человек прожил две совершенно разные жизни. Выяснилось, что их у него было пять или шесть. Урожденный Эмануэле Конельяно появился на свет в 1749 году в семье еврея, торговца кожей. После смерти матери Эмануэле отец его женился на католичке и окрестил своих детей. В школе ребенок подавал большие надежды, и, когда Эмануэле исполнилось четырнадцать лет, его взял под свое крыло епи-

скоп, монсеньор Да Понте. Последний оплатил все расходы на обучение, и юноша поступил в семинарию. По обычаю того времени ученик получил фамилию своего покровителя. В 1773 году Да Понте, посвященный в духовный сан, сам стал преподавателем семинарии; его интересы лежали в области латинской, итальянской и французской литературы. Просветительская деятельность не помешала ему увязнуть в многочисленных любовных романах; один из них, с венецианской знатной дамой, был отмечен тайным рождением внебрачного ребенка. В 1776 году он организовал в семинарии Тревизо публичные дебаты, призванные ответить на вопрос, сделала ли цивилизация человека хоть немного счастливее. Этот афронт по отношению к официальной церкви привел к тому, что Да Понте пришлось бежать – сначала в Венецию, потом в Горицию и наконец в Дрезден, где он начал карьеру либреттиста. В 1782 году он приехал в Вену с рекомендательным письмом к Сальери и вскоре получил должность «poeta dei teatri imperiali»,<sup>3</sup> которую он занимал без малого десять лет. Тогда-то и состоялось его знакомство с Моцартом. Либретто к трем операм великого композитора сохранило его имя для потомства. Впрочем, после того как в 1790 году из-за войны с турками музыкальная жизнь в Вене по распоряжению императора Леопольда Второго прекратилась, Да Понте стал безработным. Он перебрался в Триест и там влюбился в англичанку Нэнси Граль или Краль (здесь есть раз-

---

<sup>3</sup> Поэт императорского театра (итал.).

ночтения). Они уехали сначала в Париж, а затем в Лондон, где прожили тринадцать лет. В этот период Да Понте написал несколько либретто для второстепенных композиторов. В 1805 году эта пара эмигрировала в Америку, и в Нью-Йорке прошли последние тридцать три года жизни нашего героя. У него были свои магазинчики, в Нью-Джерси и Пенсильвании. Какие перемены! Щеголеватый слащавый дамский угодник, потом инакомыслящий, с головой окунувшийся в церковные и дворцовые интриги, и наконец обыкновенный житель города, который в 1805 году должен был казаться ему краем света. А затем очередной вольт, и вот он уже добросовестный профессор, образцовый муж и отец четырех детей. Когда один из них умер, обезумевший от горя Да Понте целый год не выходил из дома. Сам он умер в возрасте восьмидесяти девяти лет, став одним из первых итальянцев, которые упокоились в Новом Свете. К чему я все это говорю? А к тому, что любая жизнь значит не больше того, что она значит. Иными словами: жизнь бессмысленна. Я вовсе не собираюсь брюзжать по этому поводу. Просто жизнь столько раз меняется под воздействием обстоятельств, что, пока человек не умер, невозможно сказать о нем ничего определенного. Смерть не только истинный арбитр счастья (замечание Солона), она является единственным критерием, позволяющим оценить человеческую жизнь. Я знавал бомжа, еще не старого пьянчужку в лохмотьях, с лицом в струпьях, ночевавшего на улице и кланчившего милостыню, который разгова-

ривал языком шекспировского актера. Когда-то у него была своя галерея на Мэдисон-авеню. Другой мой знакомый, еще недавно самый многообещающий американский романист, на которого вдруг свалилось отцовское наследство, пятнадцать тысяч долларов, стоял на перекрестке и раздавал направо и налево сотенные купюры. Как он мне объяснил, это был план по подрыву экономической системы Соединенных Штатов. Чего только не бывает! Какие судьбы обращаются в прах! Джофф и Уолли, двое из судей, приговоривших Карла Первого к смерти, после Реставрации бежали в Коннектикут и провели остаток жизни в пещере. Или взять миссис Винчестер, вдову известного оружейника, боявшуюся, что призраки погибших от оружия, созданного ее покойным мужем, придут по ее душу. В своем доме она постоянно пристраивала новые помещения, создавала гигантский лабиринт из коридоров и потайных комнат и каждую ночь проводила в другом месте, чтобы обмануть призраков. По иронии судьбы во время калифорнийского землетрясения 1906 года она чуть не умерла от голода в одной из своих комнат, так как слуги не могли ее найти. А еще можно вспомнить Бахтина, русского литературного критика и философа. Во время блокады Ленинграда он искурил единственный экземпляр своей рукописи, неизданную монографию о немецкой литературе, которую писал годами. Страницу за страницей он пускал на самокрутки, пока рукопись не превратилась в дым. Это все подлинные истории. Наверно, их можно назвать притчами,

но они значат ровно то, что они значат, поскольку являются подлинными историями.

В своей работе, преимущественно в записных книжках, Феншо обнаруживает особый интерес к рассказам такого рода. Количество этих исторических анекдотов, особенно ближе к концу, наводит на подозрение: наверно, он примерял их на себя. Одна из последних таких записей (сделанная в феврале семьдесят шестого, за два месяца до его исчезновения) кажется мне весьма красноречивой.

«Знаменитый исследователь Арктики Петер Фройхен описывает в своей книге, как разыгравшаяся метель отрезала его от большого мира. Дело было на севере Гренландии. Один как перст, с провиантом на исходе, он решил построить иуглу, чтобы переждать снежную бурю. Прошло много дней. Опасаясь волков, которые по ночам с голодным воем разгуливали по крыше его хижины, он время от времени вылезал наружу и пел во всю мощь своих легких, чтобы распугать зверье. Но ветер ревел так, что он не слышал собственного голоса. Обнаружилась и другая угроза, еще более серьезная. Фройхен начал замечать, что и без того тесное жилище сжимается день ото дня. От его дыхания стены обрастали наледями и с каждым выдохом делались толще, а иуглу меньше, так что под конец он уже едва мог пошевелиться. Страшненькая перспектива: ждать, когда ты надышишь себе ледяной гроб. По-моему, это будет посильнее, чем „Колодец и маятник“ Эдгара По. В данном случае человек превратил-

ся в невольное орудие самоубийства; больше того, способом самоуничтожения оказывается именно то, что поддерживает жизнь. Остановка дыхания равносильна смерти. А продолжая дышать, он обрекает себя на гибель. Странно, но я забыл, каким образом Фройхен спасается в этой безнадежной ситуации. А то, что он спасся, не вызывает сомнений. Насколько я помню, книга называется „Приключение в Арктике“. Вышла она давно и с тех пор не переиздавалась».

В июне того же года мы втроем решили проведать мать Феншо, жившую в соседнем Нью-Джерси. С тех пор как мои родители, выйдя на пенсию, переехали во Флориду, я не был в тех местах. Миссис Феншо проявляла интерес к своему внуку, но все было не так просто. В ее поведении сквозила враждебность к Софи, которую она в душе как будто обвиняла в исчезновении сына, и это недружелюбие то и дело проскальзывало в ее словах. Хотя мы время от времени приглашали ее на ужин, откликнулась она редко, а когда все-таки приезжала, бросалось в глаза, что она все время дергается, натянуто улыбается, отпуская сухие реплики, преувеличенно восхищается ребенком. Софи она награждала сомнительными комплиментами (вроде того, как ей со мной повезло) и вдруг, посередине разговора, вставала и, пробурчав про забытое деловое свидание, быстро откланивалась. Но с другой стороны, обвинить ее в чем-то язык не поворачивался. Ее жизнь сложилась неудачно, и, видимо, она уже не надеялась на перемену. Муж умер; дочь после нескольких нервных срывов держалась на транквилизаторах; сын пропал без вести. Все еще красавица в свои пятьдесят лет (в детстве она мне казалась неотразимой), миссис Феншо искала радостей в запутанных романах (список поклонников постоянно обновлялся), набегах на нью-йоркские магазины и игре

в гольф. Литературный успех сына застиг ее врасплох, но, немного обвыкнув, она вошла в роль матери гения. Когда я сообщил ей по телефону, что буду писать биографию, она сама предложила помощь, выразив готовность показать мне письма, фотографии и документы – словом, все, что меня интересует.

Мы к ней приехали около полудня, и после неловкости первых минут и затянувшегося разговора о погоде за чашкой кофе нас проводили наверх, в комнату Феншо. Хозяйка дома основательно подготовилась к моему приезду: все материалы были разложены на столе аккуратными стопками. Их количество повергло меня в шок, Я выдавил из себя какие-то слова благодарности, но, по правде сказать, я испытал испуг, даже смятение перед этими горами фактографии. Вскоре миссис Феншо вместе с Софи и Беном вышли на задний двор (стоял теплый летний день), оставив меня одного. Я видел из окна, как Бен ковыляет по траве в своем комбинезончике со специальным подгузником и с радостными криками показывает пальцем на вспорхнувшего дрозда. Я постучал по стеклу и, когда Софи подняла голову, помахал ей рукой. Она послала мне воздушный поцелуй и вместе с хозяйкой пошла осматривать цветочную клумбу.

Я сел за стол. Находиться в этой комнате было, мягко говоря, тяжело, и я себе не представлял, сколько я выдержу. На полке передо мной лежала бейсбольная рукавица с вложенным в нее потертым мячом, на других полках стояли дет-

ские книги, за моей спиной находилась кровать, покрытая тем самым бело-синим лоскутным одеялом, – чудом уцелевшие свидетели затонувшей Атлантиды. Я очутился в музее своего прошлого, и то, что я там увидел, едва меня не доконало.

Стопка документов: свидетельство о рождении Феншо, таблицы успеваемости, школьный аттестат, а также скаутские значки и проч., и проч. Фотоальбомы: Феншо-младенец; Феншо с сестрой; семейный альбом (двухлетний Ф. у отца на руках, Ф. и сестра обнимают сидящую на качелях мать, Ф. в окружении двоюродных братьев и сестер). Разрозненные снимки в папках, конвертах, коробочках: мы с Феншо (плаваем, играем в пятнашки, гоняем на великах, деремся во дворе; мой отец с нами обоими на закорках; коротко стриженные, в мешковатых джинсах, на фоне старомодных автомобилей – «паккарда», «де-сото», «форда-универсала» с деревянными панелями). Фотографии класса, команды, летнего лагеря. Забеги, игры. Гребля на каноэ, перетягивание каната. Внизу стопки более поздние снимки: Феншо, каким я его не видел. Ф. во дворе Гарвардского университета, Ф. на палубе нефтеналивного танкера, Ф. в Париже у фонтана. Наконец, единственная фотография Феншо и Софи: он, мрачноватый, выглядит старше своих лет, и она, восхитительно юная, красивая и слегка рассеянная, словно не способная сосредоточиться. Я втянул в себя воздух, и тут меня прорвало: закрыв лицо руками, я разрыдался, не переставая удивлять-

ся, сколько же во мне накопилось слез.

Справа от меня обнаружилась коробка с доброй сотней писем Феншо, начиная с момента, когда ему только исполнилось восемь (неуклюжий детский почерк, одни слова замазаны карандашом, другие старательно подтерты ластиком), и заканчивая семидесятыми. Письма из колледжа, с учебного корабля, из Франции. Большинство писем, в том числе довольно длинных, адресовано его сестре Эллен. Я сразу понял, какое богатство оказалось в моих руках, рядом с ним все остальное померкло, но сил на то, чтобы пофужиться в этот мир, у меня не было. Минут десять я еще посидел, приходя в себя, а затем присоединился к остальной компании.

Расставаться с оригиналами миссис Феншо не захотела, но против снятия фотокопий не возражала и даже сама вызвалась мне помочь. Я сказал, что это лишнее. Мол, на днях еще раз к ней заеду и все сделаю.

Затем был пикник во дворе. Бен, откусив очередной кусочек от бутерброда, мчался к цветам и тут же обратно. В два часа мы засобирались домой. Миссис Феншо отвезла нас на автобусную станцию и всех расцеловала на прощание, проявив больше чувств, чем за все время нашего визита. В автобусе Бен тут же уснул у меня на коленях.

– Не самый удачный день, да? – спросила Софи, взяв мою руку в свою.

– Хуже не придумаешь.

– А как же мне было щебетать четыре часа! Я через ми-

нугу уже не знала, о чем с ней разговаривать.

– По-моему, она нас недолюбливает.

– Да уж.

– Но это еще полбеды.

– Тяжело тебе пришлось одному там наверху?

– Не то слово.

– У тебя появились сомнения?

– Боюсь, что да.

– Неудивительно. Во всей этой затее есть что-то такое, от чего становится не по себе.

– Надо будет еще раз все хорошенько обдумать. Кажется, я совершил большую ошибку.

\* \* \*

Через четыре дня миссис Феншо позвонила со словами, что она на месяц уезжает в Европу и хорошо бы нам не откладывая проверить наши дела (ее выражение). Вообще-то я не собирался возвращаться к этой теме, но, пока в голове крутились варианты благовидных отговорок, с языка сорвалось, что я к ней заеду в ближайший понедельник. Софи отказалась сопровождать меня, а я и не настаивал. Нам и одного визита всей семьей за глаза хватило.

Джейн Феншо встретила меня на автобусной остановке радостными приветствиями и обворожительной улыбкой. Пересев в ее машину, я сразу понял, что на этот раз все бу-

дет по-другому. Она поработала над своей внешностью (белые брючки, красная шелковая блузка, обнаженная загорелая шея без единой морщинки), и видно было, как она старается привлечь мое внимание, заставить меня признать, что она по-прежнему неотразима. Но этого мало: в ее голосе проскальзывали особые нотки, дескать, мы с тобой старые друзья, связанные общим прошлым, и как, мол, здорово, что ты приехал один и нам никто не мешает поговорить по душам. Меня это, не скрою, покорило, и я держался подчеркнуто нейтрально.

– Да, дружок, семейка у тебя прелесть, – обратилась она ко мне на светофоре.

Я согласился.

– Чудесный малыш. Настоящий сердцеед. Разве что немного буйный, ты не находишь?

– В два года все они непоседы.

– Разумеется. Софи в нем просто души не чает. Ее забавляет каждый его чих, ну, ты меня понимаешь. Я не против разных там хиханек и хаханек, но немного дисциплины, думаю, только пошло бы ему на пользу.

– Софи так ведет себя со всеми, – заметил я. – Она веселый человек и веселая мать. Бен, насколько я могу судить, не жалуется.

Машина двинулась дальше по широкой оживленной магистрали, и после короткой паузы последовало продолжение:

– Везет же некоторым. Быстро встала на ноги. Отхватила

такого молодца.

– Мне-то всегда казалось наоборот.

– Ладно, не скромничай.

– Да нет. Я знаю, что говорю. Это мне крупно повезло.

Она встретила мои слова загадочной улыбкой, не то удивляясь, какой же я олух, не то нехотя соглашаясь с моей точкой зрения, раз уж я не желал идти ей навстречу. Через несколько минут мы подъезжали к ее дому, и к тому времени, похоже, она решила отказаться от своей первоначальной тактики. Имена Софи и Бена больше не упоминались, она была сама предупредительность: повторяла, как она рада, что я пишу книгу о ее сыне, всячески поощряла мою работу (как будто это могло на что-то повлиять), расхваливала – даже не столько сам проект, сколько мою скромную персону. Затем она протянула мне ключи от машины и объяснила, как проехать к ближайшей фотомастерской. Вернешься, сказала она напоследок, будем обедать.

Процедура сильно затянулась, и вернулся я ближе к часу. Меня ждала впечатляющая трапеза: спаржа, лососина холодного копчения, сыр, белое вино... чего там только не было! Добавьте к этому цветы и лучший сервис. Видимо, на моем лице изобразилось изумление.

– Хотелось устроить маленький праздник, – объяснила миссис Феншо. – Ты не представляешь, как я тебе рада. Сразу нахлынули приятные воспоминания. Будто и не было всех этих ужасов.

Сдается мне, в мое отсутствие она слегка нагрузилась. Она не потеряла самоконтроль и на ногах стояла твердо, но в голосе появилась некая хрипотца, да и в интонациях что-то такое проскальзывало. Мы сели за стол, и я сказал себе: держи ухо востро. Она наполнила бокалы до краев и дальше налегала на вино, еду же по большей части игнорировала, так, поковыряла вилкой и бросила, – плохой знак. После необязательных слов о моих родителях и младших сестрах разговор превратился в монолог.

– Надо же, как все в этой жизни странно складывается, – начала она. – Разве можно что-нибудь предугадать? Вот ты, соседский мальчик, носившийся по этому дому в грязных ботинках, сейчас сидишь напротив меня – взрослый мужчина, официально отец моего внука и муж моей невестки, ты только вдумайся! Если бы десять лет назад кто-то мне сказал, что так будет, я бы рассмеялась ему в лицо. Только со временем начинаешь понимать, какая странная штука – жизнь. За ней не угнаться. И бесполезно гадать, что случится завтра.

Ты и похож на него. Вы всегда смотрелись как близняшки. Когда вы были совсем маленькие, я вас даже путала издали. Не могла понять, который из двух мой.

Я знаю, как ты его любил, во всем ему подражал. Но вот что я тебе скажу, мой дорогой. Он тебе в подметки не годился. Он был холодный, бездушный. Никого не любил – никого и никогда. Я порой наблюдала через двор, как ты подбегал к

матери, обвивал ее шею своими ручонками, а она тебя обцеловывала, – все так наглядно, – а у меня с моим сыном ничего. Он не позволял себя приласкать. С четырех или пяти лет стоило мне к нему приблизиться, как он ощетикивался. Какое это матери – видеть, что сын ее сторонится! Я ведь была тогда совсем девчонкой. Когда он родился, мне еще и двадцати не исполнилось. Знаешь, что это такое – жить с ощущением, что ты отверженная?

Нет, я не хочу говорить о нем плохо. Просто такое существо, ребенок без родителей. Мои слова для него ничего не значили. Отцовские тоже. Мы для него не были авторитетами. Как Роберт ни старался, достучаться до сына не мог. Ну, не способен он любить, не наказывать же его за это, правда? Нельзя заставить ребенка любить родителей.

И конечно, не забудем про Эллен. Бедную, несчастную Эллен. Кто-кто, а мы-то с тобой знаем, что он хорошо относился к своей сестренке. Пожалуй, даже слишком хорошо, и это только шло во вред. Он совсем запудрил ей мозги. Настолько подчинил себе, что к нам она вообще не обращалась. Он один ее понимал, руководил ею, решал ее проблемы. Можно сказать, она продала ему душу. А мы, мы с Робертом были для них пешки. Мы для них не существовали. Не знаю, сознательно ли он обрабатывал сестру, но результаты говорят сами за себя. В свои двадцать семь Эллен остается подростком. В голове ералаш, в глазах неуверенность. Сегодня ей кажется, что я хочу ей зла, завтра она обрывает

мне телефон. Тебе это не понять.

Из-за Эллен он не напечатал ни строчки. Из-за нее он бросил Гарвард после второго курса. Он тогда писал стихи и раз в две-три недели посылал ей свои рукописи. В его стихах, ты знаешь, сам черт ногу сломит. Все кипит и бурлит, только непонятно. Какая-то тайнопись. Эллен часами над ними просиживала, будто не было ничего важнее, она воспринимала их как секретные депеши или предсказания оракула, к ней лично обращенные. Ее обожаемый братец уехал, и стихи были последней ниточкой, которая ее с ним связывала. Бедняжка. В пятнадцать лет – рассыпаться на глазах. Повсюду таскала с собой эти листочки, мусолила их, пока они не превращались в грязные клочки. Иногда она доходила до того, что совала их в нос незнакомым людям в автобусе: «Вот, почитайте, в этих стихах ваше спасение».

Дело кончилось нервным срывом. Однажды в супермаркете она начала хватать с полки стеклянные банки с яблочным соком и бить их об пол. Это было ужасно. Всюду осколки, огромные лужи, а она носится, не замечая пораненных ног, и продолжает все громить. До того обезумела, что трое здоровенных охранников с трудом смогли ее скрутить и унести.

Конечно, не брат толкнул ее на это бесчинство (хотя стишки сделали свое дело), но сам он за собой вину (справедливо или несправедливо) признал. После этого случая он отказался от всяких попыток что-либо опубликовать. Он наве-

стил Эллен в больнице, и то, что он увидел, его подкосило: девушка явно не в себе, законченная истеричка – как с цепи сорвалась, орала, что он ее ненавидит. У нее был настоящий психический сдвиг, и тут уж он оказался бессилён. Тогда-то он и поклялся, что не напечатает ни строчки. Я думаю, это было нечто вроде покаяния, и данный себе обет он хранил до конца, до самого последнего дня, с присущими ему жесткостью и упрямством.

Месяца через два после визита в больницу я получила от него письмо, где он сообщал, что бросил учебу. Обрати внимание: он не советовался со мной, просто ставил меня в известность. «Дорогая мама» и все в таком духе, очень вежливо, очень убедительно. «Я решил уйти из колледжа, чтобы избавить тебя от дополнительных расходов. Эллен в тяжелом положении, представляю, какие медицинские счета тебе приходится оплачивать», бла-бла-бла, все в таком духе.

Я пришла в ярость. С его задатками – бросить Гарвард! Это был акт саботажа, но что я могла сделать? Он поставил меня перед свершившимся фактом. Отец его соученика, как-то связанный с флотом – кажется, он возглавлял профсоюз моряков или что-то в этом роде, – помог ему оформить бумаги. К тому моменту, когда пришло письмо, он уже был в Техасе, и на ближайшие пять с лишним лет он выпал из моего поля зрения.

Примерно раз в месяц Эллен получала от него письмецо или открытку, но всегда без обратного адреса. Куда бы его

ни заносило – Париж, юг Франции, неважно, – он пресекал любую возможность с ним связаться. Он вел себя как последний трус, заслуживающий презрения. Не спрашивай меня, зачем я сохранила эти письма. Их следовало сжечь. Да, именно так. Сжечь все до одного.

Этот монолог продолжался добрый час. В ее словах ощущалось все больше горечи, сама же речь, до определенного момента достаточно внятная, после очередного бокала вина сделалась почти бессвязной. Ее голос действовал гипнотически. Пока он звучал, я чувствовал себя защищенным, даже неуязвимым. Я слушал ее вполуха, качаясь на модуляторах этого голоса, как на поплавке, плывя по течению этой журчащей речи. Послеполуденный свет играл на блюдцах, на масленке, на зеленых бутылочных боках, по комнате разливалось сияние, и такая воцарилась тишина, что собственная телесная оболочка вдруг показалась мне чем-то инородным. Вот и я так же, пронеслось в голове при виде тающего масла. С этим надо кончать, говорил я себе, не то ситуация совсем выйдет из-под контроля. Но я так ничего и не сделал, да, скорее всего, и не мог.

Я не оправдываюсь за случившееся и считаю неправильным выступать в роли собственного адвоката, поэтому не стану ссылаться на опьянение – это всего лишь смягчающее обстоятельство, но не главная причина. Но можно поискать хоть сколько-нибудь разумное объяснение. Сейчас я почти уверен в том, что последовавшие за ланчем события были

спровоцированы прошлым не в меньшей степени, чем настоящим, и сегодня, на расстоянии, я не перестаю удивляться тому, как давно, казалось бы, забытые чувства вдруг захлестнули меня в тот день. Слушая признания миссис Феншо, я невольно смотрел на нее глазами подростка, и в памяти воскресали ностальгические картины. Одна из таких картин была особенно сильной: мне тринадцать или четырнадцать лет, август, жара, я выглядываю из окна своей комнаты на втором этаже и вижу, как из соседнего дома выходит миссис Феншо в раздельном купальнике красного цвета, небрежно снимает верхнюю деталь и, растянувшись на топчане, подставляет спину солнечным лучам. Это было похоже на наваждение. Я сижу, погруженный в какие-то грезы, и вдруг передо мной возникает красивая полуобнаженная женщина, словно созданная моим воображением. Ее образ меня потом долго преследовал: тайная фантазия юного эротомана. И вот спустя годы, когда эта женщина недвусмысленно пыталась меня охмурить, я пребывал в растерянности. С одной стороны, ситуация выглядела несуразной. А с другой – совершенно естественной, по-своему даже логичной. Было понятно: если прямо сейчас, сию минуту не дать ей отпор, произойдет неизбежное.

Конечно, она меня разжалобила, в ее рассказе было столько горечи и настоящего страдания, что я совсем размяк и даже не заметил, как угодил в ловушку. Вопрос: насколько сознательно меня в нее заманивали? Это планировалось зара-

нее или все случилось само собой? Ее полубессвязная речь была уловкой, призванной сломить мое сопротивление, или спонтанным проявлением подлинных чувств? Подозреваю, что она говорила правду, во всяком случае в собственной интерпретации, но это еще ничего не доказывает, ведь даже ребенку известно, что правду можно использовать и в дьявольских целях. Другой важнейший вопрос – мотив. По сей день, по прошествии почти шести лет, у меня нет готового ответа. Сказать, что она нашла меня неотразимым, было бы явным преувеличением; я на свой счет не заблуждаюсь. Нет, здесь было нечто глубинное и зловещее. Уж не угадала ли она, что я ненавижу Феншо, ненавижу столь же сильно, как она сама? Возможно, она почувствовала, что между нами существует эта потаенная связь и выявить ее можно только таким экстравагантным порочным способом. Трахаясь со мной, она трахалась с собственным сыном, через этот темный грех она снова им обладала – только для того, чтобы его уничтожить. Страшная месть. Если это так, то мне не стоит успокаивать себя мыслью, будто я стал ее жертвой. Скорее, я был ее сообщником.

Все началось, как водится, со слез, которые полились из глаз миссис Феншо, когда закончились слова. Пьяненький, растроганный, я встал, обошел стол и обнял ее за плечи. Этого успокаивающего жеста хватило, чтобы перейти невидимую черту. Физический контакт спровоцировал сексуальное желание, вызвав в памяти другие тела, другие объятия, и че-

рез минуту мы уже целовались, а еще через несколько минут лежали голые в ее постели.

Да, я был пьян, но не настолько, чтобы не отдавать себе отчета в своих действиях. Но ничто, даже чувство вины, не могло меня остановить. Это всего, лишь эпизод, который останется в прошлом, успокаивал я себя. Он никому не причинит боли. Он не имеет никакого отношения ни к Софи, ни к моей жизни. Но уже в процессе мне стало ясно: это нечто большее, чем проходной эпизод. Мне нравилось трахать мать Феншо – и это не имело ничего общего с удовольствием. Впервые в жизни я не испытывал нежности. Мною двигала ненависть, которая трансформировалась в акт насилия: я буравил эту женщину, хотел измельчить ее в пыль. Я шагнул в черную зону, и там мне открылось кое-что пострашнее уже известных истин: под сексуальное желание может маскироваться желание уничтожить и в такие минуты «жизнь» превращается в пустой звук. Эта женщина жаждала боли, и я причинял ей боль, наслаждаясь собственной жестокостью. А еще мне было ясно: она всего лишь фантом и, атакуя ее, я на самом деле атакую Феншо. Обливаясь потом, мы рычали, как обезумевшие животные, я кончил в нее дважды и в ту же секунду четко для себя сформулировал: я убью Феншо. Он должен умереть. Я его найду и убью своими руками.

Она спала, когда я тихо выскользнул из спальни, спустился вниз и по телефону вызвал такси до автобусной станции.

Через полчаса я ехал в Нью-Йорк. По прибытии в «Порт-Оторити» я зашел в туалет и тщательно вымыл руки и лицо. Затем спустился в метро. Я успел к ужину: Софи как раз накрывала на стол.

После этого все пошло прахом. Вынужденный таиться от Софи, я старался не показываться ей на глаза. Я сделался нервным и замкнутым, превратился в затворника в своей рабочей комнатке. Я жаждал одиночества. Софи долго мирилась с моими выходками, проявляя терпение, на которое я был не вправе рассчитывать, но к середине лета оно иссякло, и начались выяснения отношений, взаимные придирки, ссоры из-за пустяков. Однажды, застав ее рыдающей на кровати, я понял, что собственными руками пускаю свою жизнь под откос.

Для Софи источником зла была моя книга. Она полагала, что я должен ее бросить и сразу все образуется. Я поторопился, повторяла она. Я совершил ошибку и только из упрямства не хочу в этом признаться. Разумеется, она была права, но у меня нашлись контраргументы: подписав контракт, я принял на себя обязательства и бросить работу на середине значило бы смалодушничать. О главном я умалчивал: книги не будет. Теперь она для меня существовала лишь постольку, поскольку могла вывести на Феншо; ни о какой другой книге я не помышлял. Для меня она стала моим частным делом, никак не связанным с творческой задачей. Мои литературные изыскания, поиск ранее не известных фактов из прошлой жизни, все предпринятые мною усилия, якобы свя-

занные с написанием биографии, на самом деле преследовали единственную цель – определить местонахождение моего героя. Бедная Софи, она понятия не имела о моих замыслах, ведь то, что я декларировал, внешне ничем не отличалось от того, что я делал. Я складывал по кусочкам историю человеческой жизни. Я собирал информацию, коллекционировал имена, города и даты, устанавливал хронологию событий. Мною двигал один импульс: найти Феншо, заговорить с Феншо, бросить вызов Феншо. Дальше этого моя фантазия не простиралась. Ну, встретились мы, и чего я хочу этим добиться? Он написал, что убьет меня, но к его угрозе я отнесся спокойно. Я должен был его разыскать – иначе мне суждено жить в подвешенном состоянии. Вот данность, отправная точка, если хотите, слепая вера: я говорил себе «это так», и никаких вопросов или сомнений.

Если разобраться, мои намерения убить Феншо были не слишком серьезны. Кровожадные картины, посетившие меня во время совокупления с его мамочкой, недолго меня преследовали, по крайней мере на уровне сознания. Иногда в голове проносились картинки, как я его душу, или пыряю ножом, или стреляю ему в сердце, но он был не единственный, с кем я мысленно это проделывал, и к подобным фантазиям я никогда не относился всерьез. Что я убиваю Феншо в своем воображении, было не так странно, как пару раз возникшее у меня ощущение, будто он *хочет*, чтобы я его убил. Меня как озарило, тогда-то и пришла убежденность:

вот в чем истинный смысл его письма. Феншо меня ждет. Он выбрал меня своим палачом, будучи уверен, что я выполню работу. Но именно потому я этого не сделаю. Власть Феншо надо сломить, пока она не сломила меня. Я ему докажу: мне на него плевать. В этом вся соль – обращаться с ним, как с покойником. Но прежде чем что-то доказывать Феншо, я должен был доказать это себе. Вывод напрашивался: чего мне не хватало, так это терпения. Ждать, пока все само собой разрешится, я просто не мог. Мне надо было раскатать, взорвать ход событий. Неуверенность в собственных силах вынуждала меня мысленно рисковать, испытывать себя перед лицом наибольшей опасности. Убить Феншо – это ничего не решало. Другое дело – встретиться с ним лицом к лицу... и уйти с этого свидания живым.

Его письма к Эллен оказались полезны. В отличие от записных книжек, достаточно умозрительных и лишенных деталей, в письмах было много конкретного. Феншо явно старался подбодрить сестру, развлечь ее разными забавными историями, чем и объяснялось неожиданное обилие подробностей личной жизни. Мелькали имена – университетских друзей, сослуживцев на корабле, знакомых во Франции. Несмотря на отсутствие обратного адреса на конверте, можно было проследить маршрут по рассыпанным в тексте географическим названиям: Бейтаун, Корпус-Кристи, Чарлстон, Батон-Руж, Тампа, разные кварталы Парижа, де-

ревня на юге Франции. Словом, было за что зацепиться. Несколько недель я занимался тем, что составлял списки, делал привязки (человека – к месту, место – ко времени, время – к человеку), вычерчивал карты и календари, узнавал адреса, писал письма. Мне нужны были ниточки, любые намеки, способные привести к намеченной цели. Я исходил из того, что где-нибудь Феншо да прокололся, а если так, то кто-то из прошлой жизни мог видеть его сравнительно недавно и знает о его нынешнем местопребывании. Никакой уверенности у меня не было, но что еще оставалось?

Университетские письма, отмеченные усердием и искренностью (прочитанные книги, дискуссии с друзьями, жизнь в общежитии), были написаны еще до нервного срыва Эллен, в них есть теплота и доверительность, которые потом куда-то пропали. В письмах с корабля Феншо почти не рассказывает о себе, разве что в связи с каким-нибудь бытовым анекдотом. Можно проследить за тем, как он старается вписаться в новые реалии. Режется в карты в кают-компании с нефтяником из Луизианы (и выигрывает), играет на бильярде в портовых притонах (опять же выигрывает), а затем объясняет свои успехи про стым везением. И здесь же: «Я так боюсь опростоволоситься, что прыгаю выше головы. Это все адреналин». Работа в котельной: «Жара здесь, ты не поверишь, 60 градусов. Тапочки хлюпают от пота, как будто воды в них набрал». По поводу зуба мудрости, выдранного пьяным дантистом в Бейтауне, штат Техас: «Все перепачкано кровью, из

дупла торчат остатки зуба». Феншо постоянно переводили с места на место. В каждом порту одни сходят на берег, другие пополняют команду, и стоит на корабле появиться новичку, как этим салагой (кстати, Феншо так и прозвали) тут же затыкают какую-нибудь дырку. Кем он только не был! Палубным матросом (драил, красил), уборщиком (чистил галюны, убирал каюты, заправлял койки), дежурным по кают-компании (разносил еду, мыл грязную посуду). Последняя работенка была самая тяжелая, но и самая интересная, так как еда на корабле была смыслом существования: здоровые мужики, от скуки нагуливавшие зверский аппетит, можно сказать, жили от одного приема пищи до другого. Стоило послушать грубого мужлана, который оценивает разные блюда, как какой-нибудь французский герцог. Феншо хорошо усвоил слова бывалого моряка, учившего его уму-разуму: «Никому не позволяй садиться себе на шею. Кто-то громко требует жратву – обслужи его последним. Если не уймется – скажи, что насышь ему в компот. Пусть знает, кто здесь главный».

Вот Феншо делает зарисовку по горячим следам. Он должен принести капитану завтрак. На подходе к мысу Гаттерас всю ночь штормило. Ветер до сих пор достигает семидесяти миль в час, и, расставив все на подносе (омлет, тост, грейпфрутовый сок), он заворачивает это хозяйство сначала в фольгу, а затем в полотенца, чтобы ветром не раскидало. Поднявшись на палубу, он ступает на капитанский мостик и, получив удары спереди и снизу, делает пируэт, а ру-

ки с подносом сами взмывают вверх; если бы кто-то мог его сейчас видеть, то, вероятно, решил бы, что человек готовится к старту на оригинальном летательном аппарате. Собрал все силы, он прижимает поднос с чудом уцелевшим завтраком к груди и маленькими шажочками, этакий гномик посреди бушующей стихии, начинает штурмовать кажущиеся бесконечными шесть или семь метров. Наконец марафонская дистанция преодолена, он на полубаке, и вот он уже в рубке. «Ваш завтрак, капитан», – с гордостью докладывает он. «О'кей, – рассеянно отзывается стоящий за штурвалом кэп, даже не глядя в его сторону. – Поставь на стол, сынок».

Но не все казалось Феншо столь же забавным. Например, упоминается драка (без деталей), оставившая у него неприятный осадок, а также разные выходки на берегу. Одна из таких сиен, в баре города Тампа, была с «ниггерским» душком. В бар зашел старый негр с большим американским флагом на продажу, и пьяная компания тут же взяла его в оборот. Кто-то, развернув полотнище и решив, что на нем не хватает звезд, схватил бедолагу за грудки: «Ты что хотел нам впарить, старая вонючка?» Тот униженно запросил пощады, но этим только всех раззадорил. Кончилось тем, что его вышвырнули из бара и он шмякнулся на тротуар лицом вниз, а все одобрительно загудели и коротко подытожили инцидент: дескать, общими усилиями расчистили мир для демократии. «Я испытал чувство унижения, – пишет Феншо. – Мне было

стыдно, что я нахожусь среди них».

Но в основном письма выдержаны в насмешливом тоне («Я второй Редберн»<sup>4</sup>), и под конец у читателя складывается ощущение, что Феншо сумел-таки себя поставить. Море не так уж отличается от суши, просто это несколько другая реальность, возможность испытать себя в непредсказуемых обстоятельствах. Это та же инициация, с девизом: «выжить – значит победить». То, что поначалу оборачивается против него – Гарвард, классовая принадлежность, – со временем он обращает себе на пользу, и к концу службы он уже признанный интеллеktуал, не Салага, а Профессор, выступающий арбитром в спорах (Кто был двадцать третьим президентом Соединенных Штатов? Сколько жителей во Флориде? Кто играл левым нападающим у «Великанов» в сорок седьмом году?) и служащий источником малоизвестных фактов. Члены команды просят его заполнять за них казенные бумаги (налоговые декларации, страховые анкеты, рапорты о несчастных случаях), он пишет от их имени любовные письма (семнадцать таких посланий за подписью Отиса Смарта получила некая Сью-Энн в Дидо, штат Луизиана). Речь не о том, что Феншо сделался центром внимания, а о том, что он сумел вписаться в коллектив, нашел свое место. Настоящее испытание, если на то пошло, состоит в том, чтобы стать «своим». Когда ему это удалось, он перестал задумываться

---

<sup>4</sup> Герой одноименного романа Германа Мелвилла, неопытный юнга, от имени которого ведется повествование с разными комическими подробностями.

мываться о собственной исключительности. Он обрел свободу – не только от других, но и от себя. Решающим доказательством этого, как мне кажется, является то, что, покидая корабль, он ни с кем не попрощался. В один прекрасный день написал рапорт, получил расчет и был таков. Чтобы объявиться уже в Париже. Два месяца о нем нет ни слуху ни духу. Затем наступает черед почтовых открыток с видами Сакре-Кёр, Эйфелевой башни и Консьержери и нацарапанными на оборотной стороне короткими маловразумительными пояснениями. Последовавшие за этим письма приходят нерегулярно и не содержат ничего существенного. Мы узнаем из них, что Феншо погружен в работу (ранние стихи, первая редакция романа «Помрачения рассудка»), но они не дают представления о его образе жизни. Постоянно чувствуется внутренний конфликт в отношении к сестре: с одной стороны, он боится потерять Эллен, с другой – никак не может решить, о чем ей можно рассказывать, а о чем нет. При этом следует иметь в виду, что большинство писем до адресата не доходят. Из почтового ящика их достает миссис Феншо и, разумеется, прочитывает, прежде чем передать (или, чаще, не передать) дочери. Полагаю, Феншо на это рассчитывал, во всяком случае не исключал такого варианта, что придает ситуации дополнительную подоплеку. В определенном смысле эти письма адресовались не Эллен. Обращение к ней – не более чем литературный прием. Она всего лишь медиум, через которого он общается со своей матерью. Отсюда ее

бешенство. Разговаривая с ней, он делает вид, что ее нет.

В парижских письмах Феншо, во всяком случае в первый год пребывания, есть Париж (здания, улицы, подсмотренные и услышанные мелочи), но нет его самого. Затем постепенно начинает прорисовываться его круг общения, по большей части в анекдотическом ключе, но при отсутствии контекста эти зарисовки производят впечатление чего-то легучего, нематериального. Вот перед нами возникает нищенствующий русский композитор Иван Вышнеградский, восьмидесятилетний вдовец, сиротливо живущий в своей убогой квартирке на рю Мадемуазель. «Я вижу с ним чаще, чем с кем бы то ни было», – заявляет Феншо, и – ни слова об их дружбе, ни намек на их разговоры. Зато следует подробнейшее описание уникального четверть тонового пианино-монстра с несколькими клавиатурами, одного из трех во всей Европе, сделанного для старика на заказ в Праге полвека назад. Дальше можно было бы ожидать каких-то комментариев по поводу судьбы музыканта, но вместо этого нам предлагается история подержанного холодильника. «Месяц назад я переехал на новую квартиру. – пишет Феншо. – Поскольку там стоял новый холодильник, я решил подарить старику свой. Как у многих в Париже, у него никогда не было холодильника, все продукты он хранил в стенной нише. Мое предложение его весьма обрадовало. Я собственноручно, вместе с шофером, втащил на верхотуру эту тяжесть. Пока мы несли агрегат, старик по-детски лепетал, какое это событие в

его жизни, но выглядел он несколько растерянным, даже озабоченным, – он, кажется, не понимал, что за инопланетный предмет поселился в его доме. „Какой большой“, – повторял он, пока мы устанавливали холодильник. А когда мы его подключили и заработал мотор, старик испугался, какой он шумный. Я его успокоил, что он привыкнет, начал расписывать ему преимущества современной техники. Я чувствовал себя таким миссионером, обращающим дикаря в истинную веру. Всю следующую неделю он регулярно мне названивал, чтобы доложить, как он счастлив и какие продукты можно спокойно хранить в этом чудо-ящике. И вдруг беда. „Кажется, он того“, – услышал я однажды голос, в котором звучали покаянные нотки. Оказалось, морозильная камера обросла „шубой“, и, не зная, как от нее избавиться, старик молотком сбивал лед, а вместе с ним и трубки с хладагентом. Когда он начал передо мной извиняться по телефону, я попросил его не волноваться и пообещал найти мастера. Повисла долгая пауза. „Знаете, – сказал он, – может, оно и к лучшему. Этот монстр мешает мне сосредоточиться. И вообще, я уже привык к своему ящичку в стене. Не сердитесь. Я старый человек, в моем возрасте поздно менять привычки“».

В таком же духе выдержаны и последующие письма: новые имена, новые профессии. Заработанных на корабле денег хватило Феншо примерно на год, после чего ему пришлось покрутиться. Переводил книги по искусству, подтягивал по английскому языку студентов коллежа. Одно лето

даже проработал ночным дежурным на коммутаторе в парижском офисе «Нью-Йорк тайме», что, как минимум, свидетельствует о его неплохом французском. А еще был любопытный период, когда по заказу продюсера он переделывал и переводил киносценарии, писал синопсисы и т. д. Хотя в его прозе крайне мало автобиографических подробностей, кое-какие отголоски этой работы, по-моему, можно найти в романе «Небыляндия» (описание дома Монтага в седьмой главе, сон Флада в тридцатой). «Этого человека отличает одна странность, – рассказывает Феншо о продюсере в одном из своих писем. – С богатыми мира сего он сущий гангстер: врет по-черному, вцепляется в горло мертвой хваткой. Зато с теми, кому пока не повезло, он ведет себя по-божески: например, своим должникам, вместо того чтобы тащить их в суд, дает возможность отработать. Его личный шофер, разорившийся маркиз, возит его на белом „мерседесе“, а ксерокопии для него снимает старый барон. Каждый раз, когда я приношу ему домой очередной опус, за занавеской прячется новый слуга, какой-нибудь потрепанный бывший аристократ или разорившийся финансист, нанятый им в качестве посыльного. Кроме того, ничто не пропадает зря. В прошлом месяце, после того как режиссер, живший у него в доме на шестом этаже в комнате прислуги, покончил с собой, мне в наследство досталось его черное длинное пальто, в котором я похож на сыщика».

Из писем Феншо о его частной жизни можно судить лишь

по туманным намёкам. Где-то упоминается вечеринка, где-то описывается студия художника, один или два раза всплывает имя Анны, но характер его отношений с разными персонажами остается неясным, а ведь это как раз то, что меня интересовало. Я был почти уверен: если пойти по следам, рано или поздно кого-то из этих людей удастся разыскать.

Не считая трехнедельной поездки в Ирландию (Дублин, Корк, Лимерик, Слайго), Феншо из Парижа, судя по всему, не отлучался. Второй год его жизни там был отмечен завершением «Помрачений рассудка», третий – романом «Чудеса» и пятью десятками стихотворений. Об этом можно говорить с уверенностью, так как к тому времени он взял за правило датировать свои произведения. Не совсем ясно, когда он уехал из столицы в провинцию; по моим прикидкам, где-то между июнем и сентябрем семьдесят первого года. В этот период письма от него приходят редко, а в записных книжках можно обнаружить лишь сведения о том, что он читает («Мировая история» Уолтера Рэли и «Путешествия» Кабесы де Вака). Но, уже обосновавшись в деревенском доме, Феншо подробно рассказывает, как он там оказался. В данном случае важны не детали, а одно существенное обстоятельство: живя во Франции, Феншо не скрывал, чем он занимается. То, во что не посвящались его близкие, оказывается, не составляло тайны для его друзей. Вот она, про-говорка: первый раз он выдает себя в письме. «Дедмоны, американская пара, знакомая мне по Парижу, – пишет он сестре, – уезжают

на год в Японию и, таким образом, не смогут пожить в своем загородном доме. Туда уже один или два раза кто-то залезал, и они боятся оставлять дом без присмотра. Одним словом, мне предложили место сторожа. Помимо бесплатного жилья я получил в свое пользование машину и небольшое денежное довольствие, которого, если быть экономным, мне должно хватить. Повезло, да? Нам, говорят, будет спокойнее, если в доме тихо себе сидит и пишет наш хороший знакомый, а не хозяйничают посторонние люди». Вроде бы мелочь, но, когда я дошел до этого места, я по-настоящему обрадовался. Феншо на секунду раскрылся – а то, что случилось однажды, вполне может и повториться.

Письма из деревни, если рассматривать их как образчики литературы, заметно превосходят все предыдущие. Глаз Феншо стал поразительно зорким, и точные слова у него всегда наготове: такое впечатление, будто до минимума сократилось расстояние между увиденным и описанным, два этих процесса, можно сказать, совпали, превратившись в один неразрывный акт. Его занимает природа, и он постоянно к ней возвращается, не устает вглядываться в нее, фиксировать малейшие перемены. Удивляет само терпение, с каким он ее изучает. Его пейзажные зарисовки в письмах и дневниках – одни из моих самых ярких литературных впечатлений. Он живет в каменном доме (стены толщиной в шестьдесят сантиметров), построенном в эпоху французской революции; с одной стороны – небольшой виноградник, с другой

– заливные луга с пасущимися овцами, позади – лес (вороны, грачи, дикие кабаны), впереди, через дорогу, – холмы, за которыми лежит деревня (население сорок душ). На одном из холмов среди деревьев и кустарника прячется развалившаяся часовня, некогда принадлежавшая рыцарям-тамплиерам. Ракитник, чабрец, дубки, краснозем, белая глина, мистраль – больше года Феншо живет этими реалиями, постепенно меняясь под их воздействием, как бы укореняясь в самом себе. Я избегаю говорить о религиозном или мистическом опыте (для меня эти понятия лишены смысла), но хочу отметить следующее: похоже, целый год Феншо провел в полном одиночестве, почти никого не видя, не открывая рта. Суровость такого образа жизни дисциплинирует. Одиночество стало для него дорогой в собственную душу, инструментом самопознания. Именно этот период, имея в виду его молодость, можно считать точкой отсчета его писательской зрелости. С этого момента говорить о нем как о многообещающем авторе уже как-то неловко: перед нами произведения сложившегося писателя со своим собственным почерком. Начиная с большого цикла стихотворений, написанных в деревне («Закладка фундамента»), и далее, включая пьесы и роман «Небыляндия» (написанные в Нью-Йорке), о Феншо можно говорить как о распутившемся цветке. Взгляд невольно ищет некую печать безумия, первые проблески мышления, которое со временем восстановит его против самого себя, – и не находит. Феншо, без сомнения, личность неординарная,

но все говорит о том, что он в здравом уме. Вывод: осенью семьдесят второго года в Америку возвратился абсолютно вменяемый человек.

Первые ответы я получил от людей, знавших Феншо по Гарварду. Слово «биография» звучало как пароль: передо мной открывались все двери. Я встретился с парнем, с которым он делил комнату в общежитии на первом курсе, с его университетскими друзьями, с девушками из Рэдклиффа,<sup>5</sup> за которыми он ухаживал. Проку от всего этого было не много. Лишь один из моих собеседников поведал мне кое-что любопытное. Я говорю о Поле Шиффе, чей отец помог Феншо устроиться на танкер. Шифф, работавший педиатром в округе Вестчестер, пригласил меня к себе, и мы проговорили до позднего вечера. Открытость этого щуплого лысеющего мужчины, не отводящего глаз и говорящего тихо, но твердо, мне сразу понравилась. Обо всем он рассказывал сам, без навязывающих вопросов. Феншо оставил важный след в его жизни, и об их дружбе он вспоминал с теплотой.

– Я был примерным студентом. Трудолюбивым, дисциплинированным, но без особого воображения. В отличие от всех нас, Феншо относился к нашей альма-матер без всякого пиетета, что меня тогда поражало. Он был среди нас самый начитанный, касалось ли это поэтов, писателей или философов, и учебу воспринимал как скучную повинность. Отмет-

---

<sup>5</sup> Женский колледж в системе Гарвардского университета.

ки его не интересовали, он часто пропускал занятия – короче, шел своим путем. На первом курсе в общежитии наши комнаты были напротив. Уж не знаю, по какой причине он решил сделать меня своим другом, но с этого момента я к нему словно приклеился. Феншо буквально фонтанировал идеями; я думаю, он дал мне больше, чем все классы, вместе взятые. Конечно, это были неравные отношения между кумиром и восторженным поклонником, но то, что он для меня сделал, я никогда не забуду. Он научил меня думать и самостоятельно принимать решения. Ему я обязан сменой профессии. Зная мои заветные желания, он убедил меня перейти на медицинский, за что я ему по сей день благодарен... В середине второго курса Феншо вдруг объявил, что бросает учебу. Меня это не сильно удивило. В Гарварде он так и не прижился, он не находил себе места, только и ждал момента куда-нибудь уехать. Я поговорил с отцом, который заправлял профсоюзом моряков, и он устроил Феншо на танкер. Все прошло как по маслу. Его оформили вне очереди, и через пару недель он уже вышел в море. Время от времени я получал от него открытки. «Привет, как дела» – общие фразы. Я был не в обиде. Меня согревала мысль, что я смог ему чем-то помочь. Позже я получил за это по полной программе. Года четыре назад я столкнулся с Феншо на Пятой авеню. Не могу вам описать, как я обрадовался, можно сказать, накинулся на него с расспросами, а он в ответ едва цедил слова. Казалось, он просто забыл, кто я такой. Говорил со мной

холодно, даже грубо. Я всучил ему свой адрес и телефон, и он обещал позвонить, но где уж там. Скажу вам честно, было больно. Сукин ты сын, думал я про себя, кого ты из себя изображаешь! Он даже не ответил, чем занимается. Отделался какой-то обтекаемой фразой, повернулся и пошел, как ни в чем не бывало. Вот тебе и студенческое братство. От той встречи у меня остался горький осадок. А в прошлом году жена купила мне в подарок на день рождения его книгу, которую я так и не открыл. Ребячество, конечно. Стоит у меня на полке и собирает пыль. Странно, да? Вокруг говорят, что это шедевр, а я, скорее всего, так и не смогу себя заставить ее прочесть.

Это был самый четкий комментарий из всех, какие мне довелось услышать. Я поговорил кое с кем из тогдашней команды танкера, но это не приблизило меня к цели. Например, Отис Смарт, которому я дозвонился в Батон-Руж, пустился в воспоминания по поводу любовных писем Феншо, сочиненных от его имени. Он даже цитировал мне по памяти шуточные обращения к ней («Мои шаловливые пальчики», «моя сладкая тыковка», «моя грязная свинка» и проч.) и при этом заразительно смеялся. Но в то время как Отис забрасывал свою бесценную Сью-Энн заверениями в любви и вечной преданности, «эта сучка» путалась с каким-то типом и в первый же день после его возвращения из плавания огорошила его известием, что выходит замуж.

– Оно и к лучшему, – добавил Смарт. – Год назад иду по

улице, а мне навстречу – полтора центнера живого мяса в оранжевых брючках в обтяжечку, а вокруг этой свиноматки целый выводок визжащих поросят. Сразу вспомнил эти письма. Когда он мне зачитывал их вслух, я валялся от хохота. Жалко его, конечно. В его годы сыграть в ящик!

Джеффри Браун, ныне шеф-повар в одном из хьюстонских ресторанов, на корабле был помощником кока. По его словам, Феншо единственный из всех белых относился к нему по-дружески.

– Мне пришлось туго, – вспоминал Браун. – Команда в основном состояла из туповатых молодцов, которые вместо приветствия могли плюнуть тебе в лицо. А Феншо стоял за меня горой, что бы кто ни говорил. Пока наш корабль болтался на рейде, мы вместе шли пропустить стаканчик-другой или снять девочек на берегу. Я предупреждал его: со мной в обычных портовых кабаках ему лучше не появляться. Меня бы там взгрили за милую душу, а зачем нам неприятности, правильно? Феншо со мной не спорил, и мы отправлялись в черные кварталы. На корабле жизнь у меня была более-менее спокойная, по крайней мере со всеми своими проблемами я справлялся сам. Но однажды на борту появился некий тип – Рой Катберт.<sup>6</sup> Ничего себе имечко, да? Через пару недель его отчислили из команды – выяснилось, что он в нефтянке ни бельмеса не понимает. Он смухлевал во время прохождения тестов, чтобы получить работу. Если бы наш

---

<sup>6</sup> По-русски – «жертва аборта».

танкер взорвался по его милости, я бы не удивился. Тупость и подлость – больше в нем ничего не было. На костяшках пальцев он сделал наколки: L-O-V-E на правой руке, H-A-T-E<sup>7</sup> на левой. Он хвастался, что в своей родной Алабаме по субботам, как стемнеет, устраивался на холме, мимо которого пролежала скоростная трасса, и палил из мелкашки по проезжавшим внизу машинам. Тот еще псих. Один глаз, сильно изуродованный, был предметом его гордости. Если верить ему, он поранился осколком, когда швырял бутылки во время выступления в Сельме Мартина Лютера Кинга. Ко мне, сами понимаете, этот отморозок не питал теплых чувств. Он частенько отпускал по моему адресу разные словечки, но я старался не обращать внимания. Но однажды он что-то такое буркнул при Феншо. Тот попросил его повторить. Катберт ему с вызовом: «А что? У тебя уже намечена свадьба с этой обезьяной?» И вдруг Феншо, обычно такой спокойный и вежливый, превратился в настоящего зверя, как это, знаете, бывает в фильмах. Глаза страшные, рот перекошен. Схватил его за грудки да как шарахнет об стену! «Еще раз такое скажешь, я тебя убью, ты меня понял?» И тот, представьте, поджал хвост. «Что, уж и пошутить нельзя?» Все произошло в мгновение ока. Этот бугай повернулся и пошел. Через пару дней его списали на берег. И слава богу, а то бы он еще наломал дров.

Таких «кадриков» – из писем, телефонных разговоров,

---

<sup>7</sup> Л-Ю-Б-О-В-Ь, Н-Е-Н-А-В-И-С-Т-Ь (англ.).

личных встреч – составилось великое множество. Мои розыски продолжались не один месяц, и я видел, что собранный материал, разрастаясь в геометрической прогрессии, живет своей отдельной жизнью: такое вечно голодное существо, жадно глотающее все новые подробности. Со временем этот монстр мог раздуться до размеров земного шара. Одна жизнь цепляет другую, та третью, и в перспективе цепочка растягивается до бесконечности. О ком я только не узнал! Кроме толстухи из Луизианы и полоумного расиста с наколками на пальцах и совершенно невыносимой фамилией я узнал о сотнях бесконечно далеких друг от друга людей, которые оказались связаны друг с другом через Феншо. Кто-то скажет: «Вот и отлично, тем ближе цель». Я ведь, в сущности, мало чем отличался от детектива: я тоже вел «дело» и искал любые зацепки. Я тонул в океане фактов, большинство из которых направляло меня по ложному следу. Я пытался нащупать единственно правильную дорогу, ведущую к разгадке. И все впустую. Ни один из этих людей давным-давно о Феншо ничего не слышал. При отсутствии других источников информации мне оставалось довольствоваться тем, что я накопал.

Бесконечный поиск – вот к чему все свелось. В определенном смысле то, что мне надо было знать о Феншо, я уже знал. Новые факты ничего нового не добавляли и, следовательно, не могли изменить сложившейся картины. Скажу иначе: Феншо, каким я его знал, и Феншо, которого я разыс-

кивал, были два разных человека. В какой-то миг случился разрыв, внезапный, загадочный, и никто из моих многочисленных собеседников не мог дать этому внятного объяснения. Их рассказы только подтверждали очевидное: в том, что произошло, отсутствовала логика. «Добрый Феншо», «жестокий Феншо» – слова этой старой песни я знал наизусть. А искал-то я совсем другое, что-то выходящее за грань моего воображения: некий иррациональный поступок, абсолютно для него нехарактерный, нечто такое, что противоречило бы всей его жизни до исчезновения. Затаив дыхание, я прыгал в неизвестность, но каждый раз приземлялся на том же пятчке, где все было до боли знакомо.

Чем дальше я углублялся, тем быстрее сужались мои возможности. Может, это и к лучшему. По крайней мере, ясно: очередная неудача отсекала еще одно направление поиска. О потраченном впустую времени я старался не думать. Два месяца, февраль и март, я ухлопал, охотясь за Квинном, частным детективом, который когда-то помогал Софи. Удивительно, но он бесследно исчез. Бизнесом, во всяком случае, больше не занимался – ни в Нью-Йорке, ни где бы то ни было. Я поднял документы о невостребованных покойниках, обошел городские морги, искал его родню – бесполезно. Отчаявшись, я уже был готов поручить это дело частному детективу, но потом передумал. Хватит с меня одного без вести пропавшего. Постепенно все варианты себя исчерпали, и к середине апреля у меня осталась последняя надежда. Я

решил подождать еще немного для порядка и, ничего не высидав, в один прекрасный день, а именно двадцать первого апреля, зашел в турагентство и купил авиабилет до Парижа.

Мой самолет улетал в пятницу. Во вторник мы с Софи отправились покупать новый проигрыватель. Одна из ее младших сестер переезжала в Нью-Йорк, и мы решили подарить им свой на новоселье. Идея давно носилась в воздухе, а тут подвернулся подходящий случай. Свой старый проигрыватель мы уложили в коробку из-под нового, посчитав это разумным решением, и стали думать, куда ее пока убрать.

Сделать это оказалось не так просто. Единственный чулан в спальне был забит коробками Феншо (вещи, книги и всякая всячина). Освобождая прежнюю квартиру, мы меньше всего хотели начинать новую жизнь в окружении этих призраков прошлого, но у нас рука не поднялась от них избавиться. В запечатанных коробках, которые мы старались не замечать, они воспринимались как своего рода компромисс. Эти пресловутые коробки стали частью домашнего быта – как выщербленная половица под ковром или трещина в стене над нашей кроватью. Но, наткнувшись на них в очередной раз, Софи неожиданно взбунтовалась.

– Все, хватит!

Сидя на корточках, она в сердцах двинула по висящим платьям и костюмам, так что зазвенели металлические плечики. Эта вспышка ярости скорее относилась не ко мне, а к

ней самой.

– Ты о чем? – спросил я.

Она сидела спиной ко мне, и нас разделяла кровать.

– Об этом. – Она сдвигала одежду и так и этак, но коробки все равно мешали. – О его хозяйстве.

– И что ты думаешь со всем этим делать? Присев на постель, я подождал ответа и, не дождавшись, повторил вопрос.

Она резко повернулась, и я увидел, что глаза у нее на мокром месте.

– Он умер? – Ее голос дрожал, она с трудом сдерживалась. – А если он умер, зачем нам это... – она развела руками, подыскивая слово, – это старье? Живем точно с покойником!

– Можно в принципе позвонить в Армию спасения.

– Ни слова больше. Звони.

– Хорошо, но сначала я должен разобрать коробки.

– Нет. Пусть забирают все.

– Вещи – ладно, но книги я хотел бы еще немного подержать. Давно собирался сделать опись, а заодно проверить, нет ли там пометок на полях. Я могу уложиться в полчаса.

Софи смотрела на меня так, словно мои слова не укладывались у нее в голове.

– Неужели ты ничего не понимаешь? – Из глаз брызнули слезы, безудержные детские слезы, которых Софи даже не замечала. Она поднялась на ноги. – Мои слова до тебя боль-

ше не доходят. Ты просто меня не слышишь.

– Софи, я делаю все, что в моих силах.

– Неправда. Это тебе так кажется. Неужели непонятно? Ты возвращаешь его к жизни!

– Я пишу о нем книгу, только и всего. Но если не относиться к ней всерьез, как можно ее закончить?

– Здесь нечто большее. Я знаю, я это чувствую. Если мы хотим сохранить наши отношения, он должен умереть. Ты меня понимаешь? Даже если он жив, он должен умереть.

– Что ты такое говоришь? Он мертв, и ты это знаешь.

– Я знаю, что ты пытаешься его реанимировать, и в конце концов тебе это удастся.

– А кто был инициатором? Не ты ли уговорила меня писать книгу?

– Господи, когда это было! А сейчас, мой дорогой, я тебя теряю. Я не могу спокойно на это смотреть.

– Мне совсем немного осталось, правда. Эта поездка – и все.

– И что потом?

– Там будет видно. Ситуация покажет.

– Этого-то я и боюсь.

– Ты можешь полететь со мной.

– В Париж?

– Почему нет? Мы можем полететь вдвоем.

– Нет. Только не сейчас. Лети один. По крайней мере, если ты вернешься, то по собственному желанию.

– Что значит «если»?

– То и значит. *Если* ты вернешься.

– Ты что, серьезно?

– Более чем. Если так будет продолжаться, я тебя потеряю.

– Софи, не говори так.

– А как мне говорить? Я тебя уже почти потеряла. Мне иногда кажется, что ты исчезаешь прямо на глазах.

– Глупости.

– Вообще нет, мой дорогой. Ты не понимаешь, мы остановились у последней черты. В один прекрасный день ты исчезнешь, и больше я тебя не увижу.

## 8

В Париже мир для меня как будто раздвинулся. Небо было все на виду, не то что в Нью-Йорке, и игра света отличалась какой-то изощренностью. Первые два дня я не мог отвести глаз – сидел у окна в своем гостиничном номере и наблюдал за облаками. Они двигались с севера и постоянно трансформировались: то собирались в грозную серую армаду, чтобы пролиться дождем, то рассеивались, то набегали на солнце, и тогда преломленные лучи начинали переливаться всеми цветами радуги. Парижское небо живет по своим законам, не имеющим ничего общего с теми, что царят в городе. Если дома кажутся прочными, построенными на века, то небеса аморфны и изменчивы. Первое время мне казалось, что меня поставили с ног на голову. Этот город, визитная карточка Старого Света, не имеет ничего общего с Нью-Йорком – с его уличной суетой на фоне застывшего неба и агрессивными небоскребами, цепляющими равнодушные облака. Вырванный из привычной среды, я чувствовал неуверенность, я потерял хватку и время от времени должен был соображать, зачем я здесь.

Мой французский, прямо скажем, не ахти. Я понимал окружающих, но сам говорил с трудом и часто, пытаюсь объяснить простые вещи, не находил нужных слов. В этом, пожалуй, есть своего рода прелесть – воспринимать язык как

набор звуков, скользить по поверхности слов, лишенных смысла, – но это не может не утомлять, так как оставляет человека наедине с собственными мыслями. Чтобы вникнуть в чужую речь, я в уме переводил ее на английский, то есть постоянно опаздывал на несколько тактов и в результате, затратив много усилий, понимал дай бог половину. Нюансы, скрытые ассоциации, подтексты – все это было мне недоступно, да и то, что казалось доступным, по большому счету, наверное, таковым не являлось.

Я не сдавался. Несколько дней ушло на подготовку, и за первым контактом последовали другие. Не обошлось без разочарований. Умер Вышнеградский; не удалось разыскать людей, которых Феншо учил английскому; давно ушла из парижской редакции «Нью-Йорк тайме» женщина, взявшая его на работу. Хотя это было в порядке вещей, каждый раз я расстраивался не на шутку, прекрасно понимая, что любой пробел может оказаться роковым. В картине появлялись белые пятна, и, как бы успешно ни шло ее восстановление, трудно было отделаться от мысли, что я никогда не доведу начатое до конца.

Я поговорил с Дедмонами, с издателем, для которого Феншо рецензировал книги по искусству, с Анной, оказавшейся его бывшей подружкой, с кинопродюсером, подбрасывавшим ему халтуру.

– Он брался за все подряд. – Продюсер говорил по-английски с русским акцентом. – Переводы, синопсисы, даже

что-то писал за мою жену. Смысленный парень, но упрямый. Насквозь литературный – понимаете, что я хочу сказать? Я решил дать ему шанс попробовать себя в качестве актера. Мы запускали новую картину, и я считал, что для него там есть роль. Надо было взять несколько уроков фехтования и верховой езды. Он не проявил никакого интереса. У меня, говорит, дел по горло. Так и сказал. Дело хозяйское. Картина принесла миллионы – что с ним, что без него.

Из этого человека, обладателя царских хором на авеню Анри Мартен, наверняка можно было что-нибудь вытянуть, но в какой-то момент, ловя очередную недосказанную фразу между двумя деловыми звонками, я сказал себе: «Достаточно». Меня интересовал, в сущности, только один вопрос, на который у моего собеседника нет ответа. Так зачем мне новые детали, не относящиеся к делу подробности, кипа исписанных страниц? Я слишком долго делал вид, что пишу книгу, и, кажется, начал забывать о своей главной цели. «Все, хватит!» – сказал я себе, вторя Софи, и быстро ретировался.

В Париже, слава богу, меня никто не контролировал. Можно было не разыгрывать домашний спектакль, не создавать видимость бурной деятельности. Не надо шарад, забудь о несуществующей книге. Минут десять, пока я шел через мост назад в гостиницу, меня переполняло давно забытое ощущение радости. Все упростилось, свелось к одной-единственной проблеме. Но стоило мне об этом задуматься, как ситуация предстала передо мной во всей своей неразрешимости.

мости. Мои поиски подошли к концу, а Феншо от меня был все так же далек. Где он, этот его роковой просчет, который я так ждал? Ни зацепок, ни следов. Он себя заживо похоронил – себя и все, что с ним происходило после его исчезновения. Мне его никогда не найти... разве что он сам этого захочет.

И все-таки я упрямо шел вперед до победного, отказываясь сдаваться, я рыл носом землю, как крот, – авось куда-нибудь выберусь. Меня подмывало позвонить Софи. Однажды я уже стоял в очереди к телефонистке, но в последний момент передумал. В эти дни я плохо соображал, и мысль, что я могу потерять нить разговора, меня испугала. Что я ей скажу? Вместо этого я послал открытку с фотографией Лорела и Харди.<sup>8</sup> «Кто знает, что такое настоящий брак? – написал я на обороте. – Взгляни на эту парочку. Разве они не доказывают, что все возможно? Может, нам тоже надеть котелки? К моему возвращению не забудь очистить чулан. Обними Бена».

Когда я вошел в кафе на бульваре Сен-Жермен, Анна Мишо, с которой у меня была там назначена встреча, вздрогнула. Только это и отмечу, ибо все ее «сведения» (кто кого поцеловал, кто что сказал и тому подобное) не стоили ломаного гроша. В первое мгновение она обозналась, приняв меня за Феншо. Разумеется, наше сходство подмечали и прежде, но еще никогда реакция не бывала такой непосредственной

---

<sup>8</sup> Стэн Лорел и Оливер (Олли) Харди – современники Чаплина, прославленная пара комиков, которых Америка воспринимала как одно целое.

и очевидной. Видимо, на моем лице изобразилось удивление, потому что она тотчас извинилась, как будто допустила бестактность. Но во время нашего разговора, продолжавшегося два с лишним часа, если не все три, она несколько раз возвращалась к своей ошибке. Один раз, явно противореча самой себе, она сказала: «И совсем вы на него не похожи. Просто у вас вид типичных американцев».

В отличие от нее, во мне нарастала тревога, нет, ужас. Надвигалось что-то страшное, мне не подвластное. Сгущалась тьма, дрожал пол. Я боялся пошевелиться, но и сидеть спокойно было невозможно. Я забыл, где нахожусь, мое тело каждую минуту переносилось в другое место. «Мир начинается там, где заканчиваются мысли», – успокаивал я себя. «Но разве я, вместе с моими мыслями, не принадлежу этому миру?» – возражал внутренний голос. Беда еще была в том, что я вдруг перестал различать предметы. Это яблоки, а не апельсины, это груши, а не сливы. Мы понимаем это хотя бы на уровне рефлекса, едва надкусив плод, но в ту минуту для меня было все едино. Вкусовые ощущения атрофировались, я даже не мог себя заставить поднести кусок ко рту...

О Дедмонах можно сказать и того меньше. С ними Феншо на редкость повезло: из всех, с кем мне довелось увидеться в Париже, не было людей более радушных и приветливых. Они пригласили меня на коктейль, а в результате оставили обедать. Мы еще не успели перейти ко второму блюду, а они уже уговаривали меня посетить их дом в Варе, тот самый

дом, где жил Феншо. И не просто посетить, а пожить там, так как сами они до августа уезжать в деревню не собирались. Это место в творческом плане стало для Феншо очень плодотворным, развивал свою аргументацию месье Дедмон, и моя книга, несомненно, только выиграет, если я увижу их дом своими глазами. Не успел я согласиться с его доводами, как мадам Дедмон сняла телефонную трубку и принялась отдавать необходимые распоряжения на своем четком и элегантном французском.

В Париже меня больше ничто не держало, и утренним поездом я уехал в Вар. Это был мой, так сказать, последний заход, мое путешествие в забвение. У меня еще оставались призрачные надежды (а вдруг Феншо вернулся во Францию и снова нашел прибежище в деревенском доме?), но они тут же развеялись. Дом стоял пустой, без признаков жизни. На завтра, внимательно обследуя второй этаж, я обнаружил написанное на стене стихотворение. Эти стихи я знал, а стоявшая под ними дата – 25 августа 1972 года – возвращала меня к периоду, когда он работал под этой крышей. Больше он сюда не приезжал. Как мне могла прийти в голову такая глупость?

Делать мне было решительно нечего, и я потратил несколько дней на разговоры с местными фермерами и деревенскими жителями. Показывая им фотографию Феншо, я представлялся его братом, но в душе чувствовал себя шпиоком, оставшимся без работы, жалким посмешищем, хвата-

ющим за соломинку. Кто-то сразу вспоминал его, кто-то нет, третьи сомневались. Это мало что меняло. Южный выговор с его раскатистым «р» и характерным прононсом был для меня всего равно что китайский. Только один человек имел контакт с Феншо после его отъезда – его ближайший сосед-фермер, странный сорокалетний субъект, который, кажется, ни разу в жизни не мылся. Жил он один, если не считать беспородной псины и охотничьего ружья, в сырой развалюхе, построенной еще в семнадцатом веке. Он гордился своей дружбой с Феншо и в доказательство продемонстрировал мне белую ковбойскую шляпу, которую тот прислал ему по возвращении в Америку. У меня не было причин ему не верить. Шляпа лежала в коробке новехонькая, ни разу не надетая. Владелец объяснил мне, что бережет ее для подходящего случая, и разразился длинной политической тирадой, которую я понимал с пятого на десятое. Общий смысл был такой: когда грянет революция, он наденет свою белую шляпу, раздобудет пулемет и на белом коне проедет по главной улице деревни, отстреливая всех лавочников, которые сотрудничали с немцами во время войны. Как в Америке, добавил он. Я попросил его уточнить, что он имеет в виду. В ответ он выдал бредовый пассаж на тему «ковбои и индейцы». Чтобы остановить поток красноречия, я заметил, что все это дела давно минувших дней. Ошибаетесь, возразил он. А недавняя стрельба на Пятой авеню, которую устроили апачи? Возражать было бессмысленно. В оправдание соб-

ственного невежества пришлось сказать, что я живу в другом районе.

Я провел в этом доме целую неделю с единственной целью – ничего не делать, просто отдыхать. Мне необходимо было собраться с силами перед возвращением в Париж. Я бродил по лесам и полям или читал на солнышке американские детективы на французском. Казалось бы, что может быть лучше: живешь в глуши, голова свободна от забот. Как бы не так. В этом большом доме я не чувствовал себя в одиночестве. Рядом был Феншо, и как бы я ни старался о нем не думать, избавиться от него не мог. Для меня это было столь же неприятно, сколь и неожиданно. Именно сейчас, когда я перестал его искать, его присутствие сделалось всеобъемлющим. Ситуация развернулась на сто восемьдесят фадусов. Все эти месяцы мне казалось, что я ищу Феншо, а на самом деле я пытался убежать от него – и вот он меня настиг. Моя мнимая книга и всевозможные маневры, как я теперь понял, были попыткой от него отделаться, я прибегал к разным уловкам, чтобы удержать его на расстоянии. Убедить себя в том, что я его ищу, значило признать, что он находится где-то вовне, за пределами моей жизни. Но я ошибался: Феншо всегда со мной, где бы я ни был, с самого первого дня. С момента получения его письма я все пытался нарисовать его в своем воображении, представить, где он и как он, но мои усилия были тщетными. В лучшем случае мне рисо-

валась запертая комната. Там, за дверью, был Феншо, приговоренный к метафизическому одиночеству, – непонятно, чем и как живущий, неизвестно, о чем грезящий. Теперь я наконец понял, где эта комната: в моей черепной коробке.

Дальше все было странно. В Париже я оказался каким-то неприкаянным. Ни желания встречаться с моими новыми знакомыми, ни смелости вернуться в Нью-Йорк. Мною овладела прострация, я не мог двинуться с места и постепенно начал терять ощущение самого себя. Я бы, наверно, не сумел сказать ничего внятного об этом периоде, если бы не документальные свидетельства – виза в паспорте, авиабилет, счет из гостиницы и все такое прочее, – подтверждающие, что я провел в Париже больше месяца. А вот память отказывается признавать факты. Я вижу себя в разных местах, но как будто со стороны. Нет ощущения, что я это пережил, пощупал, запомнил; все, что произошло, было словно не со мной. Вывод очевиден: из моей жизни выпал целый месяц. Довольно постыдное признание.

Месяц – срок немалый. За это время можно совсем потерять человеческий облик. Смутно вижу какие-то обрывки, разрозненные фрагменты... Вот я, пьяный вдребезги, падаю, поднимаюсь, кое-как добредаю до уличного фонаря, и меня выворачивает наизнанку... Вот сижу в опустевшем кино-театре, зрители разошлись, а я мучительно пытаюсь вспомнить, что же я сейчас видел... Вот я на улице Сен-Дени снимаю проституток, а в распаленном воображении мешанина

из голых тел... Вот мне делают минет... вот я в постели с двумя целующимися девицами... вот слоноподобная черная шлюха подмывается на биде... Я не хочу сказать, что ничего такого не было, просто я не в состоянии объяснить, как я мог до этого дойти. Я трахался до изнеможения, я пил до потери пульса. Но если моей целью было стереть Феншо из памяти, мой загул следует признать успешным. Я с ним покончил – и заодно с собой.

Зато конец я вижу ясно, во всех подробностях. Хоть тут мне повезло. Ведь именно в ней, в развязке, вся соль. Не сохранись она в моей голове, не было бы этой книги. Равно как и двух предыдущих – «Стеклянный город» и «Призраки». Это, в сущности, одна история в разных стадиях осмысления. Не стану делать вид, будто я решил хоть одну из проблем. Просто пришел такой момент, когда я мог без страха взглянуть правде в лицо. А слова, которые при этом прозвучали... они не столь уж важны, хотя я принял их как должное и подчинился их диктату. Гораздо важнее внутренняя борьба, так долго не позволявшая мне освободиться от моей зависимости. История не в словах; история в самой борьбе.

Однажды я очутился в баре возле площади Пигаль. Именно «очутился», так как у меня до сих пор нет уверенности, что я туда входил. Это было популярное заведение из тех, где клиента обирают до нитки. У стойки всегда щебечет стайка «пташек». Приглашаешь одну из них за столик, заказываешь втридорога бутылку шампанского, а там как повезет:

если сошлись в цене, в мебелирашке за углом вас ждет свободный номер. Я сидел за столиком с красоткой таитяночкой лет девятнадцати, миниатюрной, в сетчатом платьишке на голое тело. Эффект потрясающий. Ее маленькие грудки просвечивши сквозь ромбики. Когда я наклонился и поцеловал ее в шею, я ощутил королевский атлас. Нам принесли шампанское в ведерке со льдом. Она сказала, как ее зовут, но я тут же переименовал ее в Файавэй.

Я ей втолковал, что она живет среди дикарей, а я, американский моряк, спасу ее и увезу в Нью-Йорк.<sup>9</sup> Она улыбалась, ничего не понимая, и, очевидно, приняла меня за психа. Нисколько не смущаясь, я нес околесицу на своем бесвязном французском и смеялся через каждую фразу, она тоже смеялась и позволяла мне целовать себя во все места.

Мы сидели в углу, откуда был отличный обзор. Мужчины входили и выходили. Некоторые пили за стойкой, другие, вроде меня, занимали отдельный столик. Вскоре появился молодой американец, вероятно, впервые оказавшийся в подобном заведении и потому слегка озабоченный. На отличном французском он заказал в баре виски и заговорил с одной из девушек. Видно было, что он намерен задержаться. Рассеянно лаская Файавэй, я присматривался к новенькому. Высокий, атлетически сложенный, с рыжеватыми волосами, он казался совсем юным. Однако я решил, что ему лет двадцать шесть – двадцать семь и что он аспирант или,

---

<sup>9</sup> Сюжет романа Германа Мелвилла «Тайпи».

может, начинающий адвокат в какой-нибудь американской фирме. Хотя я видел этого человека впервые, в его облике было что-то очень знакомое, не позволявшее отвести от него взгляд. Меня словно ошпарило. Я мысленно перебрал несколько имен, покопался в прошлом – никаких ассоциаций. Он никто, сказал я себе, сдаваясь, и тут же сделал совершенно безумный вывод: значит, это Феншо. Подумал – и сам засмеялся, и Файавэй за мной следом. Понимаю, что полная ахинея, а остановиться не могу: Феншо, Феншо. Чем больше повторяю, тем чуднее – и восхитительнее – звучит. Заливаюсь, сил нет. Девушка на меня уже смотрит с подозрением. Наверно, решила, что я намекаю на какую-то сексуальную игру, но затем в назойливом повторении незнакомого слова ей, кажется, померещилась угроза. Я же смотрел на человека в другом конце зала, и повторение никак не связанного с ним слова доставляло мне высшее счастье. Я наслаждался заведомой ложностью моего утверждения, я упивался своей мифической властью. Я был величайшим алхимиком, способным изменить мир по своей воле. Этот человек был Феншо, потому что я так сказал, и точка. Меня уже ничто не могло остановить. Ни о чем не думая, я шепнул на ухо своей партнерше, что сейчас вернусь, и, высвободившись из ее волшебных рук, нетвердыми шагами направился к стойке. Подойдя вплотную к мнимому Феншо, я обратился к нему – почему-то с оксфордским акцентом:

– Вот так сюрприз! Рад тебя видеть, старина! Он обернул-

ся и посмотрел на меня внимательно. Улыбка сбежала с его лица, лоб нахмурился.

– Я вас знаю? – спросил он после паузы.

– Еще бы ты меня не знал! – загудел я, само дружелюбие. – Мелвилл. Герман Мелвилл. Читал мои книги?

Он пытался понять, с кем имеет дело, с пьяным балагуром или опасным психопатом, и его лицо отражало эти внутренние метания, отчего я был в восторге.

– Возможно. – Он наконец выдавил из себя жалкую улыбку. – Возможно, что-то и читал.

– Про кита, наверно.

– Да. Про кита.

– Приятно слышать. Ну, Феншо, рассказывай. – Я обнял его за плечи. – Что привело тебя в Париж?

Его лицо снова приняло озадаченное выражение.

– Как вы меня назвали?

– Феншо.

– Феншо?

– Произношу по буквам: Ф-Е-Н-Ш-О.

– Теперь понятно. – Он широко улыбнулся, как человек, к которому возвращается уверенность. – Вы меня с кем-то спутали. Меня зовут Стиллмен. Питер Стиллмен.

– Как скажешь, – согласился я с видом заговорщика и слегка потрепал его по плечу. – Стиллмен так Стиллмен. Не все ли равно, как ты себя называешь. Главное, я тебя узнал, как только ты вошел. «Да это же старина Феншо! – сказал я

себе. – Интересно, что он делает в таком месте?»

Начиная терять терпение, он снял с плеча мою руку и отодвинулся подальше.

– Ну все, хватит. Вы обознались, и покончим с этим. Нам больше не о чем разговаривать.

– Ошибаешься, дружище, – возразил я. – Твоя тайна раскрыта. Теперь тебе от меня не скрыться.

– Оставь меня в покое! – В его голосе впервые зазвучали гневные нотки. – Псих. Если ты не отвяжешься, будут неприятности.

Хотя люди в баре не понимали, о чем мы говорим, они не могли не чувствовать нарастающее напряжение, и атмосфера сгущалась на глазах. Стиллмен запаниковал. Переведя взгляд с барменши на сидящую рядом девушку, он вдруг оттолкнул меня и устремился к выходу. Можно было, конечно, отпустить его с богом, но я только разошелся и решил действовать по вдохновению. Вернувшись к своему столику, я положил перед Файавэй пару сотен. Она надула губки.

– *C'estmonfrere*, – сказал я. – *estfou.Jedoislepoursuivre*.<sup>10</sup>

Она потянулась за деньгами, а я уже шел к двери, на ходу посылая ей воздушный поцелуй. На улице я сразу увидел спину Стиллмена, уже успевшего пройти метров тридцать. Я шел за ним на расстоянии, чтобы не быть замеченным, и старался не терять его из виду. Он то и дело озирался, проверяя, нет ли «хвоста». Меня он, кажется, ни разу не заметил.

---

<sup>10</sup> Это мой брат. Он сумасшедший. Я должен его догнать (фр.).

Шумный квартал остался позади. Мы шли по тихим улицам на правом берегу Сены. Эпизод в баре явно выбил его из колеи; кажется, он всерьез опасался за свою жизнь. Что ж, его можно было понять. Я олицетворял собой все то, чего мы в жизни так боимся: агрессивного незнакомца, выросшего из темноты; нож в спину; лихача-водителя, сбивающего случайных прохожих. Так что у него были основания удирать. Но его страх меня только раззадорил, пьянящее предвосхищение добычи кружило мне голову. У меня не было ни плана, ни определенных мыслей, но не было также и сомнений, наоборот, такое чувство, будто решалась моя судьба. Тут важно отметить, что я полностью отдавал себе отчет в своих действиях: меня не шатало, хмель выветрился, голова прояснилась. Я осознавал, что веду себя неадекватно. Стиллмен – не Феншо. Случайный, ни в чем не повинный человек. Но это-то меня и возбуждало – абсолютная произвольность выбора, головокружительная непредсказуемость случайного. В моем поступке не было никакого смысла – и именно поэтому в нем заключался высший смысл. В какой-то момент, когда на обезлюдившей улице отчетливо застучали две пары каблучков, Стиллмен, обернувшись, увидел меня и ускорил шаг. Я кричал ему вслед: «Феншо! Поздно тебе прятаться, я тебя узнал». Он свернул за угол. «Феншо, – кричал я, – все равно ты от меня не уйдешь. Твоя песенка спета». Он уже бежал, не оглядываясь, и мне пришлось замолчать, чтобы за ним угнаться. Тут уж было не до насмешек. Мы бежали бесконеч-

но долго. Он был моложе и физически крепче, и приходилось прикладывать большие усилия, чтобы не дать ему уйти. Я гнал себя вперед, выбиваясь из сил, до рези в селезенке, без передышки. Душа, казалось, отлетела – другого слова не подберу. Я себя просто не ощущал. Из меня ушли жизненные соки, сменившись сладостным ядом в жилах, эйфорией и запахом тлена вокруг. Вот так приходит смерть, подумал я... и через секунду, нагнав Стиллмена, вцепился в него сзади. Мы рухнули на тротуар, и сразу стало ясно: я сбил дыхание, потерял остаток сил и на серьезную борьбу меня не хватит. Шла молчаливая возня. Наконец ему удалось вырваться, и дальше я уже не мог ничего. Он дубасил меня кулаками, пинал своими остроносими туфлями. Корчась от боли и молясь только о том, чтобы это поскорее кончилось, я инстинктивно закрывал лицо руками. Не знаю, сколько это длилось, – я вырубился. А когда очнулся, в голове моей было так же темно, как на улице.

Три дня я не выходил из номера. Настоящим шоком для меня была не боль, охватившая все тело, а то, что я все же не загнулся. В какой-то момент, лежа на спине и тупо разглядывая филенки закрытых ставень, я понял, что выжил. Эта странность не укладывалась у меня в голове. Сломанный палец, виски в кровавых рубцах, отбитые внутренности, делавшие каждый вдох невыносимым, – все это было второстепенно. Я выжил – чудеса, да и только. Меня не прикончили, неужели это правда?

В тот же день я послал Софи телеграмму: возвращаюсь  
домой.

Мой рассказ приближается к концу. Остается последний эпизод, но до него еще три года, заполненных разными трудностями и семейными драмами. Впрочем, они не имеют прямого отношения к этой истории. После моего возвращения в Нью-Йорк мы с Софи почти год жили врозь. Она уже махнула на меня рукой, но после долгих и трудных объяснений мне удалось ее вернуть. С позиций сегодняшнего дня (май 1984-го) остальное не имеет значения. В сравнении с этим все прочие факты моей биографии кажутся почти случайными.

Двадцать третьего февраля восемьдесят первого года родился Пол, названный так в честь деда Софи. Спустя несколько месяцев, перебравшись на другой берег реки, мы сняли два верхних этажа в доме из бурого песчаника. В сентябре Бен пошел в детский сад. На Рождество мы все отправились в Миннесоту, а когда вернулись домой, Пол уже самостоятельно ходил. Бен взял младшего братика под свое крыло и занимался его развитием.

Имя Феншо мы с Софи никогда не упоминали. Это был наш молчаливый пакт, и, соблюдая его, мы как бы подтверждали свою лояльность друг другу. После того как я вернул издательский аванс и официально отказался писать биографию Феншо, лишь один раз, в день, когда мы решили снова

съехаться, зашел разговор, и был он сугубо практическим. Его книги и пьесы продолжали приносить неплохие дивиденды. Так вот, Софи поставила условие: пока мы живем вместе, этих денег мы не трогаем. Я согласился, и мы нашли другие источники дохода. Что же касается гонораров, то был открыт специальный счет для Бена и Пола. Мы также наняли литературного агента, в чьи обязанности входило давать разрешение на постановку пьес и переиздания, заключать контракты и т. д. Словом, все, что от нас зависело, мы сделали. Если бы Феншо нас все-таки уничтожил, то только потому, что мы сами этого захотели. Софи я так ничего и не сказал – не из страха, что она узнает правду, просто эта правда уже ничего не значила. Наша сила была в обоюдном молчании, и в мои планы не входило его нарушить.

Но я понимал: точка в этой истории еще не поставлена. Парижский опыт не прошел для меня бесследно. Я приучил себя жить сегодняшним днем, а там как сложится. Чему быть – того не миновать, поэтому, вместо того чтобы отрицать неизбежное и строить иллюзии, будто в моей власти избавиться от Феншо, я теперь старался настроиться на возможную встречу, внушал себе, что надо быть готовым к чему угодно. Кстати, не потому ли мне так трудно дается эта история? Когда может случиться *что угодно*, слова оказываются бессильны. Феншо стал в равной степени неизбежностью и ирреальностью, с этим пришлось смириться. Я научился жить с ним, как живешь с мыслью о собственной смерти. Он

был ее подобием или, если хотите, внешним аналогом.

До меня это дошло после моего нервного срыва в Париже. Я не умер, но был близок к тому: почувствовал вкус смерти, увидел свою смерть. Это неизлечимо, с этим живешь до гробовой доски.

Ранней весной восемьдесят второго года пришло письмо с почтовым штемпелем Бостона. На этот раз послание было кратким и требовательным: «Больше жить не в силах. Надо поговорить. 1 апреля. Бостон, площадь Колумба, 9. Мы поставим точку, обещаю».

На то, чтобы найти предлог для поездки в Бостон, у меня оставалось меньше недели. Задача оказалась посложнее, чем я думал. Хотя я по-прежнему стоял на том, что Софи ничего не должна знать (по крайней мере эту малость я мог для нее сделать), мне претило говорить очередную ложь, – а куда денешься? Дня три я безуспешно искал выход и в результате сочинил неуклюжую байку о гарвардской библиотеке, где якобы мне надо было посмотреть какие-то документы. Что-то связанное со статьей, которую я задумал. А может, и нет, не помню. Главное, это не встретило возражений с ее стороны. Надо так надо, сказала она. По-моему, она что-то заподозрила, но я могу ошибаться, а гадать не хочется. У Софи все наружу – так, во всяком случае, я склонен думать.

Я купил билет на ранний поезд. Когда Пол забрался к нам в постель, на моих часах еще не было пяти утра. Через час я заставил себя встать и перед тем, как тихо выскользнуть

из спальни, помедлил в дверях, глядя на Софи и малыша в предрассветных сумерках, – свободно раскинувшиеся загадочные существа, рядом с которыми было и мое место. Бен, уже одетый, ел в кухне банан и что-то рисовал. Я сделал нам омлет. Узнав, что я еду в Бостон, он спросил, где это.

– Около двухсот миль отсюда, – сказал я.

– Это ближе, чем открытый космос?

– Примерно то же самое.

– Тогда лучше слетай на Луну. На ракете интереснее, чем на поезде.

– На обратном пути я так и сделаю. Из Бостона по пятницам регулярные рейсы на Луну. Надо будет зарезервировать местечко.

– Расскажешь потом, как там?

– Я постараюсь привезти тебе оттуда лунный камень.

– А Полу?

– Полу тоже.

– Нет, не надо.

– Это еще почему?

– Потому что он засунет камень в рот и задохнется.

– Тогда что тебе привезти?

– Слона.

– В космосе нет слонов.

– Но ты же не летишь в космос.

– Да, правда.

– А в Бостоне наверняка есть слоны.

– Пожалуй. Ты какого хочешь, розового или белого?

– Я хочу серого. Чтобы был большой и в складках.

– Ну, этих-то полно. Тебе его завернуть или привести на поводке?

– Ты должен на нем приехать верхом, с короной на голове, как император.

– И кто же подданные моей империи?

– Маленькие мальчики.

– А императрица у меня есть?

– Конечно. Мама будет императрицей. Давай ее разбудим – знаешь, как она обрадуется!

– Нет-нет, не надо ее будить. Пусть это будет для нее сюрприз.

– Точно! Все равно она не поверит, пока сама не увидит тебя на слоне и в короне.

– Знаешь, как бы ее не огорчить. А вдруг я не достану слона?

– Ну что ты, пап. Конечно, достанешь.

– Почему ты так уверен?

– Потому что ты император, а император может достать все.

До Провиденса за окном лил дождь, а ближе к Бостону запахло снегом. По приезде я купил зонт и последний отрезок пути проделал пешком. Под мутно-серым небом пустынные улицы Саут-Энда выглядели мрачно. Навстречу мне

попались двое подростков, старый пьянчужка да несколько бродячих собак. На площади Колумба выстроился в ряд десяток четырехэтажных домов, отделенных от улицы булыжной площадкой. Номер девять был из них самый захудший – обшарпанный фасад, полуразвалившееся крыльцо, подпираемое досками. Однако за этой обветшалостью угадывалось былое величие и даже своеобразное изящество прошлого века. Я уже представил себе просторные комнаты с высокими потолками, эркеры и лепнину, но увидеть это; мне не было суждено, так как дальше передней меня не пустили.

На парадной двери обнаружилось ржавое полукольцо, и, когда я его покрутил, раздался этакий слабый сип умирающего. Немного подождав, я повторил сомнительный эксперимент. Ни ответа, ни привета. Я осторожно толкнул дверь – она оказалась незапертой. Секунду помедлив, я переступил через порог. Справа от большой прихожей я увидел лестницу с балюстрадой красного дерева, слева – двустворчатую дверь, которая, предполагаю, вела в гостиную, и перед собой – еще одну закрытую дверь, скорее всего в кухню. Постояв в нерешительности, я было решил подняться по лестнице, но в этот момент в двустворчатую дверь как будто тихо постучали и, кажется, даже что-то сказали. Я повернулся и замер, ожидая продолжения.

Тишина. И вдруг, шепотом, тот же голос:

– Здесь.

Я подошел к двустворчатой двери и приложил ухо к щели.

– Это ты, Феншо?

– Забудь это имя. – Голос зазвучал отчетливее. – Я запрещаю тебе произносить это имя.

Человек за дверью, можно сказать, вшептывал слова мне в ухо. Казалось, я слышу не только прерывистое дыхание, но и стук его сердца.

– Открой дверь, – сказал я. – Открой дверь ипусти меня.

– Не могу, – прозвучало в ответ. – Придется говорить так.

Теряя терпение, я стал дергать дверную ручку:

– Немедленно открой, или я сломаю дверь!

– Нет, – твердо сказал голос, и я окончательно уверился, что это Феншо. Я бы и хотел, чтобы на его месте оказался какой-нибудь самозванец, но не стоило себя обманывать. – У меня в руках пистолет, – продолжал он, – нацеленный в тебя. Если ты войдешь, я выстрелю.

– Я тебе не верю.

– Тогда слушай.

Он слегка отодвинулся, и в следующее мгновение раздался выстрел, после чего с грохотом посыпалась штукатурка. Пользуясь моментом, я приник к щели, но кроме серенькой полоски света ничего не увидел. А затем человеческое тело перекрыло и ее.

– Допустим, ты вооружен и не желаешь показываться мне на глаза, – сказал я. – А где доказательства, что ты именно тот, за кого себя выдаешь?

– Ни за кого я себя не выдаю.

– Поставим вопрос иначе. Откуда мне знать, что я говорю с тем самым человеком?

– Придется поверить мне на слово.

– После всего, что было, ты хочешь, чтобы я тебе верил?

– Ты пришел, куда надо, и я тот самый человек. Мне нечего к этому добавить.

– Кажется, кто-то хотел меня видеть.

– Я хотел с тобой поговорить. Это разные вещи.

– Может, не будем придирааться к словам?

– Я просто уточняю, о чем шла речь в письме.

– Не стоит испытывать мое терпение. В любую минуту, Феншо, я могу отсюда уйти.

В ответ раздался возмущенный удар кулаком в дверь.

– Никакого «Феншо»! Раз и навсегда заруби это себе на носу!

Я молчал, чтобы не спровоцировать новый приступ гнева. Мне показалось, что мой собеседник, отойдя в глубь комнаты, стонет или, может быть, всхлипывает. Я ждал, сам не знаю чего. Через какое-то время я снова ощутил дыхание возле своего уха:

– Ты еще здесь?

– Да.

– Извини. Не слишком удачное начало.

– Имей в виду, я пришел только потому, что ты меня об этом попросил.

– Да, и я благодарен тебе за это.

– Может, объяснишь, зачем ты меня позвал?

– После. Есть еще темы.

– Например?

– Разные события.

– Я тебя слушаю.

– Ты пойми, я не хочу, чтобы ты меня ненавидел.

– Сейчас этого нет. Было время, когда я тебя действительно ненавидел, но потом это прошло.

– Сегодня мой последний день, и я должен был услышать это от тебя лично.

– Ты все это время жил здесь?

– Последние года два.

– А до того?

– В разных местах. За мной охотился этот человек, приходилось часто переезжать. Против своей воли я стал заядлым путешественником, хотя предпочел бы тихо ждать, пока истечет мое время.

– «Этот человек» – Квинн?

– Да. Сыщик.

– Он тебя настиг?

– Дважды. Сначала в Нью-Йорке, потом на юге.

– Почему же он солгал нам?

– Испугался. Я дал ему понять, что его ждет, если он проговорится.

– Мне так и не удалось его разыскать, он бесследно исчез.

– Это не имеет значения.

– Как тебе удалось от него избавиться?

– Я развернул ситуацию на сто восемьдесят градусов. Я сделался его тенью. После Нью-Йорка, когда я просочился у него сквозь пальцы, это превратилось для меня в игру. Я его заманивал, подбрасывал разные улики, наводил на след. А в решающий момент он попадал в расставленную ловушку.

– Умно.

– Скорее глупо, но у меня не было выбора. В противном случае меня бы притащили назад на аркане, а потом обращались бы, как с помешанным. Я себя презирал за эти дурацкие хитрости. В конце концов, он делал свое дело, и мне было его искренне жаль, а жалость, особенно собственная, вызывает у меня отвращение.

– Ну а дальше?

– Я боялся, что мои уловки однажды не сработают и меня сцапают, поэтому я бежал и бежал, даже когда в этом уже не было необходимости. Я провел в бегах целый год.

– Где же ты скрывался?

– Я же говорю, на юге. В теплых краях. Передвигался пешком, спал в парках, избегал людных мест. Ты себе не представляешь, какая это огромная страна. Два месяца я провел в пустыне. Одно время жил в шалаше по соседству с индейским племенем пуэбло. Совет старейшин разрешил мне поселиться на территории резервации.

– Сочиняешь.

– Я рассказываю свою историю, а верить или не верить –

это уже твое дело. Думай что хочешь.

– Дальше.

– Однажды в штате Нью-Мексико я зашел в дорожную забегаловку. На стойке кто-то оставил газету. Так я узнал, что вышла моя книга.

– Ты был удивлен?

– Я бы употребил другое слово.

– Какое же?

– Раздосадован. Расстроен.

– Не понимаю.

– Я был раздосадован, потому что книга дрянь.

– Не автору судить о собственном творчестве.

– Дрянь, можешь мне поверить, как и все, что я написал.

– Отчего ж ты тогда ее не уничтожил?

– Я не мог от нее оторваться. Это, согласишься, еще не делает ее хорошей. Ребенок не может оторваться от своих кашашек, но это не повод устраивать над ними ритуальные пляски. Отправления организма – личное дело каждого.

– Тогда почему ты взял с Софи обещание показать мне твои рукописи?

– Чтобы ее ублажить. А то ты сам не знаешь! Это был невинный предлог, главной же целью было устроить ее личную жизнь.

– Тебе это удалось.

– Еще бы. Я ведь отправил ее не к первому встречному.

– Ну а рукописи?

– Я был уверен, что ты их выбросишь. Мне не могло прийти в голову, что кто-то воспримет их всерьез.

– Но книга вышла, и что же ты сделал?

– Вернулся в Нью-Йорк. Глупее не придумаешь. Я был выбит из равновесия и немного потерял голову. Эта книга заманила меня обратно, вернула на круги своя. Я уже не мог жить так, словно моих рукописей не существует.

– Я думал, что ты умер.

– А что тебе еще оставалось? Это только укрепило меня в мысли, что Квинн мне больше не помеха. Зато я столкнулся с худшей проблемой. Тогда-то я и написал тебе первое письмо.

– Ты поступил жестоко.

– Я был зол на тебя. Я хотел, чтобы ты страдал. Чтобы ты вместе со мной прошел через все круги ада. Я опустил письмо в почтовый ящик и тут же пожалел об этом.

– Но было уже поздно.

– Да. Поздно.

– И долго ты пробыл в Нью-Йорке?

– Не знаю. Месяцев шесть-восемь.

– На что же ты жил?

– Воровал.

– Ты не хочешь сказать мне правду?

– Я стараюсь, но не все можно рассказать.

– А чем еще ты там занимался?

– Наблюдал за тобой и твоей семьей. Недели три прожил под вашими окнами, ходил за тобой по пятам. Однажды мы

столкнулись на улице нос к носу, но ты меня не узнал. Смотрел мне прямо в глаза – и не узнал.

– Ты это сейчас придумал.

– Я, наверно, сильно изменился.

– Нельзя измениться до неузнаваемости.

– Значит, можно. Считай, тебе повезло. Я был готов тебя убить. Во всяком случае, в голове роились кровожадные мысли.

– И что же тебя остановило?

– Я нашел в себе мужество уехать.

– Какое благородство!

– Я не оправдываюсь. Просто рассказываю, как это было.

– Ну и?

– Я снова вышел в море. У меня сохранилась карточка моряка, так что я без труда устроился на греческий сухогруз. Отвратное судно, жуткая команда – как раз то, что мне было нужно, я это заслужил. Индия, Япония – куда мы только не ходили, и за два года я ни разу не сошел на берег. Когда впереди показывался порт, я запирался в кабине. Я не хотел никого видеть, я был живой покойник.

– А в это время я готовился поведать миру историю твоей жизни.

– Ты взялся написать мою биографию?

– Представь себе.

– Это была бы большая ошибка.

– Можешь мне не говорить. Я сам к этому пришел, хоть

и не сразу.

– Так вот, однажды мы бросили якорь в Бостоне, и я решил сойти на берег. За два года я скопил кучу денег – хватило бы не на один дом. С тех пор я здесь.

– Ты живешь под чужим именем.

– Шервуд Блэк, прошу любить и жаловать. Для внешнего мира я никто. Из дому не выхожу. Даже женщина, которая два раза в неделю приносит мне все необходимое, меня не видит. Я оставляю для нее на пороге записку и деньги – просто и удобно. За два года ты первый, с кем я разговариваю.

– Тебе никогда не кажется, что ты выжил из ума?

– Вероятно, со стороны это именно так и выглядит, но ты ошибаешься. Даже смешно тратить слова на подобные глупости. Просто у меня, в отличие от многих, другие запросы.

– Ты не находишь, что в этом доме несколько просторно для одного?

– Слишком просторно. С тех пор как я сюда въехал, выше первого этажа я ни разу не поднимаюсь.

– Зачем же ты его купил?

– Он стоил копейки. И потом, мне понравился адрес.

– Площадь Колумба? – Да.

– Не понимаю.

– Хороший знак. Вернуться в Америку, чтобы открыть для себя площадь имени Колумба. В этом есть своя логика.

– И здесь ты решил умереть.

– Да.

– В твоём первом письме был назван срок – семь лет. У тебя еще год в запасе.

– Я себе уже все доказал, нет смысла откладывать. Я устал. С меня хватит.

– Уж не затем ли ты меня позвал, чтобы я тебя отговорил?

– Ничего подобного. Мне от тебя ничего не нужно.

– Тогда зачем?

– Передать тебе кое-что. В какой-то момент я понял, что должен объясниться. Во всяком случае, попытаться. Я потратил почти полгода, чтобы изложить это на бумаге.

– Я считал, что ты давно ничего не пишешь.

– Это совсем другое. Никакого отношения к моей прежней писанине.

– И где же твой опус?

– За твоей спиной. В чулане, на полу под лестницей. Красная тетрадь.

Я толкнул дверь в чулан и поднял с полу общую тетрадь – двести линованных страниц, скрепленных металлической спиралью. Бегло полистав ее, я увидел, что она до конца исписана знакомым убористым почерком. Даже теми же черными чернилами. Я вернулся обратно.

– И что теперь?

– Забери ее с собой. Прочтешь на досуге.

– А если я не смогу?

– Сохрани для мальчика. Может, прочтет, когда вырастет.

– Ты не вправе обращаться ко мне с такой просьбой.

– Он мой сын.

– Неправда. Он *мой* сын.

– Не буду настаивать. В сущности, я писал это для тебя.

– А Софи?

– Нет. Ты не должен ей ничего говорить.

– Вот чего я не понимаю.

– Чего именно?

– Как ты мог вот так взять и уйти от нее. Что она тебе плохого сделала?

– Ничего. Она тут ни при чем, да ты и сам знаешь. Просто мне на роду было написано жить не так, как другие.

– И как же?

– Прочтешь в тетради. Любые мои слова только исказят суть.

– Что-нибудь еще?

– Да нет, пожалуй. Мы подошли к концу.

– Ты не выстрелишь в меня, если я сейчас сломаю дверь.

– Не лезь на рожон. Погибнешь ни за грош.

– Я тебя вырублю прежде, чем ты успеешь выстрелить.

– Считай, что я уже покойник. Я принял яд.

– Не верю.

– Ты все равно не сможешь проверить, так это или нет.

– Я вызову полицию. Они взломают дверь и увезут тебя в больницу.

– Если что, я пушу себе пулю в лоб. Все равно будет по-моему.

– Тебя так привлекает смерть?

– Я так долго жил с ней бок о бок, что, кроме нее, у меня ничего не осталось.

Я не знал, что еще сказать. Феншо меня добил. Его дыхание еще звучало у меня в ушах, а мне казалось, что это из меня уходит жизнь.

– Мудак ты, – ничего умнее не пришло мне в голову. – Ну и стреляйся, раз ты такой мудак.

От бессилия я начал молотить кулаками в дверь. Я весь дрожал и с трудом сдерживал слезы.

– Тебе лучше уйти, – произнес он спокойно. – Не вижу смысла продолжать.

– С какой стати я должен уйти? Мы еще не закончили.

– Ошибаешься. Бери тетрадь и возвращайся в Нью-Йорк. Это все, о чем я тебя прошу.

Я чувствовал себя выжатым и опустошенным. У меня подгибались ноги, в голове потемнело, и если бы я не схватился за дверную ручку, то грохнулся бы на пол. Дальше – провал. Очнулся я уже на улице – в одной руке зонтик, в другой тетрадь. Дождь прекратился, но сырость пробирала до костей. Мимо меня с грохотом промчался грузовик, поманив за собой красными фарами. Глянув на небо, я с удивлением осознал, что наступает ночь. Я шел, как робот, не разбирая дороги. Пару раз упал. Голосовал, безрезультатно. Уронил в лужу зонтик и даже не подумал нагнуться.

В начале восьмого я добрал до станции. Нью-йоркский по-

езд пятнадцать минут как ушел, а следующий отправлялся в восемь тридцать. Я сел на вокзальную скамейку. Входили и выходили редкие пассажиры. Уборщик протирал мокрой шваброй мраморный пол. Рядом болельщики обсуждали последнюю игру «Ред соке». Наконец я не выдержал и открыл красную тетрадь. Я проштудировал ее насквозь, добросовестно пытаюсь вникнуть в каждую фразу, и если я оставляю прочитанное без комментариев, то по одной простой причине: не знаю, как комментировать. Слова были все знакомые, но соединялись они как-то так, что вместе не уживались. Иначе, пожалуй, и не скажешь. Одно предложение перечеркивало другое, из предыдущего абзаца совершенно не вытекал последующий. Тем более странно ощущение абсолютной прозрачности. Феншо как будто поставил себе цель обмануть все мои ожидания. Это были не слова раскаявшегося человека. На каждый вопрос он отвечал вопросом, и текст, таким образом, остался открытым, незавершенным, требующим новых прочтений. После первой же фразы я сбился и дальше двигался на ощупь, напрочь сбитый с толку путеводителем, который был написан специально для меня. И все же меня не оставляла мысль: за этой внешней путаницей скрывается особо изощренный, продуманный во всех деталях план. Казалось, больше всего на свете он хотел потерпеть неудачу, расписаться в собственном бессилии. Конечно, я могу ошибаться. Я был не в том состоянии, чтобы воспринимать литературный труд, тем более судить о нем. Да, я

прочел его от корки до корки, но стоит ли верить моим словам, если я сам себе не верю?

Я заранее вышел на платформу. Сеял мелкий дождь, изо рта вырывался пар. Я рвал страницу за страницей и, комкая, выбрасывал. Когда подошел поезд, в урну отправилась последняя страница.

# Приложение из книги «красная тетрадь»

Мой первый роман был подсказан мне телефонным звонком. Как-то днем, когда я в полном одиночестве сидел за письменным столом в своей бруклинской квартире и пытался работать, зазвонил телефон. Если не ошибаюсь, было это весной 1980 года, через несколько дней после того, как я нашел десятицентовик возле выхода со стадиона «Шистэдиум».

Я поднял трубку. «Детективное агентство Пинкертона?» – поинтересовался мужчина на другом конце провода. Я ответил, что он ошибся номером, и повесил трубку. После чего вновь сел за стол и вскоре напрочь забыл о звонке.

На следующий день примерно в это же время телефон зазвонил вновь. Тот же человек задал тот же вопрос: «Это агентство Пинкертона?» И опять я ответил: «Нет» – и повесил трубку. Правда, на этот раз я задумался над тем, что было бы, скажи я: «Да». Что произошло бы, если б я выдал себя за детектива из агентства Пинкертона? Если б взялся вести дело?

Откровенно говоря, я почувствовал, что упустил отличную возможность. Если этот человек позвонит еще раз, ска-

зал я себе, надо будет заговорить с ним и попробовать понять, что происходит. Я стал ждать, когда телефон зазвонит снова, но в третий раз неизвестный не позвонил.

С этого все и началось. Я стал проигрывать самые невероятные варианты, и, когда годом позже сел писать «Стеклянный город», неправильно набранный номер стал центральным событием книги, ошибкой, вокруг которой строилось все повествование. В квартире человека по имени Квинн раздается телефонный звонок; звонят Полу Остеру, частному сыщику. Квинн, как и я, говорит абоненту, что тот ошибся номером. На следующий день тот же самый звонок повторяется, и Квинн опять вешает трубку. В отличие от меня Квинну предоставляется еще один шанс, и, когда телефон звонит в третий раз, он этот шанс не упускает и вступает в игру. «Да, – говорит Квинн, – я Пол Остер». С этого момента и начинается безумие.

Мне важно было сохранить первоначальную идею. Я чувствовал, если исказить дух произошедшего, писать книгу не имеет никакого смысла. Для сохранения этого духа следовало включить самого себя (или кого-то, кто на меня похож, кого зовут так же, как меня) в действие романа, а также придумать сыщиков, которые сыщиками не являются, писать о перевоплощениях, о тайнах, которые невозможно раскрыть. В любом случае, выбора у меня не было.

Все хорошо, что хорошо кончается. Эту повесть я закончил десять лет назад, после чего увлекся другими замысла-

ми, другими идеями, другими книгами. Однако месяца два назад я обнаружил, что книги никогда не кончаются и что истории могут продолжать писать себя сами, без посредства автора.

В тот день, когда я в полном одиночестве сидел в своей бруклинской квартире за письменным столом и пытался работать, зазвонил телефон. Тогда я жил уже в другой квартире, не в той, что в 80 году, – в другой квартире с другим номером телефона. Я снял трубку, и мужской голос попросил мистера Квинна. Мужчина говорил с испанским акцентом, и голос его был мне незнаком. Мне даже пришло в голову, что кто-то из друзей, должно быть, меня разыгрывает. «Мистера Квинна? – переспросил я. – Это что, шутка?»

Но это была не шутка. Мужчина с испанским акцентом и не думал шутить. Он хотел говорить с мистером Квинном: «Позовите, пожалуйста, его к телефону». На всякий случай я попросил его повторить фамилию по буквам. У звонившего был сильный акцент, и я втайне надеялся, что ему был нужен не Квинн, а, скажем, Куин. Увы. «К-в-и-н-н», – четко выговаривая каждую букву, произнес он. И тут меня почему-то охватил такой страх, что язык прилип к нёбу. «Простите, – выговорил я наконец, – здесь таких нет. Вы ошиблись номером». Мужчина извинился и повесил трубку.

Все это чистая правда. Как, впрочем, и остальные истории, вошедшие в мою красную тетрадь.

# От переводчика

## «стеклянного города»

«Стеклянный город» Пола Остера дает пищу для размышлений не только критику и литературоведу, но и лингвисту, психологу, психиатру, возможно даже, философу.

С самого начала, с названия, читатель попадает в стихию нескончаемых литературных аллюзий (Священное Писание, Сервантес, Мильтон, Дефо, Мелвилл, Эдгар По, Льюис Кэрролл), постоянной, иногда даже несколько навязчивой словесной игры. Название повести – «City of Glass» – может восприниматься аллюзией на евангельское «sea of glass»: «... и пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу» (Откровение, 4:6). Инициалы героя – Д. К. – совпадают с инициалами героя Сервантеса: Дон Кихот беззаветно сражается с ветряными мельницами, а Квинн столь же беззаветно в течение двух недель ведет слежку за сумасшедшим стариком, который копается в отбросах. Инициалы вымышленного ученика Мильтона Шервуда Блэка, человека, что явствует из его имени, весьма мрачного и загадочного, приехавшего в семнадцатом веке в Америку строить Новый Вавилон, совпадают с инициалами кэрролловского Шалтая-Болтая, того самого, с кем не в состоянии справиться «вся королевская конница» и кого Алиса вначале приняла за яйцо, –

Стиллмен-старший строит на этом целую лингво-философскую теорию.

Героя детективных романов, сочинением которых не от хорошей жизни пробавляется Дэниел Квинн, зовут Макс Уорк, понимай – трудолюбивый (*Work* по-английски «работа»), «рабочая лошадка», не чета самому Квинну, который в своей «новой» жизни предпочитает литературному труду многочасовые прогулки по городу и бейсбол по телевизору. Фамилия юного Питера (чем не Питер Пэн, мальчик, которому не суждено вырасти?), просидевшего по воле то ли злодея, то ли безумца отца девять лет взаперти и утратившего речевые навыки, – Стиллмен, то есть «тихий, бессловесный». Имя его жены Вирджиния (то есть девственница), фамилия врача – Вышнеградский – прямая связь с Новым Вавилоном.

Остер вообще склонен, в духе традиционной беллетристики, постоянно подавать читателю сигналы, подчеркивающие и без того достаточно прозрачные идейные и композиционные ходы. Вся книга строится на многозначительных совпадениях, аналогиях и парадоксах – также примета традиционной (готической, романтической, приключенческой) прозы. Ищут, скажем, частного сыщика – попадают на писателя. Впрочем, писателя, сочиняющего детективы, – круг замкнулся. Или: герой пишет детективы, где мастерски расследует преступления, в жизни же сыщик из него негодный; если «Дон Кихот» читается как пародия на рыцарские романы, то «Стеклянный город» – на детективы. «Вы наня-

ли меня, и чем скорее я приступлю к делу, тем лучше», – изображает из себя «крутого сыча», наподобие чандлеровского Филипа Марлоу, Квинн. Не зря герой так часто ссылается на знаменитого Дюпена из рассказов Эдгара По: как и Дюпен, Квинн подменяет расследование преступления игрой ума. «Меня нанимали не вникать в ситуацию, – записывает он в красной тетради, – а действовать. Это что-то новое». Или: Пол Остер (одновременно автопортрет автора и *alterego* героя) – это Квинн пятилетней давности, когда он писал серьезные книги, когда у него были жена и сын. В данный момент Остер сочиняет довольно путаное эссе о Дон Кихоте, что тоже симптоматично, с учетом сходства Квинна с героем Сервантеса. Или: Квинна и сына Остера «почему-то» зовут одинаково. А вот «случайность» самая многозначительная: сборник стихов, который Квинн выпустил в «прежней» жизни, за несколько лет до расследования таинственного дела Стиллмена, назывался, оказывается, «Неоконченное дело»... Главный же парадокс «Стеклянного города» в том, что произведение, которое строится на изрядно литературно устаревшем «обнажении приема», на многочисленных штампах триллера («и тут он оцепенел», «случилось нечто сверхъестественное», «его удивлению не было предела»), принадлежит к разряду вовсе не развлекательных. «Стеклянный город» – это книга о раздвоении, даже растроении, расчетверении личности, – отличительный признак шизофрении, отметил бы психиатр. Игровое, паро-

дийное начало в повести Остера постоянно дает о себе знать – а между тем урок ее серьезен, в фабулу детективного романа он, конечно же, не укладывается. Остер (вслед за Кафкой, Ионеско, Чаплиной, Беккетом, еще многими) исследует тему распада, нивелировки человеческой личности, затерявшейся в гигантском современном мегаполисе, «море стеклянном». «Что происходит с человеком, когда он перестает относиться к себе как к реально существующему лицу?» – задается столь актуальным для самого себя вопросом Квинн. Герой Остера живет в этом мире словно бы опосредованно; его многоликость, неотличимость от тех, с кем он себя отождествляет, за кого прячется (Уильям Уилсон, Макс Уорк, Пол Остер), ведет в конечном счете не только к потере социального статуса, квартиры, банковского счета, но и к потере лица – и в прямом смысле слова тоже: вспомним сцену на улице перед зеркалом, когда Квинн не узнает сам себя.

Следствие подобной мимикрии – постепенное растворение, исчезновение, смерть при жизни. В самом конце герой раздевается и выбрасывает из окна пустой квартиры все свои вещи, в том числе – немаловажная деталь – и часы: метафора выпадения из времени.

Как тут не вспомнить горьковское: «А был ли мальчик?»»

*А. Ливергант*